ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№2 1994

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№2 1994

ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ

МОСКВА

Содержание

Технический редактор М. Г. Акколаева. Корректоры С. А. Артамонова, М. В. Масленникова.

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 22.10.91 №1222.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30.
Телефоны: 200-24-24 (главная редакция); 200-23-88 (отдел прозы); 200-24-90 (отдел поэзии); 921-48-71 (отдел очерка и публицистики; отдел критики); 921- 43-59 (секретариат); 200-23-05 (факс).

Сдано в набор 03.01.94. Подписано к печати 07.02.94. Формат 70x100/16. Бумага газетная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17, 5. Уч.-изд. л. 23,77
Тираж 46 058 экз. Зак. 200.

ИПО писателей, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена "Знак Почета" типография "Красная звезда";
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР БОБРОВ

ОКТЯБРЬСКИЙ ИНЕЙ

УВЕРТЮРА "1812 ГОД"

Под небом свинцовым колышется люд,
И, чувствуя холод всевластья,
Насупившись, Ельцин с Грачевым идут
Под звуки великие "Славься!".
Хранит Ростропович торжественный вид,
Он к путчам всегда прилетает,
А ветер Мстиславу патлы шевелит
И сам партитуру листает.
На площади Красной стоят в тесноте
Лимитчики и сибариты.
И вот уже слышат Чайковского те,
Что вскорости будут убиты
Не пулей, так словом,
Не страхом, так злом,
Которые многих придавят.
И плачут валторны о нашем былом,
О будущем трубы рыдают.
Парит увертюра "Двенадцатый год",
Звучит удивительно к месту,
И даже в одежде безумный разброд
Идет почему-то оркестру.
Но дико трагедию живописать,

БОБРОВ Александр Александрович — лирик, публицист и критик, автор и исполнитель песен, литературных пародий. Издал двенадцать книг стихотворений, прозы и частушек. Родился в 1944 году. Окончил Литературный институт, кандидат филологических наук. Ныне главный редактор издательства совместного предприятия "Эллис Лак". Член Союза писателей. Живет в Москве.

Уже не до мелких копаний.
И вновь предстоит нам Россию спасать
В снегах запоздалых кампаний.
Костры бивуаков
покрыты золой,
Но все властолюбцы
в итоге
Обратно пойдут разоренной землей
По Старой Смоленской дороге.

ИНЕЙ

С кровью
рожден и кончается век,
Страшною силой Россия ведома.
Сыплет внезапный сентябрьский снег
На баррикады у Белого дома.
Нет еще танков и рухнувших тел,
Есть только дикая схватка без правил.
Кровью окраситься снег не хотел,
Отшелестел и под вечер — растаял.

Дальше — позор, бабье лето, конец
Без оправданья и без аллилуйи.
Падает русский безусый юнец,
Подло попав под российские пули.
Ими расстреляно ныне во мне
Все, что хранило и было святыней.
А по стране
на стерне и броне —
иней.

ЛИТОВЦАМ И ДРУГИМ

Не будем подниматься брат на брата!
Нам в этом мире нечего делить:
У вас — всегда Россия виновата,
И мне — ее приходится хулить.

Когда прижмут напасти глупой власти,
Я также зол на Кремль и на Москву.
Ну, не Чечню же обвинять в несчастье!
И даже — не Великую Литву...

ОКТЯБРЬСКАЯ ДУМА

Во всех величье русского народа
Рождает восхищенье и любовь.
О русский край, за каждою невзгодой
Ты возрождался к счастью вновь и вновь.

С латышского.

День грядущий
надвигается из мрака
И подходит к роковому рубежу.
Над строкою перевода Пастернака
Я у Балтики рокочущей сижу.
Даже песню не расслышишь из-за шума,
След былого
размывает пенный вал,
И гнетет меня октябрьская дума,
Хоть себя эпитет — исчерпал.
Вновь по родине
проходят Жля и Карна,
И вопрос мой леденеет на ветрах:
Эти строки Яна Судрабкална —
Только ложь, политика и страх?

Или все же в них была основа?
Ведь на этой пасмурной земле
Даже всуе зарифмованное слово
Не истает полностью во мгле...

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

I

Часовые любви на Петровке стоят...

Б. Окуджава

А ведь стоят и вправду на Петровке,
Застыли возле храмов на крови
Охранники жестокой рокировки
И часовые...
Если бы любви!
Вновь комиссары ищут виноватых
И надо их приспешникам — спешить.
Сентиментальный бард шестидесятых
Подписывает письма: "Придушить!"
Как песенка звучит сегодня лживо.
История вручит вам скорбный лист,
Поэт тоталитарного режима
И этого режима пародист.

II

Вспоминаю стихи Евтушенко:
"Я как лось выхожу на обдув".
Если близилась стенка на стенку,
Он кричал:"Я один против двух!"
И случилось — как сам он задумал.
Ну, поэт, демонстрируй свой дух!
Но трибун наш в Америку дунул —
Там, наверное, лучше обдув.

ВЫРОЖДЕНИЕ

Глеб Якунин, попик робкий,
Но борец и ярый лгун,
Мефистофельской бородкой
Тряс у съездовских трибун.
И в разнос пошел — подрался.
Окунулся в грешный гул,
Бюллетень носил под рясой,
На раскол упорно гнул.
И словес разверзлись хляби...
Но глядят сквозь темень лет
На него
чернец Ослябя,
Ратник в рясе — Пересвет!

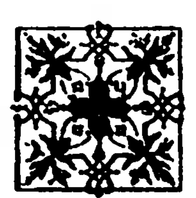
НА РУИНАХ ИМПЕРИИ

На руинах Российской империи
Вспоминаю былые года.
Ох, и песни хорошие пели мы!
Ох, и веселы были тогда!
Вся держава разграблена заново,
А коль ранена в сердце страна,
То не слышится песен Фатьянова,
Не смущает прищур Шукшина.

Рушится держава,
И наглеет враг.
Полусумрак справа,
А слева — полный мрак!

Все мы в смутное время отброшены,
И опять нам дают ощутить,
Что с Россией нельзя по-хорошему:
Но с Россией опасно шутить!
Можно спиться и можно отчаяться,
Можно душу пустить с молотка,
Но Россия — вовек не кончается,
И дорога ее — далека!

Тьма на ней изъянов —
Топи да овраг,
Но опять Фатьянов
Раздвигает мрак!



В феврале этого года
АЛЕКСАНДРУ БОБРОВУ исполняется
50 лет.
Горячо поздравляем нашего автора
и желаем ему
публиковаться в "Нашем современнике"
и впредь!

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

VI

По лесам и крестьянским полям, по сенокосным подсекам и пустошам да по широким деревенским улицам стремится куда-то и большая дорога. Улеглась между двумя канавами, но не спит ни ночью, ни днем, ни в зимнюю волчью стужу, ни в летний зной, звенящий от гнуса, ни в дождливую слякоть, увенчанную холодным осенним золотом.

Ступают по той дороге крестьянские ноги, от века скрипят телеги и дровни. Идут солдаты и нищие, едут богомольцы, купцы и торговцы. Нищие ходят в лаптях из бересты либо в тряпичных шоптаниках, мужики и купцы в сапогах либо валенках, иногда и с калошами...

О, веселая эта тоска, о тревога дорожная, неусыпная! Чем скрасить тебя, кроме разговоров сердечных, ежели едешь обозом? Чем кроме долгой песни скоротаешь тебя, ежели едешь один? Под синими звездочками в морозную ночь поет и стонет даже березовый полоз. В летнюю комариную пору поет даже убогий калека, застигнутый в зеленом лесу, а на гуменной околице девки поют у каждой, даже самой малой деревни. Хорошо в пути и в гости заехать, коли есть родня, еще лучше сделать свои дела да причалить к ночи к родному подворью, ежели едешь от станции. А ежели к станции правишься? Неизвестно, что ждет около железной дороги. Кони и те безумно храпят и бросаются в сторону через канавы и огороды, ломают оглобли от паровозного страха.

Тесно вдвоем в одноколой телеге. Павел вылез на землю, за ним зашевелился и Акиндин, чтобы облегчить воз.

— Сиди, сиди! — остановил Киндю хозяин мерина. — Сиди и пой... Может, комаров-то поменьше будет.

Судейкин крякнул. Павел подумал: не обидел ли веселого ездока? Нет, вроде бы ничего, Киндя опять поет. Что увидит, про то и поет:

Счетоводы на кобыле,
А в телеге целый воз.
Ты куды, товарищ Зырин,
Этих девушек повез?

Володя, сидевший на хребте у Зацепки, не услышал Судейкина. Стук тележных колков да скрип гужей, фырк лошадиный да девичья трескотня заслонили слова частушки.

Гуря, Гуря, ты откуда,
Гуря, Гуря, ты куды?
На чужой-то на сторонушке
Ни хлеба, ни воды.

И Гуря не обратил никакого внимания!

Будет ли он, конец этому долгому волоку? Ничего нет хуже ехать по тряскому поперечному кругляку. Телега мужицкая без рессор и ремней. На каждом брев-

---

Окончание. Начало см. в №1 за 1994 год.

нышке все нутро твое вздрагивает, иной раз и язык до крови прикусишь. "К добру ли вчера устроили пляску?" — думает Павел. Правда, душа болела и до вчерашней пляски. Давно ли была Пасха, когда убегал с лесозаготовок. Вот уже и Петров день позади. Не больно-то веселы именины. Вспомнились вчерашние слова Усова: "Упекут ведь тебя!" Сердце сжалось. Дымов Акимко послал бумагу... На него, на Павла Рогова! Кабы Куземкин послал, понятно было бы. А Дымов к чему? Дружили ведь. Бывало, с балалайкой по морозу ходили на все ближние и дальние игрища. Крестами менялись...

И вдруг августовской зарницей полыхнула простая мысль: Аким не может забыть Веру Ивановну. Присох. К ней как, бывало, на гулянки ходил, так и сейчас ходит. Бумагой решил сгубить... А может, и сама она...

Лицо Павла Рогова вспыхнуло от стыда и от гнева. Ревность захлестнула его, обожгла всего каким-то звериным огнем. Павел остановился. Мелькнуло желание немедля повернуть либо распрячь лошадь и вскачь обратно в Ольховицу. Он овладел собой, но сила в ногах исчезла, словно ушла в дорожную землянную мякоть. Он сел у канавы. Руки его тряслись, хватались за траву, рвали высокий уже отцветший лесной кипрей. Володя Зырин, боком сидевший на бедной Зацепке, увидел спутника:

— Чево, Паша? Мозоль набил?

Павел ничего не ответил. Зырин решил было остановиться, но Павел отмахнулся, пропустил подводу вперед, поднялся. Тонька-пигалица, свесив с телеги ноги в полусапожках, тревожно глядела на Павла. Учительница и выселенка сидели на другом краю широкой двуколой телеги. Гуря залесенский остановился на противоположной обочине. Выставил редкую сивую бороденку и заговорил, обращаясь к Павлу Рогову:

— Ты комаров-то не боись, не боись! Совнышко выйдет, оне все в траву улитят! Все улитят! Комары-ти.

— Не боюсь, Гуря. Не боюсь я их...

— Вот и добро, вот и ладно! Ладно, ладно. Оне в траву, комары-ти, в траву... Совнышко вышло, совнышко вышло, совнышко вышло...

Чего он бормочет, дурачок из Залесной? Да, солнышко... Солнышко всходит. К десяти часам надо на станцию, иначе в райцентр. И суд в райцентре, на станции. Народный суд... Нельзя опаздывать, надо успеть к десяти... Травы покосить бы... Волок, трава худая. А за что его, Павла, судить? Кого судить? Игнаху тоже судили... Сопронов домой идет, в Шибаниху. Отпущен Игнаха! А его, Павла, от малых деток на станцию, под суд... Дымов Акимко... Где правду твою искать, Господи?

Потухло отчаяние, но не развеялось. Павел ступал рядом с Гурей, догоняя подводы. Теперь дурачок добродушно бормотал что-то свое, что-то насчет какой-то пропавшей грамоты.

— Садись, Гуря, в телегу! Садись, еле бредешь!

Павел плакал без слез одним своим сдавленно-горьким нутром, как плачет лошадь или корова, обреченная на убой. Он догнал подводу и остановил мерина. Гуря испугался. Торопливо полез в телегу... Карько навострил уши: далекий паровозный гудок долетел до его чуткого лошадиного слуха.

— Данилович, надо бы покормить! — сказал Акиндин.

Павел Рогов молчал. Ступая впереди своего мерина, он сглатывал горловую судорогу, сжимал зубы, щурился на восходящее солнце.

За последней перед железной дорогой деревней на отлогом поле, заросшем диким клевером, он по мостику через канаву шагнул с дороги. Карько не дождался указаний возницы, шагнул вслед за хозяином.

Роса еще мерцала на белых клеверных маковках, на лазоревых гвоздичных цветочках, переливалась на солнце и высыхала. Первые крупные оводы, не дождавшись утреннего тепла, кругами носились около морды мерина. Киндя отвязал вожжи, отпустил чересседельник, рассупонил хомут, сбросил с правой оглобли гуж и высвободил дугу. Не снимая седелок и хомутов, лошадей навязали на вожжи и пустили кормиться. Зырин наломал в кустах ольхового сушняку, содрал с березы берестину и развел теплину. Марья Александровна начала отвязывать свой саквояж, Тоня открыла корзину с дорожной едой. Судейкин подошел к ним и обратился к Авдошке:

— Ну, Евдокия, в эком баском сарафане тебе хоть сейчас в Москву! Не устоит не то што Клим Ворошилов, сам Калинин за голову схватится. Где, скажет, я раньше-то был? Почему никто не доложил, не сказал?

Авдошка смущённо одернула свой лазоревый сарафан. Она покраснела от похвалы:

— Это мамо, еще на свою свадьбу сошила, после мне подарила.

Киндя прицокивал языком.

— А сестре кофту с гарусом, — добавила Авдошка.

Павел взял косу с телеги и лопатку в берестяном футляре, размотал лезвие и отошел за кусты, чтобы запастись травой. Звук наставляемой косы снова разбудил в душе тоскливую горечь: косить бы надо, а он вдали от семьи и от дома. Как там справятся с сенокосом? Надежда на то, что через день-два он вернется домой, все еще не покидала его...

Он наставил косу и начал косить. Трава была высока и густа. Коса обнажила шмелиное гнездо с комком крупноячеистых коричневых сот. Павел не стал зорить гнездо, бережно прикрыл моховиной. Остановился. Совсем близко, в черемуховой густой зелени, дважды смачно и сильно щелкнул соловей. Помолчал и вдруг разрядился восторженной, сочной и долгой трелью. Павел изумленно прислушался. "Чего это он? Петров пост кончился. Уже и кукушка не сказывается, а он поет..." Словно угадав укоризну, соловей щелкнул еще, хотел спеть, но как бы захлебнулся в своей же песне и больше не сказывался. От дороги послышались цыганские голоса. Таская траву в телеги, Павел увидел две кибитки, обе на железном ходу.

— Ух, ямы-хасиямы! — восхитился Киндя Судейкин. — Не сеют, не пашут, руками машут. А лошади-то, до чего дородны. Не хуже моего Ундера.

Павел сложил траву на обе телеги, хотел обвязать лезвие косы, но услышал обвораживающий и чем-то знакомый цыганский голос:

— С праздничком! Ах, дорогой, покоси заодно и мне, такая травка, хоть заваривай чай, покоси, милой, покоси, долго ли тебе?

Тот самый цыган, который продал весной "джимы", стоял и униженно просил покосить.

— Что ж... Покосить недолго, — сказал Павел.

Цыган не узнал Павла, может, не разглядел. Начал таскать клевер к своим лошадям. Штук шесть цыганят облепили телегу Зырина. Две цыганки уже гадали Авдошке и Тоне. Марья Александровна сидела растерянная: цыганенок настойчиво выпрашивал у нее пирога. Она краснела, не зная как отказать, пирог-то у нее был всего один, а в Вологду неизвестно когда приедешь...

— Чего пристал? — цыкнул Володя Зырин. — На вот тебе десять копеек. Только пока не спляшешь, не дам!

Цыганенок начал плясать на лугу. Пляска у него выходила неважная, но старательная. Особенно хорошо выходило, когда он выкидывал голые пятки и шлепал по ним ладошкой.

— Ну, молодец! — сказал Зырин и подал денежку.

Пока запрягали коней, две цыганки настойчиво ворожили суженых Авдошке, Тоне и Марье Александровне.

— Куды едете, православные? — спросил цыган, не дожидаясь ответа. — Христос с вами, Христос с вами, мы тоже дорожные люди, надо и нам...

Вскоре показалась насыпь железной дороги. До станции оставалось еще с версту. Киндя протянул обе вожжины:

— Стой, Данилович, пускай машина сперва пройдет. Вишь, семафор-то поднят. Лучше постоим... Погоди, а где коса-то с лопаткой?

Павел ощупал поклажу:

— Коса-то тут. А вот кубышки с дегтем не стало... Может, Володя брал? Нет, у Володи своя кубышка.

Судейкин заругался, хотел бежать догонять цыганский обоз, да было уже поздно, отъехали не меньше версты.

— Так и знал, што чево-нибудь да упрут. Эй, девки, глядите, все ли при вас! У нас кубышку свистнули.

Девкам было не до Судейкина. Они восхищенно глядели на приближавшийся поезд. Кони задрожали мелкой дрожью, словно от холода, хотя до линии было еще

далеко. Когда паровоз засвистел, Карько неспокойно заперетаптывался, но Павел твердо держал поводья:

— Стой, Карько, стой...

Поезд прошел, семафор согнулся, на нем закраснел какой-то кружок. Можно было ехать. Приблизились к высокой железнодорожной насыпи. Километра полтора до самого переезда надо было ехать вдоль железной дороги.

— Ну, теперь будь что будет! — сказал Киндя и вылез из телеги. Зыринские ездоки тоже встали на свои ноги. Павел снял с пирожной корзины чистый женский платок, закрыл им глаза лошади. Володя Зырин попросил платок у Тоньки и тоже завесил кобыльи глаза. За подуздцы повели коней вдоль железной дороги. Впереди показался поселок с вокзалом, с кирпичным заводом и с кожевенным, со всякой милицией, с лавками и гавдареями. За переездом Зырин сдернул завесу с лошади:

— Рогов, а где ночевать будем? Давай к Орлову, до Микуленка-то, поди, нас не допустят... А может, я нагружусь, накладную в карман да и домой без ночлега? Как думаешь?

Ах, зря торопился Зырин на постой, напрасно сдернул с Зацепки Тонькин платок! Поезд, встречный тому, который только что проехал станцию, пыхтел совсем близко, почти за спиной. Карько всхрапнул, опять весь задрожал, заплясал, как давешний цыганенок, задергался. Павел гладил горбатую лошадиную морду:

— Стой, Карько, стой! Не бойся, я тут, с тобой...

Машинист — нарочно, что ли? — с шумом выпустил пар, паровоз сделал пробуксовку да еще засвистел соловьем-разбойником, и Зацепка совсем обезумела. Она запрягом отбросила Володю далеко в сторону. С жутким ржаньем кобыла сделала кавалерийский бросок через чью-то обветшалую изгородь, через гряды капустные, смяла зыринским тарантасом еще одну изгородь и, теряя саквояж и корзины с едой, вскачь полетела новоиспеченным райцентром.

— Вот тебе и "севодни уеду", — невесело передразнил Зырина Киндя Судейкин.

Зырин, не стесняясь учительницы, материл машиниста и грозил кулаком вослед последнему вагону, который убегал на север, в сторону Архангельска:

— Мать-перемать, я ведь видел и кочегара! Глядит из окна, я не я! Ну, прохвост, хуже Игнахи...

И побежал по следу, через разломанный огород, заторопился искать подводу. За ним следом побежала и Тоня с Авдошкой. Марья Александровна немного подумала, но делать было нечего. Тоже заторопилась следом за ними.

— Ну и ну! — сказал Киндя.

Павел гладил по шее мерина, Карько медленно успокаивался.

— Куды мы топерь-то, а Данилович?

— Давай прямо в народный суд! Там видно будет... Времё идет к тому... К десяти часам, то есть.

— Да я ведь не знаю, где он, народной-то... Залезай, будем спрашивать...

* * *

Не первый раз приехал на станцию Киндя Судейкин. Бывал тут не однажды на Ундере и пешком. Знал, где находится база кооперации, знал, где живут нынче Орловы, знал, где военкомат и где главные магазины. А вот то, что было нужно сегодня, не знал...

Расторопная тетка, которая щипала на грядке лук для обеда, на вопрос, где народный суд, начала объяснять: "Где миличия, там, батюшко, и народный суд". — "А где миличия?" — "Да как где. В котором доме народной суд, дак там и миличия". — "Тьфу, ты..."

Судейкина рассердила эта бестолковая баба: "Сама знает, дык думает, что и я знаю. А откуды мне знать?"

— Гражданка, не знаешь ли ты Микулина? — спросил Киндя другую женщину, когда отъехали от злополучного места. — Земотделом роботаёт.

— Миколай Миколаевиця? Да как не знать! У меня и живет.

— Очень хорошо!

Киндя обрадовался, заприметил калитку.

Не велик и весь был новый райцентр! Базарчик с навесом и двумя рядами столиков, окруженный двухэтажными строениями, лабазы да старые склады. Крашенный охрой вокзал СЖД с медной рындой, с пакгаузом. Вышка пожарная и три новых двухэтажных дома за старыми гавдареями. И Микуленок живет вон тут, под боком. А вот где Володю искать? Пропал вместе с возом и с тремя девками...

Скопление подвод, разномастные лошади и смурные бабенки около подвод навели Судейкина куда надо. Да и Павел узнал то место, где встретил в Пасху божата Евграфа, где украдкой давил на пороге белую вошь и покупал цыганские сапоги. Он молчал, слушал Киндю, но не вникал в слова. Думал одно и то же...

Сколько сейчас времени? Судя по солнцу, можно было предположить, что народный суд уже действует, что двери внутрь давно отперты. Павел нащупал в кармане повестку. Велел Судейкину оставаться пока с лошадью и вошел в коридорчик. "Господи, прости, сохрани, — мысленно повторял он. — Господи, спаси, сохрани..."

Фанера чуть не в аршин была прибита под потолком коридорчика. На ней зеленой краской печатными буквами написано: "Не курить, не плевать!" В какие двери ступать?

Павел открыл дверинку справа. За столом сидела девица с круглыми, как у куклы, глазами. Перед ней стояла печатающая машинка. Вторая дверь вела в другой кабинет. Слева от стола стояла скамья, а на скамье, нога на ногу, сидел... Микуленок. По всему было заметно, что он любезничал с секретаршей. Потому и не узнал земляка. Или не пожелал узнать? Павел поздоровался, держа повестку в дрожащей руке:

— Вот... значит. Вызвали к десяти часам.

— На какое число? — спросила девица. Она, тоже не глядя на Павла, взяла повестку. — Так. Я вас зарегистрирую, а вы ждите вызова.

Павел недоуменно переступил с ноги на ногу. Может, домой можно ехать? Он спросил:

— Какого вызова-то?

— Я же вам ясно объяснила, тава... гражданин, Пачин! Ждите на улице, мы вас вызовем. Заседание сейчас начнется.

Павел вышел во двор. Ждать значит ждать. А Микуленок-то... Неужели забыл его? Должен ведь помнить. Бывало, и гащивал в Ольховице. Какая у его должность-то нынче?

Смутная надежда на то, что Микуленок подсобит и выручит из беды, рассеялась. Не подсобит, не выручит. На ногах сапоги хромовые, на заднице галифе...

На улице люди не разговаривали друг с другом. Мужики хмуро курили табак, проверяли упряжь, другие безучастно жевали пирог либо зеленый лук с хлебной горбушкой. Павел не сразу нашел свою подводу. Судейкин подскочил к нему:

— Ну? Чево говорят?

— Велено ждать... Вызовут...

— Ждать да погонять хуже нет, — буркнул Судейкин ямщицкую поговорку.

Ждать им пришлось не долго. Судебное заседание началось, и молодой парень, вызванный первым, тряхнув овсяным чубом, с фальшивой бодростью взбежал на крыльцо. Прошло всего с полчаса, когда он появился вновь, но уже в другом виде: белый как полотно. Милиционер или охранник в кавалерийской форме, придерживая длинную шашку, легонько подтолкнул парня с приступка: "Иди, иди, нельзя останавливаться!" Девка, а может, жена, в атласовке и полусапожках, увидев арестованного, кинулась к нему как птица. Но милиционер встал между ними. Она взвыла на весь райцентр. Что было дальше, Павел не видел, следующим вызывали его.

...Он вошел опять в ту же правую дверь. Там уже не было Микулина. Оказывается, надо было не туда, а наверх, по лестнице. Большая неоклеенная комната с рядами полупустых скамеек, невысокая сцена или подмостки... Стол с красной скатертью, на столе графин с водой, на стене бумажный портрет Ленина. За столом сидело три человека. Микуленок был в их числе... Он сидел по правую руку от судьи, этого серого человечка в парусиновом пиджачке. Вместо галстука под воротом черной рубахи у судьи навязано было рябое розовое кашне. По другую руку судьи сидела какая-то женщина, она то и дело шмыгала носом. Внизу за

столиком сидела еще одна, помоложе. Павел заметил ее только после, когда начались вопросы.

— Подсудимый Пачин, встаньте, — бабьим трескучим голосом сказало рябое кашне, хотя Павел Рогов и так не сидел, а стоял. Он подсудимый? Почему, за что его судят? Зачем спрашивать отцову фамилию, ежели в бумагах она уже записана? Руки перестали дрожать, когда судья начал зачитывать "матерьялы следствия". Какое такое следствие? "Не было никакого следствия!" — хотел сказать Павел, но ему не дали говорить. Говорили и спрашивали они:

— Гражданин Пачин, в каком состоянии ваша двухпоставная мельница? Действует ли она в настоящее время?

— Толкет и мелет, — ответил Павел.

— Каково ваше отношение к соввласти?

Павел молчал. Судья вроде бы не очень и ждал ответов. Он застрекотал, словно кузнечик, перечисляя вины Павла. Главная вина была в том, что "зажиточное хозяйство мельника Пачина не уплатило социалистическому государству гарнцевый сбор зерна в количестве двухсот тридцати двух пудов пятнадцати фунтов".

Павел словно во сне одну за другой слушал свои вины: "Зажиточное хозяйство Пачина Павла Даниловича числится в недоимщиках по сельхозналогу и самообложению, отказалось от подписки на заем индустриализации, не выполнило общественное задание по вывозке леса, поддерживает антисоветские выступления кулаков д. Шибанихи и Ольховского сельисполкома..."

В конце трескучей своей речи судья спросил:

— Гражданин Пачин, подтверждаете ли вы факт трехдневного пребывания в вашем доме подпольного священника?

— Да. Только я не Пачин, я Рогов.

— Хорошо. Подтверждаете ли факт собственного членовредительства для того, чтобы не служить в совармии? — безучастно спросил судья.

— Чево?

Павел как бы очнулся. Стряхнул забытье.

— Вы отрубали палец на левой ноге, чтобы не служить в совармии?

Судья близоруко водил носом по какой-то бумаге.

Кровь бросилась в голову Павла, охватила жаром лицо. От гнева кулаки его сжались, глаза побелели. Рябое кашне и парусиновый грязно-белый пиджак, размытые слезным туманом, тряслись и переворачивались. Женщина заседатель заметила новое состояние подсудимого. Она под столом толкнула судью в бедро, быть может, дернула за парусиновый пиджачок. Судья оторвал тусклые глаза от бумаги и, наконец, посмотрел на Павла Рогова:

— Хорошо, хорошо... Слушайте тогда обвинительное заключение.

Павел Рогов стоял как пьяный, качался, и слова обвинения не достигали его сознания: "... руководствуясь частью третьей статьи шестьдесят первой Уголовного Кодекса выслать Пачина Павла Даниловича за пределы области с немедленным взятием под арест и с конфискацией всего имеющегося у него имущества. На основании постановления ВЦИК от пятнадцатого февраля одна тысяча девятьсот тридцатого года гужевая сила, принадлежащая хозяйству Пачина, подлежит изъятию на нужды лесозаготовительных органов... Обвинение обжалованию не подлежит..." Где ваша подвода, гражданин Пачин?

Милиционер с длинной шашкой, неизвестно когда появившийся в суде, взял за локоть побелевшего Павла. Секретарша, что писала судейский протокол, вышла следом, выкликнула другую фамилию.

Судейкина — свидетеля — даже не вызвали на заседание, и Киндя успел сходить поискать Зырина. Сейчас он подбежал к арестанту:

— Данилович, это... надо нам к Микуленку! Он выручит.

Милиционер пригрозил:

— Отойти в сторону!

Судейкин долго прискакивал за рослым конвоем:

— Микулин, Николай Николаевич... Он подсобит и направленье даст!

— Прощай, Акиндин Ливодорович! Не поминай лихом, ежели что, — издалека уже крикнул Павел. — Скажи там дома...

Ошарашенный Киндя не расслышал, что просил передать домой арестованный Рогов. Столбом долго стоял Акиндин посредине дороги. У рубленого крылечка

пришел немного в себя. А когда побежал к телеге и к лошади, то не обнаружил на старом месте ни телеги, ни лошади. Он заприскакивал к мужикам: "Где подвода-то? Где?"

Кто-то ответил ему в поганую рифму, другой голос поведал, что подводу только что увели.

— Хто?

— Цыганы...

— Откуда их наехало-то? — заскулил Киндя.

— А с Кадникова, — сказал незнакомый мужик и плюнул себе под ноги. — Все в красных шапках, все с усами да саблями...

Судейкин понял, про каких цыган говорится. Он обогнул обширное здание милиции.

Карько с телегой стоял на задворках, привязанный к скобе какого-то черного хода. Котомка Судейкина лежала в телеге целехонька. А где Пашкина ежа? Поклажи роговской в телеге не было! Одна коса, обвязанная по лезвию холщовым виском, еще дорожный топор, воткнутый в щель между досками.

Хотел Киндя отвязать мерина и уехать, но тут новая мысль осенила его лысую голову: "А вить и меня заберут! Вызвали как свидетеля, а за гребень возьмут хоп-хны. Фокич-уполномоченный сказал в Троицу: "Пой, пой, Судейкин! Хорошо поешь да куда сядешь!" Попадись им на глаза, только тебя и видели!"

Акиндин не стал ждать новых событий. Бросил котомку на сухое плечо. Без оглядки, стараясь не торопиться, проворно завернул сперва за угол и лишь после этого дал волю ногам и чувствам.

Чувства Кинди нахлынули скопом, заставили мотать головой, плеваться влево и вправо. Ноги принесли его напрямки к гавдареям, то есть к складам кооперации и Маслосоюза. Где же было Зырину получать рыковку, как не тут? Акиндин не ошибся: евграфовская Зацепка стояла у коновязи.

Зырин как раз выходил из конторы с накладной.

— Где наши девки-ти? — не успев отдышаться, спросил Киндя.

— Все три давно на вокзале!

И Зырин рассказал Кинде, как догонял испуганную паровозом кобылу. Потерянную поклажу собирали всем миром. Авдошка-выселенка оказалась проворнее всех, принесла Марье Александровне саквояж, указала, где валялась Тонюшкина корзина. Под конец обе, и Тонюшка, и Авдошка, начали хохотать как дурочки. Володя без натуги расстался с ними.

— Ох! — перебил Акиндин Зырина. — Что творится! Пашку-то... Ведь загребли вместе с лошадью!

— Отпустят, — сказал Зырин.

Киндя взвился:

— Много ли отпустили евонного тестя? Данило да Гаврило тоже. Ушли как в Канский мох.

Кладовщик торопил их.

— Давай, подсобляй! — Зырин убежал в складское нутро получать ящики с водкой. Киндя поплелся за ним. Четыре ящика с рыковкой были плотно привязаны, опутаны веревкой. В двуколке совсем не осталось места. "Придется ему либо мне ехать на кобыльем хребте, — подумал Киндя. — А то и пехом до самой Шибанихи. Пускай! Лишь бы из центра да с глаз долой..."

К обеду они покинули гавдарею и направились в сторону чайной. Судейкин видел, что Володя не останется ночевать на станции. Может, опять торопится к той выселенке? Так думал Судейкин, но мысли то и дело возвращались к Павлу Рогову...

У чайной не было ни одной подводы. Вонючий бородатый козел ошивался около палисадника. Оборванец-мальчишка дразнил козла, тыкал его длинной вицей. Козел изредка жалобно блеял, не глядя на своего супостата. Увидев подъехавших, мальчишка оставил козла, сплюнул как большой и обратился к Володе:

— Дяденька, сколько время? Я свои часы дома на рояле оставил!

— А ты, ваше благородье, живи по солнышку! — расхохотался Судейкин. — Я свои тоже на рояле оставил. Есть матка-то?

Беспризорник, разочарованный в новоприбывших, вновь обратился к животному.

Зырин, дожидаясь, когда откроют чайную, хотел привязать кобылу у коновязи. Киндя не выдержал, встрепенулся:

— Володька! Стой, погоди...

— Чево стоять?

— Давай Микуленка найдем! Может, он выручит Пашку-то...

— Микулина? — Зырин обматерил Киндю. — Ищи, только без меня.

— Ты дай мне пол-литра в долг! Чайная все одно пока заперта. Неизвестно когда отопрут. А што? Давай к Микуленку! И самовар поставит, и бумагу какую даст. Насчет Пашки-то...

— Даст да ишшо поддаст! Вороти домой! Покуда возможности не ушли... Вино у нас есть, пирог с рыбой тоже есть. А травы кобыле в любом поле... Нам бы только за переезд выбраться... Нет, Киндя, не выручить нам Пашку! Не в те он руки попал, которые назадь отдают...

Зацепка, подобно Кинде, тоже чувствовала, что кого-то не хватает. Заржала. Зырин сильно огрел ее вожжиной. Она поволокла нагруженную водкой двуколку по главной улице. Что будет с возом, подвернись к этому времени очередной поезд? Об этом лучше было совсем не думать... Повезло всем троим.

За переездом, когда отъехали от железной дороги на безопасное расстояние, Зырин вышиб ладонью первую пробку. С этого времени Киндя перестал трепыхаться. Но еще не однажды, забывшись, оглядывался вокруг себя: "А где девки-ти?"

VII

Тоска начала подбираться к Тоне под вечер, когда Марья Александровна вместе с Авдошкой уехали в Вологду. Со всех сторон начала подкрадываться тоска! Днем, во время тележной тряски, под ясным солнышком между своими людьми, она еще не чуяла почти никакой тревоги. Беспокоилась только, как бы не замарать праздничную одежду. На вокзале Тоня достала новый платок. Но даже материнские полусапожки и кремовая с розанами кашемировка не веселили сейчас шибановскую певунью!

Куда и надолго ли уехала она от братьев и маменьки? Что ждет ее? Как билет выкупить до Архангельска? И перед всеми домашними стыдно, ведь с часу на час сенокос, а она укатила неизвестно куда. Господи, прости меня грешную...

Два этих дорожных дня некогда было думать, чего наделала. Шла босиком по обочине, то в телеге тряслась, то отбивалась от Володиных шуточек, будто от оводов. Глядела, какие окошки в чужих деревнях, слушала бухтины Акиндина Судейкина. Гулянку видели в какой-то деревне, а приемыш с Киндей даже плясали под зыринскую игру. На ночлеге — новая радость, встретила украинских выселенок. Груня с дочками бросилась ее обнимать. Авдошка отпросилась у матери в город. Правда, когда поехали от дома, Груня не простилась и не показалась на улице. Неужто обиделась за то, что Авдошку в город сманили? И ехали они весело, пока цыганы не встретились. Цыганка нагадала какое-то семеренье с пустыми хлопотами, еще было жалко Гурю залесенского. Что за дурак этот Володя Зырин? На ночлеге незаметно развязал у Гури котомку и положил в нее полкирпича. Гуря не поглядел и нес этот кирпич до самой станции, веселил Зырина... Вот и наказал Бог Володю, когда лошадь испугалась поезда. Да одного ли его Бог наказал? Вон Павла-приемыша в суд вытребовали.

Тоня боялась думать насчет себя...

С того дня, когда прошел слух о Владимире Сергеевиче, что будто бы видели его в Архангельске, перестала Тоня ходить на гулянки. Бабы и девки давно корили ее Акимком Дымовым, только напрасно корили. Рогова Вера с Палашкой Мироновой знали, из-за кого ходил Акимко в Шибаниху... Нет, не по Акиму тужила Тонюшка, не на его глядела во снах, не о нем песни придумывала!

Когда на Шибаниху пришла разнарядка назначить пять человек на сплав, она сама, добровольно вызвалась ехать. Брат Евстафий ушел на сплав заместо сестры. Что в ту пору в голове было? Неизвестно что, но казалось, что на сплаву или где-нибудь на станции услышит, узнает что-нибудь про Владимира Серге-

вича. А когда из Ольховицы дошел слух, что его видели в Архангельске, она перестала не только петь на беседах, но и спать по ночам. Задумала тайно от братьев съездить в Архангельск, найти Владимира Сергеевича, может, в тюрьме сердешный, может, болен. Поеду сама туда... Да разве отпустила бы ее маменька? Братцы-то, может, и отпустили бы...

Еще прошлой осенью уговорила Тоня родных, чтобы отпустили с Марьей Александровной в Вологду, погостить и кое-чего купить. Собирались до самого заговенья. А около Николы вешнего Антонида возьми да и завербуйся на лесозавод в Архангельск...

Марья Александровна, неделями сидевшая дома, и не подозревала такой измены... Стыд да и только! Когда открыли кассу и когда подошла очередь брать билеты, Тоня, пунцовая от смущения, попрощалась со спутницами. Учительница с Авдошкой не стали ничего спрашивать. Тоня только моргала да вздыхала, а тут и ударил вокзальный колокол. Все бросились в двери и к поезду. И вот она осталась одна на вокзале...

Сначала Тоня бодрилась, заставляла себя думать о чем-нибудь веселом и добром. Нашла место получше, около бачка с кипятком. Развязала корзину с едой, пожевала воложной налитушки. Пшеничников маменька напекла, не поглядела на то, что Петровский пост. И сахарку положила. Не зря всю весну молоко носили, сдавали на государство. Только в чужом месте, в одиночестве, без своих, и сахар не сладок, и пирога не хочется. Что-то будет? Как билет-то купить? Вокзальные двери то и дело стонут, почти и не закрываются. Народу не много, но все чужие. К ночи стало совсем жутко. Пришел дежурный с керосиновой лампой, повесил ее над билетной кассой. Какие-то мужики храпели на деревянных диванах, другие курили. Милиция ходит и всех разглядывает. И на нее поглядел! Ничего не сказал, пошел дальше. Спросить у кого-нибудь про архангельский поезд и когда будут давать билеты, она стеснялась. Встала в очередь прямо с поклажей. И стояла она до самой полночи. Ноги устали. Народу вдруг прибыло, очередь сбилась. Тоню сдавили со всех сторон. Она держала в одной руке поклажу, в другой платочек с завязанными в него деньгами. Долго не могла она протолкнуться к окошечку и купить билет! Дело дошло до слез, и какой-то дяденька подсобил приблизиться к кассе. Она купила билет и, чтобы не опоздать, заторопилась из вокзала на улицу, к тому месту, где висел колокол. Спросила у дежурного, когда придет поезд на Архангельск. Дежурный, сонный и равнодушный, буркнул что-то совсем непонятное.

На рассвете комары лезли в глаза и в уши, видимо, к дождю. Керосиновый фонарь тускло, почти незаметно горел на высоком столбе. Прогремел грузовой поезд, паровоз обдал дымом и брызгами. Никогда не слыхала Тоня такого грома, такого страшного железного лязга! Народ выпрастывался из вокзала на песчаный перрон. Из разговоров и возгласов можно было понять, что вот-вот подойдет архангельский поезд. Тоня заволновалась еще больше. В билете не указан номер вагона. Куда идти, как забраться на поезд?

Вдруг со стороны поселка Тоня услышала женские причитания и какие-то крики. Небольшая толпа с какими-то конными приближалась к вокзалу. Тоня в страхе отпрянула от мотающейся лошадиной морды. Конный милиционер дернул поводьями. Тоня услышала, как сильно клацнули удила о лошадиные зубы. Голова лошади задралась высоко вверх. Милиционер зычно крикнул:

— Вольная публика, отойти в сторону! Вольным гражданам в сторону. Дайте дорогу, не подходить!

Как раз ударил вокзальный колокол, чей-то голос захлебнулся в рыданиях, но в другом месте сразу запричитал кто-то другой. Два конных милиционера и несколько пеших с винтовками наперевес отгоняли народ.

— Молчать! Отойти в сторону!

Крики из толпы арестованных заглушило шипением подоспевшего паровоза. Раскулаченных — это были одни мужчины — прогнали в самый конец поезда. Тоне показалось, что Павел Рогов окликнул ее и что-то сказал, но пеший конвойный с длинной винтовкой оттолкнул ее вместе с корзиной.

— Вольным гражданам в сторону! Вольные граждане отойти! — орали милиционеры.

Вагоны остановились. Тоня, забыв про Павла, побежала туда, где шевелилась куча народу. Пассажиры устремились к вагонной подножке.

* * *

Привязанный к скобе, не распряженный, Карько всю ночь дремал на милицейском дворе около черного хода. Он по очереди отпускал то левую, то правую заднюю ногу. И спал, стоя на трех остальных. Комары облепили ему все места, недоступные для хвоста. Комары сосали лошадиную кровь, набухали от крови, вытаскивали свои жальца и с ленивым писком смывались подальше. Карько спал, пока не потянуло из-за угла предрассветной свежестью и пока новое, уже утреннее комариное стадо не облепило ему мошонку и губы. Он сильно мотнул головой. Натянутая вожжина выдернула из милицейских дверей, видимо, не очень плотно забитую скобу. Карько стоял голодный всю ночь, ему хотелось и пить, и кататься по земле, чтобы избавиться от зуда. Когда начало всходит солнце, он услышал какое-то незнакомое ржанье. Нет, это был не голос Зацепки, это был какой-то чужой голос, но, все равно, это дальнее ржанье встревожило и окончательно разбудило мерина. Карько отфыркался и вместе с телегой, волоча по земле вожжи, выпростался из чужого подворья, пахнущего скипидаром и нужником. Куда было идти ему, кроме как к переезду? Бывал он на станции много раз, дорогу знал.

Поселок, вернее райцентр, спал на заре. Лишь от вокзала долетали какие-то звуки, то человеческие, то паровозные. Карько прислушивался к человеческим звукам и прижимал уши, когда гудел паровоз. Пустая телега катилась сзади. На бревенчатых мостиках через канавы телега тряслась и стучала колесами. Вожжина с железной скобой тянулась вослед. Карько подступил к деревянному настилу переезда, когда железное страшилище, окутанное паром и запахом горячего масла, было еще далеко. Но оно приближалось неотвратимо и грозно. С нездешним шипением и громом оно стремительно выросло откуда-то сбоку. Карько сделал длинный судорожный прыжок через переезд. Безумно заржал и понесся в галоп, не разбирая ни канав, ни камней... Он скакал до тех пор, пока железное чудовище гремело за ним, пока оно не обогнало его и не исчезло. Все неожиданно стихло. Измученный страшным бегом, Карько перешел сначала на рысь и вскоре на шаг. Мускулы на его груди мелко дрожали. Налившийся слезами и кровью глаз косил в сторону и назад. Телега тащилась копыльями по земле. Тележные спицы оборвало между камней, ось вылетела из них вместе с колесами, осталась далеко позади. Карько услышал теперь земляной запах дороги и запах росистой травы, которые по-настоящему его успокоили. Он встал и долго стоял, дожидаясь хозяина и мотая хвостом.

Никто не пришел к нему, никто не окликнул.

Конь отфыркался и деловито пошел по большой дороге. Он хромал на левую переднюю ногу, а с правой задней отлетела подкова. Телега скребла за ним сухую дорожную землю...

Сколько часов, сколько верст отшагал он вот так по безлюдной дороге? Сначала было раннее утро, теперь же вокруг роем гудели сенокосные оводы. Они насквозь протыкали лошадиную кожу, садились на спину, куда не достать ни хвостом, ни ногой. Они лезли в уши и ноздри. Во время скачки среди камней Карько сильно ушибся. Теперь он тоже прихрамывал, подобно его пропавшему куда-то хозяину... Конь ступал безлюдной дорогой, пока было терпенье, а когда боль от укусов стала невыносимой, свернул с дороги в густой ивовый и ольховый подрост, попер через березняк и мелкий осинник. Ветки сбили с его спины часть крылатых и яростных кровопийц, но телега цеплялась за пни и коряги. Запах раздавленных трубок дягиля, запах зверобоя и папоротника вновь успокоил мерина.

Он остановился в лесу и опять начал ждать хозяина. Он прядал ушами, ловил каждый звук. Все звуки вокруг были лесными, без признаков деревни и поля. Трещала сорока. Лесной барашек летал высоко над Карьком, издавая крылышками жалобно блеющие звуки. Поблизости в смолистых елях стучал дятел. Ветер шумел в сосновых тревожных кронах. Карько ловил ноздрями запах влажного болотного мха и запах осоки, скреб копытом. Жажда мучила хуже всего, и он вновь выбрался на дорогу.

Это был первый от станции лесной волок. Сколько будет их всех, лесных волоков, пока конь доберется до родимой Шибанихи, три или четыре? Карько не умел считать даже до трех. Зато у него имелась иная память и другое уменье. Он знал, что идет в ту, самую нужную для него сторону. Знал, как и где он встретится с прохладным и синим речным плесом. И он шел и шел по большой дороге, хромая, подобно своему ездовому, который исчез неизвестно куда...

В поле оводы вновь налетели кровожадным облаком. У отвода первой деревни Карько долго и терпеливо ждал, чтобы открыли, но никого не дождался. Выведенный из себя жаждой, жарой, укусами оводов, он грудью надавил на полевые ворота, и они распахнулись.

Народ весь был на покосах. Одни мелкие ребятишки увидели подводу без колес. Второй отвод от толчка не раскрылся. Карько свернул в сторону. Он грудью раздавил изгородь и вновь оказался в зеленом поле.

На втором волоку дорогу пересекала какая-то речка. Минуя мосток, мерин зашел в нее прямо с топкого места. Брюхо его коснулось отрадной лесной прохлады, мягкие лошадиные губы начали шевелиться, первые большие глотки яблоками покатились по лошадиному горлу.

Карько пил долго, неторопливо. Вот он кончил пить, перешел на другой берег, жадно сорвал волоть зеленой травы и вышел опять на дорогу. Она уводила его все дальше и дальше от страшных видений...

В этом лесу уже все было похожим на шибановские проселки: и кипрей на обочинах, и обсохшая колея, и древесная поперечная стлань, и березовый шум на горках, и канавы, пахнущие земляникой. Но почему никого нет позади, никто не бодрит и не понукает, не шевелит вожжами, не поет и не говорит ничего?

Мерин остановился и начал жадно рвать и поглощать пучки придорожной травы. Он переступил канаву и насыщался долго, тщательно, пока не почуял прилив новых сил и позывов к движению.

Солнце уже скрывалось за большими деревьями, жара ушла вместе со стаями оводов, и Карько пошел дальше большой дорогой. Телега тащилась за ним, скребла копылами. Еще утром какая-то встречная подвода едва не сцепилась с Карьком левым запрягом. Возница спал в набитой травой повозке. Никто не встретился больше, никто не остановил, не окликнул.

Но кто там идет впереди лесной обочиной, сухою тропой рядом с большой дорогой? Карько не мог жить один, без людей. Он прибавил шагу. Человек впереди остановился. Мерин подошел прямо к нему и тоже остановился. Прислонился мордой к человеческому плечу, мирно всхрапнул.

— Ну, ну, ну, — заговорил Гуря. — Ну, ну. Чево встал, чево встал. Пойдем, пойдем... Надо идти, надо, надо идти.

Гуря увидел, что телега была без колес, начал оглядываться, плескать руками и бегать вокруг подводы:

— Ох, батюшки-светы! Батюшки-светы! Без колес! Без колес телега-то, украли колеса! Украли!

И Гуря побежал, несмотря на усталость, побежал подальше от Карька и этой непонятной телеги. Он отбежал от мерина саженей на пятьдесят и остановился. Оглянулся. Мерин быстро догнал Гурю. Дурачок испуганно отбежал еще, Карько снова скорым шагом догнал его...

Так, убегая и догоняя, они оставили позади еще один лесной волок. Солнышко село. Показались еще одно поле и гумна.

...Это была как раз та деревня, где ночевали и кормились в позапрошлую ночь. Сюда не долетали никакие, даже самые пронзительные голоса паровозов. Кричал за баней вечерний дергач. Булькали колокола, навязанные на лошадиные и коровьи шеи, перекликались и пели сенокосные девки, идущие полем. У домов мычали недоеные коровы. Гуря, обрадованный, пропустил Карька через отвод в деревню.

У въезда стояла распряженная Зацепка. Она мирно махала хвостом, хрупала диким еще не завядшем клевером. Зато Киндя Судейкин совсем завял. Бревном лежал он поперек зыринской двуколой телеги рядом с ячеистыми ящиками. Гуря начал дергать Киндю за сапог. Судейкин не смог очнуться,

сумел проговорить лишь такие слова: “Володька, Володька, где у нас девки-ти?” Но Гуря был Гуря, а не Володька. И Судейкин опять уронил пьяную голову.

Самого Зырина рядом не оказалось.

* * *

Чего было спрашивать, где девки, если гнездовой, на двадцать мест ящик был в трех, а может, и в четырех ячеях заткнут свежей травой? Все ж у Судейкина и в похмельном сне болела душа. Не о девках болела, а скорее об арестованном Пашке Рогове.

И девки давно забыли про Киндю, давно похерили его из своей девичьей памяти. Поезд увозил Тоньку на север. Марья Александровна уехала с Авдошкой на юг и уже утром оказалась на вологодском вокзале. Учительница, узнав про Авдошкины планы, пригласила ее домой, желая познакомить с сестрою и тетей. Авдошка не знала, как и благодарить.

С той не забытой поры, когда на вокзале ходила Авдошка за кипятком с тем парнем военным, прошло много дней и ночей. Никому не говорила она, как он обнял ее у ссыльного поезда. Записка с городским адресом, которую он оставил, все эти месяцы хранилась в мамином кошельке и не давала забыть про тот самый первый в Авдошкиной жизни поцелуй. Военный парень постоянно стоял в глазах. Не пропадал он из ее памяти и в самую невеселую пору их кочующей жизни. Мама выдавала себя за старшую сестру, иначе давно бы их разлучили. Всем троим приказали каждый месяц являться в милицию и отмечаться. Они ходили по деревням словно цыганы, пробивались кое-как, а последнее время, лишь наступило тепло, приноровились штукатурить стены и потолки. И вот мама отпустила Авдошку в Вологду... Конечно, если б не Тоня и не учительница Марья Александровна, то ни за что бы не отпустила! С ними-то отпустила и даже денег дала. Сестра Наталочка заплакала, но мама ее успокоила, пообещала, что осенью съездят в город втроем, только бы найти кого-нибудь из своих хуторян. Где Иван Богданович Малодуб со всем семейством? Петро Казанец с Марийкой живы ли? Митрука с Петренкой отправили из монастыря куда-то под Тотьму, у Пищухи двое деток умерли еще в Вологде. Груня Ратько считала, что ей-то с дочками Господь подсобил больше всех...

Авдошка никогда не видела таких больших деревянных домов, таких резных дверей и оконных наличников. Город был весь в зелени, на улицах летал пух одуванчиков. Дом, где жила тетя учительницы, был тоже красивый, из двух этажей. Лестница, устланная цветной домотканой дорожкой, скрипела даже от кошки, зато чистая и крашеная. В комнате, где приезжих поили чаем, были приятные розовые обои. Часы били каждую четверть. Рядом с часами висели рамочки с фотографиями. В углу у окна рос и зеленел большой, до самого потолка фикус, который собирался цвести. Шкафы с точеными украшениями были полны всякой посудой. На круглом столе, где пили из самовара настоящий чай, была расстелена льняная, вышитая цветочками скатерть.

Тетя и сестра Марьи Александровны, как показалось, радовались больше Авдошке, чем самой Марье Александровне. Они расспрашивали Авдошку про все на свете, сами тоже успевали рассказывать про себя и про всю родню. Авдошка, путая украинские слова со здешними, щебетала на ту и другую сторону...

Какие хорошие и добрые люди, как хорошо пахнет подушка и одеяло с простыней, какие красивые на комоде скляночки и фигурки! Засыпая на старом диване, Авдошка забыла, что она в городе и в гостях. Что-то похожее на родную среду, на недавний, но уже забытый домашний покой чуялось во всем доме и в каждом слове доброй и очень разговорчивой тетушки, в этих настенных фотографиях и в мелодичном бое часов. Авдошка уснула с зажатой в кулачке сложенной вчетверо бумажкой, где был записан заветный адрес. Во сне рука ее разжалась и выронила записку. Авдошке снилось что-то широкое и светлое, что-то приятное как материнская колыбельная песня. Образы эти были неопределенны, утром они исчезли, но оставили явственный след в девичьей душе.

Сестры учительницы спали в другой комнате. Авдошка бесшумно оделась, на цыпочках вышла в коридор. Дверь на веранду открыта. Там на столе стояла ваза с голубенькими цветами неизвестно какого названия. Занавеска в окне слегка

шевелилась. Мыло, что лежало около медного умывальника, пахло земляничными ягодами. Полотенце было свежим и чистым. Двери внизу открыты и виден зеленый лужок. Авдошка спустилась по лестнице.

Что двигало ее юной душой, когда она, ничего не думая, радуясь своему лазоревому сарафану, обула материнские старые башмаки и вышла на улицу? Она знала, что сестры спят и чувствовала, что тетушки в доме нет. Куда она ушла, старая тетушка? Куда-то туда... Ей, Авдошке, тоже хочется туда же. Но она не думала, что значит туда, она просто пошла потихоньку куда глаза глядят. Она расстроилась, что потеряла записку. Правда, и название улицы, и номер дома давно затвержены наизусть, они давно представлялись ей в определенном виде. Сейчас она почему-то забыла о том, что надо спросить, где нужная ей улица. Она просто шла, и раннее солнышко мерцало ей сквозь ветки городских палисадников. Синее утреннее небо только начинало кудрявиться первыми белыми облачками. Авдошка ступала, сама не зная куда. Дома, и тополя, и сирень в огородах безмолвствовали в солнечном блеске, а она шла серединой улицы, усыпанной золотыми цветочками одуванчиков. Вскоре перед Авдошкой открылась река. Недвижимое застывшее плёсо отражало дома и стройную церковь, стоявшие на другом берегу. Справа вдали, где река сделала излучину, девушка с изумлением увидела высокую колокольню и серебристые массивные купола. Слева совсем рядом тоже виднелись высокие белые храмы. Она прошла немного туда, налево, вдоль берега и, боясь заблудиться, решила идти обратно, но улица оказалась не та, а другая. Авдошка пошла по ней, по этой новой улице, удивляясь тому, что она заблудилась, а ей почему-то совсем не страшно. Начались зеленые огороды. Одноэтажные домики с калитками и заборами перемежались крепкими двухэтажными пятистенками. Улица была долгой и не очень прямой. Авдошка шла и шла, пока не открылась еще одна церковь, заслоненная наполовину зеленой волной деревьев. Что-то непонятное шевельнулось и замерло в сердце Авдошки. Двойные каменные ворота ограды были открыты. Авдошка, ничего не думая, прошла по дорожке мимо могильных крестов. Небольшая, но уютная церковь была полна народу...

* * *

Ему подумалось, что на правом клиросе людей меньше, что там можно бы встать где посвободней, у стены или у простенка между окнами. Но как перебраться туда в такой тесноте? В церкви собрались главным образом женщины. Он был на целую голову выше толпы, увидят со всех сторон. Начнут шикать, оглядываться. Нет, уж лучше стоять и не двигаться...

Безусый молодой человек в синей косоворотке, в новом шевиотовом пиджаке высвободил руку, зажатую соседями. С трудом, медленно он поднес ко лбу пальцы, сложенные как положено.

Рука была свинцово тяжелой, не желающей подчиниться.

Когда он крестился в последний раз? Невозможно даже и вспомнить... Может, в Ольховице, может, в Шибанихе. Еще при Ленине. Нет, бери дальше — при Николае Втором! Лет пятнадцать прошло, немудрено и забыть...

Петька Гирин по прозвищу Штырь (а это был действительно он, хотя и без усов) переступил с ноги на ногу, перенося собственную тяжесть слева направо. Не подозревал Гирин, что служба такая долгая... После евангельского чтения началась сугубая ектенья, отец Василий торжественно, медленно перечислял, за кого надо молиться. Во время молитвы об умерших Гирин слегка задумался и забыл про себя, а когда отец Василий предложил оглашенным выйти из храма, Петька снова стал прежним. Никто, конечно, не вышел. "Елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся!" — призвал священник. По всему было видно, что раньше, чем через час-полтора, из церкви не выбраться. "Три к носу, таварищ Гиринский! — приказал Петька сам себе. — Бывало и хуже..."

Да, бывало и хуже. После московского бегства, когда Петька добавил в своей фамилии четыре буквы, много воды утекло. Пришлось пройти огни и воды. Частично прошел и медные трубы. Даже родился заново, хотя и без святого крещения. Все сначала! Не осталось ни московской литейки, ни родной деревни Шибанихи, ни квартиры Шиловского. Ни портфеля, ни командирского звания. Шесть добавочных букв в двух справках и в паспорте спасли Петьку от неминуемой проле-

тарской кары. Сумел скрыться и начать свою жизнь с нуля. Спасло его то, что после многих мытарств, благодаря счастливому случаю, попал в число переменников десятой дивизии. Служил на славу. Подив Степанов лично перед строем объявил красноармейцу Гириневскому Петру благодарность за отличные стрельбы. Потом, когда прошли маневры под Вологдой и его как отличника рекомендовали для службы в органах, сам Кясперт не однажды выносил благодарность за выполнение особых заданий.

Бывали у Петьки и другие, уже служебные фамилии — Гиринец, Гиринштейн... Бывали дальние командировки, ночлеги во всяких дурных местах. Чего только не было, покуда из Вологды не уехал товарищ Кясперт! В марте Петька по службе почти ежедневно бывал в особом отделе окружкома. Решение крайкома по отзыву Кясперта и замене его Александром Карловичем Альтбергом стало известно Петьке раньше всех членов бюро окружкома. Оно было подписано зам. секретаря Севкрайкома Иоффе, но где сейчас этот Альтберг? Петька не знал... Вместо Альтберга приехал некто Сенкевич, назначенный уполномоченным ОГПУ по Вологодскому округу. Теперь в ОГПУ из прежних начальников один Райберг... Нынче и округа товарищ Сталин решил отменить. В связи с осадным положением в Кадникове Петьке пришлось уйти с частной квартиры, его перевели на казарменное положение. А недавно новый начальник приказал Петьке сбрить усы. Опять пришлось получать на складе хозяйственного отдела гражданский костюм...

Переодетый в гражданское, он чувствовал, как пропадает прежний интерес к службе. Его посылали то слесарем в мастерские к тяговикам, то в цех "Красного пахаря". Вот и остаться бы там навсегда! Но от Петьки требовали не только слесарничать, но и каждые три дня докладывать о разговорах и настроениях. На днях его отозвали из "Красного пахаря", послали в поселок под Вологдой. В молочно-хозяйственном институте у Петьки не было никаких знакомых. Пришлось заводить общую тетрадь для записей лекций про телячьи болезни и про коровьи "лактации". Задача была такая: выявить среди студентов МХИ правизну. Никто толком не знает, что значит "право" и что значит "лево". Теперь вот началась чистка аппарата соворганов. Петьку сняли с молочно-хозяйственного института и начали посылать в Лазаревскую горбачевскую церковь для выявления совслужащих, посещающих культовые места... Одновременно требовалось выявить всех знакомых священника Швейцова и управляющего епархией Амвросия по фамилии Смирнов.

Да где же их всех выявить и запомнить, товарищ Райберг! В церкви негде упасть яблоку... В городе достаточно ячеек воинствующих безбожников, посылали бы их. Спихивать колокола и выявлять верующих — это их дело...

Херувимская песня отодвинула обиды и горечь куда-то в сторону. Петька Гирин по прозвищу Штырь, а ныне боец Гириневский, вспомнил свое нищенское хождение по миру, затем память просочилась в более глубокое прошлое. Он как бы вновь ощутил атмосферу той самой обедни, когда сидел на руках матери и впервые услышал нездешние и прекрасные звуки. Запах горящего воска и кадильного дыма мешался с нафталиновым запахом женских платков. Голоса певчих не проникали в сознание, но что-то давно забытое и отрадное в какой-то миг шевельнулось в душе. Гириневский усилием воли вернул себя к служебным обязанностям. Во время великого входа он все же пробрался к южной стене, скосил взгляд на стоящих сзади. Женщина в шляпке с вуалью была явно совслужащей из окрисполкома. Она стояла с опущенными глазами. Там дальше молится бухгалтер из Северолеса, а впереди, около южных врат, видна белая лысина почтового служащего. Всех троих требуется запомнить и сразу после конца обедни где-нибудь в безлюдном месте записать, кто они такие и где служат. Но ведь они наверняка давно записаны каким-нибудь членом СВБ! Какой смысл сообщать о них, ежели...

"И без меня вычислят всех троих!" — решил Петька, не желая помнить ни бухгалтера, ни почтового служащего.

Во время пения Символа веры он был вынужден снова перекреститься. И снова рука была будто и не своя, она не слушалась... Как будто гиря привязана. Но что это? Мелькнуло что-то в толпе, и сердце почему-то странно екнуло. Отчего оно так забилось? Гирина как будто ошпарили кипятком. Кровь бросилась в лицо, когда он разглядел впереди себя лазоревый сарафан Авдошки. Она или не она?

Петька ждал, когда она повернется в профиль. Не дождался. Забыв про свои обязанности, начал он проталкиваться вдоль стены ближе к солее... Она, конечно, это она!

В глубоком, каком-то оздоровляющем и радостном волнении Гирин раздвинул молящихся и вышел на паперть. Из церкви он скорым шагом пошел вправо мимо старинных и свежих могильных крестов. Дорожка, обросшая цветущим морковником, увела Петьку в середину горбачевского кладбища. Он остановился, резко, по-военному развернулся через левое плечо и сам себе приказал: "Тихо, товарищ Гириневский! Никакой ты не невский, ёствою корень! Ты Гирин Петр Николаевич. Тихо! Не торопись..."

Боясь потерять из виду лазоревый сарафан, Петька минут двадцать стоял на теплом солнечном горбачевском кладбище. Обедня закончилась. Люди начали выходить из церкви. Он приблизился к паперти. Неужто это она, та самая выселенка? Она, она и есть! Те же темные косы, те же черные скобки бровей... И сарафан тот же!

Петька Гирин по прозвищу Штырь с ликующим, сильно бьющимся сердцем ступал следом за нею. Он не глядел теперь на других богомольцев. Толпа быстро редела. За оградой ему пришлось придержать шаг. Он видел, как Авдошка обратилась к пожилой женщине, что-то спросила. Они оживленно беседовали, видимо, женщина объясняла Авдошке дорогу. Гирин шел за ними, не помня себя. Он не глядел под ноги, запнулся... Модная кепка с плетеным шнурком упала в пыль. Они уходили... Вот они свернули направо, на длинную улицу Воровского. Женщина показала Авдошке дом с верандой и дальше пошла, Гирин же остановился и с недоумением глазел вокруг. Очень знакомое место!.. Он знал этот дом через сестер, учительниц Вознесенских, будучи еще курьером Калинина. Заходил однажды и позже. Родная сестра шибановского священника отца Александра была когда-то полной хозяйкой этого дома, после революции она занимала одну верхнюю половину. И Гирин вспомнил, что именно этот адрес черкнул на бумажке, оставляя юную украинку одну у отцепленного вагона, среди вологодской стужи. Забор. Калитка... Авдошка прошла через эту калитку. "А, будь что будет!" — подумал Петька и тоже ступил за эту калитку.

Это случилось в воскресенье, тринадцатого июля, в день двенадцати апостолов. Гирин шагнул за калитку. Ему и в голову не могло прийти, что за ним тоже следили...

У новых постояльцев вологодского Духова монастыря покоя не было ни днем, ни ночью, не соблюдали они ни праздников, ни постов. Петька шагнул за калитку, а тот, кто шел следом за Петькой, насвистывая, прошмыгнул дальше.

Вороватый нижний сосед притворил дверь. Петька и его не заметил. Смело ступил он вверх по крашеной лесенке. Тетушка сестер Вознесенских, выходя из веранды, не узнала Гирина:

— Молодой человек, вы к нам?

Петька заперетаптывался. Она всплеснула руками:

— Господи, Петр Николаевич! Вы ли это? Напрасно, напрасно вы свои усы-то сбрили. Что за мущина, ежели без усов? Не стойте тут, проходите в комнату. Милости прошу к нашему шалашу. Нет, нет, лучше сюда на веранду!

Старушка в гарусной кофте усадила Гирина на венский стул:

— Как же вам, голубчик, не стыдно. Совсем нас позабыли... Ты сколько месяцев не захаживал-то?

— Виноват! Служба...

— Уж какая такая служба? Тебе, Петр Николаевич, грех нас забывать. Не женился ли ты?

— Никак нет, холост.

За последнее время он разучился говорить по-граждански, хозяйка же так и сыпала скороговоркой:

— А у меня, Петр Николаевич, в Петров день экая радость! Из Шибанихи-то наша племянница приехала, да не одна, с гостьюшкой. А ты не вчера ли был именинник? Маша, Оля, несите-ко самовар-то сюда! Овдотьюшка, это ты обронила записочку с нашим адресом? Возьми, я ее на комод положила. Где ты эдак баско писать-то выучилась?..

Авдошка стояла в дверях веранды с самоваром в руках. Увидела Петьку,

охнула и чуть не выронила булькающий самовар. Петька подхватил самовар из ее ослабевших рук, поставил на поднос, лежавший посредине стола... Гарусная кофта мелькала в глазах.

— Вот, познакомься-ко, Петр Николаевич, ну чем тебе не невеста? А Машато наша, Маша-то. Адрес-то опять продиктовала не так! Будто не знает, что улицу-то нонче называют не Богословская, а Воровскова....

Гирин начал старательно, за руку здороваться с вошедшей на веранду учительницей. Он ничего не соображал. Щеки и уши полыхали, сердце восторженно билось, он боялся даже повернуть голову и взглянуть на юную выселенку.

VIII

В субботу двенадцатого июля в день христианских первоапостолов, когда Павел Рогов плясал у придорожной часовни, в первопрестольной столице нашей Москве, в Большом театре, завершил свои работы шестнадцатый съезд. (Так и писалось в жирной газетной шапке: работы. Во множественном числе... Что это было? Специфическое выражение или обычный грамматический ляп?) Скучные, хвастливо-восторженные доклады и речи звучали вперемежку с рукоплесканиями более двух недель. Многодневное сидение в креслах императорского театра и бесчисленные фотографирования с вождями и без вождей наконец прекратились. Делегаты выбрали руководящий синклит. Составители цековского и цекаковского списков еще знали русский алфавит: Эйхе в цековском списке стоял семидесятым по счету, Яковлев Я.А. семьдесят первым, то есть последним. Во втором, цекаковском списке, тоже преобладали розенгольцы и сойферы. Некоторые фамилии даже как бы дублировались: Беленький З.М. да Беленький И.Ф., Гроссман Б.Я. да Гроссман М.П.

Завершал этот список главный богоборец страны Емельян Ярославский.

Кандидатов в ЦК, видимо, не успели распределить по алфавиту. Уншлихт стоял двенадцатым, а Бергавинов почему-то после Ягоды, чуть ли не в самом конце.

После выборов Калинин, олицетворявший в партии зачумленный и обманутый русский народ, еще раз потряс с трибуны козлиной бородкой:

"Никто из оппозиционеров не дерзнул выступить на съезде против намеченной линии партии. Наоборот, мы были свидетелями капитуляции и признания правильности этой линии со стороны бывших лидеров правой оппозиции, что касается "левого" уклона, то никто его здесь и не представлял".

Путиловский токарь под крики "ура" закрыл съезд. Термин "левый уклон" и до Калинина редакторы многих газет ставили в кавычки. И хотя газеты по-прежнему призывали к борьбе на два фронта, мало кто всерьез выступал против левых загибов. У верных ленинцев врагов слева не было и до ноябрьского пленума... Погромщикам русского крестьянства, притихшим после мартовской иезуитской статьи Сталина, опять открывался полный простор! Главный силосовальщик страны Яковлев не терял времени, подобно Менжинскому и Ягоде трудился в поте лица. В начале мая в письме для ЦК комсомола он вопрошал: "Нельзя ли миллион силосных ям и траншей сделать вашим боевым лозунгом? Нельзя ли дело поставить так, чтобы вы организовали специальный учет хода организации ям и траншей по линии комсомола, и только по линии комсомола, с тем, чтобы вы взяли на себя ответственность за выполнение этого плана?"

В конце письма народный комиссар земледелия еще раз говорит о миллионе силосных ям и траншей. Но большевистское "силосование" полным ходом шло еще по снегу, задолго до зеленой летней травы. Тысячи ям и траншей были уже вырыты и заполнены телами безвинных страдальцев без "церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка". Что касается главного богоборца Емельяна Ярославского, то статья Сталина вообще его не коснулась. По всей России колокола летели на землю и раскалывались, самих звонарей без передыху ставили к стенке. С православных иерархов срывали панагии, душили, топили, морозили среди сибирских и беломорских снегов.

Тринадцатого июля, в воскресенье, в день двенадцати христианских апостолов большевистский синклит, называемый пленумом, выбрал своих апостолов, но не двенадцать, а десять. Не было никакой странности в том, что в эту десятку

Сталин включил Николая Ивановича Рыкова (Бухарина и Томского он оставил в списке Центрального комитета). От безвольного и пьющего в придачу, честного и не в пример Калинину нехитрого Рыкова толку было не много, опасности и того меньше. Ворошилов в глазах Сталина был дурак, зато надежный и голосовал каждый раз как надо. Рудзутак с Косиором — тщеславные бюрократы. Скрябин, по всей вероятности, по-прежнему верен. Оставались непредсказуемыми лишь Киров и Куйбышев. Но разве нельзя нейтрализовать их с помощью кандидатов в Политбюро?

Впрочем, на Политбюро Сталин по-прежнему надеялся меньше всего. Куда нужнее сейчас Оргбюро и секретариат. Каганович, олицетворяющий самую мощную, самую могучую силу в партии, состоял одновременно в секретариате и в Оргбюро, но Скрябин и Сашка Постышев тоже выбраны в два эти органа... Будучи председателем контрольной комиссии, успокоится ли ортодоксальный Орджоникидзе?

Сталин нехотя утвердил список президиума контрольной комиссии, куда вошли Акулов, Беленький, Гольцман, Гуревич, Енукидзе, Затонский, Землячка, Ильин, Михаил Каганович, Коротков, Кривов, Назаретян, Осьмов, Павлуновский, Петерс, Покровский, Розенгольц, Райзенман, Сольц, Струппе, Трилиссер, Шкирятов, Янсон и Ярославский. Но для чего была нужна еще и партколлегия ЦКК с этим Бризе и с этой дурой Землячкой?

Да еще и представители контрольной комиссии в Политбюро и в Оргбюро. Сталин и на это ничего не стал возражать. Ни усатому ленинцу Орджоникидзе, ни пламенному сионисту Лазарю. "Кто кого будет контролировать, еще посмотрим", — подумал он, когда, в белом кителе и белых штанах, уходил с пленума контрольной комиссии.

Борьба продолжалась не на жизнь, а на смерть. Третий Интернационал, зараженный масонской чумой, разумеется, не оставит в покое ни Москву, ни Иосифа Сталина. Разумеется, Каганович ведет двойную игру, и он, Сталин, безусловно, вынужден считаться с евреями. Задача состояла лишь в том, чтобы любыми средствами, любыми способами поставить эту силу на службу себе... Как это сделать?

Никто не умел делать это с таким блеском, как Ильич, лежащий теперь в мавзолее выпотрошенный и с пустым черепом.

Так или примерно так думал Сталин, когда прошли пленумы, и делегаты, загрузив чемоданы московскими покупками, разъезжались во все стороны от столицы.

Секретарь Северного крайкома Бергавинов покинул Москву в плохом настроении. Он гасил в себе горечь обиды. Наркомпрос Бубнов, когда приезжал на Север, заверил его в том, что на предстоящем съезде Бергавинов станет членом ЦК. Однако опять не избрали. Бухарин с Томским остались в ЦК. Они, что ли, обеспечат страну золотыми рублями? Сидя в пределах Бульварного кольца, легко писать циркуляры о лесозаготовках. И многие тысячи раскулаченных, выселенных с юга семейств тоже висят на шее не кого-нибудь, а Бергавинова. Ему было известно, что перед самым голосованием Сталин и Молотов почему-то вычеркнули его из списка...

Бергавинов не знал истинной подоплеки случившегося.

Двадцать седьмого мая Центральное плановое управление Наркомпути утвердило эскизный проект инженера Иогансона по строительству грандиозного Камско-Печорского канала. Стоимость одной только первой очереди определили в 75 миллионов рублей. "Управлению строительством канала поручено форсировать проектные работы по соединению северного порта Индиго с Камо-Печорской водной системой, — писала "Правда Севера". — В 30—31 году на работы по сооружению канала предполагается затратить пятнадцать миллионов рублей". В разговоре со Шмидтом Бергавинов заметил однажды, что прежде чем строить такие каналы и электростанции, надо сначала за счет лесоэкспорта заработать валюту и купить зарубежную технику. (Ту же мысль высказывали Бергавинову и в Северо-Западном пароходстве, где заправлял Иван Михайлович Шумилов, бывший когда-то секретарем Вологодского губкома. (Конечно, Бергавинов тоже любил размах в строительстве. Но какой там, к черту, сейчас канал, если не можем построить причалы и лесозаводы! А тут еще и ОГПУ со своими запретами в использовании на строительстве высланных куркулей...

Кому-то в Москве очень не нравилось упрямство архангелогородского секретаря, уже готовилась переброска Бергавинова на Дальний Восток. Но секретарь ничего не знал об этих подспудных происках, его натура не допускала существования коварства. Если б он был похитрее, он сразу бы заметил, что и Шумилова во вновь избранной Центральной контрольной комиссии тоже не было. Правда, Шумилов еще до Камского канала был обвинен в правом уклоне...

Бергавинов вместе с Шацким спали в мягком вагоне, когда немногочисленная вологодская делегация сошла с поезда.

Ответсекретарь Вологодского окружкома Волков, сменивший перед съездом Стацевича, также был не в духе. Полумесячная гостьба в Москве, Большой театр, встречи и знакомства на съезде отодвинули на время вологодскую суету. Теперь опять пойдут суровые партийные будни. Быть может, его ждет то же, что и предшественника, не сумевшего организовать борьбу на два фронта. Но кто как не Бергавинов вместе со своим заместителем Иоффе настойчивыми шифровками требовал усилить напор, увеличить процент зимней коллективизации? Да и Шацкий с Турло не сидели в Архангельске сложа руки. К началу марта Стацевич под давлением и с помощью бригады ЦК силой вогнал в колхозы 61 процент всех крестьянских хозяйств Вологодского округа. После статьи Сталина Стацевича же и обвинили в левом загибе. Интересно, по какой причине произошла смена начальника Окружного ОГПУ и политорганов десятой дивизии? Волков слыхал мимолетно, что этим, наоборот, Москва вменила не левый, а правый уклон. А какой он, к чертовой матери, правый, хотя бы и тот же Кясперт? Нет, бывший начальник ОГПУ округа не был похож на правого. Вот и разберись, где у Москвы право, где лево...

Волков в тот же день отправился на Козлёнскую улицу и не менее часа просматривал директивы и телеграммы. Их за время съезда накопилась целая куча, сотрудники Бергавинова не жалели бумаги. Судя по всему, в Вологде в связи с упразднением округов опять началась административная паника. Все служащие уже в июне ерзали на стульях, боялись за свои должности. Упразднение намечалось еще до съезда. Высвобождающиеся кадры, партийные и советские, рекомендовано посылать в районное звено и в низовку. Сразу целая кипа заявлений на отпуска и с просьбами отпустить из пределов области, на лечение и т. д. Никто не хочет ехать из Вологды в районы. А что там пишет "Красный Север"? Редактор Тепцов, возвращаясь с краевой партконференции, устроил в поезде пьяный скандал. Пришлось выносить выговор на бюро. На последнем заседании 23 июня разбирали руководство из Сокола — тоже за пьянку. Один так упился, что и наган потерял...

Секретарь Волков просматривал последние июньские номера "Красного Севера": "Торги финансового отдела на продажу изъятого за недоимки имущества..." Рядом с объявлением о пропаже дойной козы (зачем Тепцов печатает подобную чушь?) — публичное заявление какого-то Михаила Михайловича Квашникова:

"Порываю всякую связь со своим отцом Михаилом Ивановичем Квашниковым и всей его семьей". Дальше? Информация по округу. Доклад товарища Сталина на съезде. Заметка о театре Ленинградского пролеткульта, объявление о пропаже собаки. "Порываю всякую связь с родителями Александром Алексеевичем и Раисой Гордеевной Кукушкиными, проживающими в г. Вологде по площ. III Интернационала... Любовь Александровна Кукушкина". Кто такая? Кажется, из ОКРЗУ... Снова съездовские материалы.

Надо срочно собирать бюро по итогам съезда, наметить план на июль-август. А что тут? Еще одна пачка заявлений на санаторий и отпуск...

После просмотра местной газеты Волков начал разбирать бумаги и заявления, поступившие из вновь образующихся районов. "Настоятельно прошу бюро окружкома назначить комиссию по выяснению моего социального прошлого и моей недавней работы на лесозаготовках, — читал ответсекретарь. — Считаю решение о моем несоответствии занимаемой должности несправедливым, а утверждение о связи с вологодской группой Бухарина не соответствующим действительности. К сему Лузин".

Да, Лузин. Степан Иванович. Как раз перед съездом они долго беседовали об организации и строительстве поселков для высланных. У него были интересные

предложения об использовании фонда колонизации, о летней заготовке пиловочника. Что же случилось с Лузиным за две эти недели, почему он написал такое радикальное заявление?

Секретарь окружкома Волков решительно снял телефонную трубку.

За стенами вологодского Духова монастыря, внутри массивных каменных монолитов в летнюю пору всегда было прохладно. Ни мухи, ни комары не беспокоили сотрудников. Конечно, зимой тут не особенно тепло. Но не особенно и студено. Единственное неудобство — это холодная уборная. Еще не любил Семен Руфимович Райберг запах печного зноя. Боясь угару, приходил в кабинет ближе к полудню и для провéтривания открывал дверь в коридор. Никто не злоупотреблял этой открытой дверью, даже новый начальник ОГПУ Сенкевич. Весной Семен Руфимович своими глазами видел документ с грифом "строго секретно", поступивший на имя бывшего секретаря окружкома Стацевича. То была выписка из протокола № 20 заседания Краевого секретариата от 17.III.30 г.: "Слушали: "О замене начальника Вологодского Окротдела ОГПУ тов. Кясперта и нач. Коми областного отдела ОГПУ тов. Витола по предложению ПП ОГПУ. Постановили: 1) Освободить от занимаемой должности тов. Кясперта и Витола, откомандировать их в распоряжение ЦК ВКПб для работы по линии ОГПУ. 2) В должности нач. ОГПУ утвердить тов. Альтберга Александра Карловича". Документ был подписан зам. секретаря Севкрайкома Иоффе.

Утвердили Альтберга, а послали почему-то Сенкевича...

Отчего что ни начальник, то обязательно либо поляк либо латыш?

Семен Руфимович любил иногда слегка обмануть самого себя. Он знал о причине замены, но сделал вид, что не знает. Он ухмыльнулся, встал и глянул в большое купеческое зеркало. Постучал по стеклу восковым бескровным перстом: "А ведь прав был тот рыжий поп! — с улыбкой подумал Райберг. — В зеркальном отражении все меняется. Левое становится правым, правое левым... Философский вопрос! Печать и радио тоже ведь отражение действительности. А почему Толстого Ленин называет "зеркалом русской революции"?"

Семен Руфимович с надсадной бодростью поспешил сесть за свой двухтумбовый, тоже купеческий, стол, покрытый зеленым сукном. Обманывать самого себя было ни к чему. Ему давно хотелось в Москву, как хотелось в Москву или, на худой конец, в Архангельск Яшке Меерсону, за которого так хлопочет Турло — член Краевой контрольной комиссии. Дело житейское. Причина срочной замены Альтберга Сенкевичем попросту неинтересна. Обычная внутренняя склока в окружении Менжинского и Ягоды. Впрочем, что значит обычная? Достаточно одной небольшой докладной, чтобы автор вот этого сочинения кубарем полетел из своего кресла...

"В Холмогорах из одного раскулаченного семейства трудоспособные отправлены на лесозаготовки, а старуха и дети 6 мес., 6 и 13 лет помещены без продуктов в баню.

Выселенные кулацкие семьи в Мехреньге (Плесецкий р-н) загнаны в церковь и поставлена вооруженная охрана.

По Вокскому с/с (Пинежский р-н) из 13 раскулаченных хозяйств трудоспособные отправлены на лесозаготовки, для остальных членов семей, охраняемых сельисполнителями, были установлены правила: 1. ходить по деревне с места поселения на 4 дома вперед и 4 дома назад и до 4-х часов дня. 2. детей раскулаченных в школу не пускать.

Уполномоченный Вол. ОЧК рабочий Сухонских фабрик Киров, ворвавшись в дом середняка Николаева, сорвал у жены Николаева из ушей серьги, снял с пальца кольцо и скрылся. (Киров арестован.)

В Нянд. окр. за невзнос сефмонда попу Верхне-Пуйского с/с местными властями было приказано за несколько километров вывезти на себе восемь бревен леса, "тогда примем на работу и дадим поек". Поп бревна вывез.

В Елгорском с/с того же округа кулацкие семьи выгонялись на улицу в том, в чем находились, и без куска хлеба.

Там же в Каргопольском р-не пред. с/с по телефону говорил: "Вы, наверно, газет не читаете, почитайте "Бедноту" и увидите, что повсеместно раскулачивают вовсю". Уполном. РИК — член ВКПб на это отзывался так: "Мы делаем правильно и будем раскулачивать. Такого момента я ждал 12 лет. Теперь не остановишь".

Пальма первенства в этом деле принадлежит Сухонскому р-ну (Вологодский округ). На почве безобразий, проявленных работниками этого района, вырос судебный процесс, который вскрыл такие факты из Сухонской практики раскулачивания: Бригадир по раскулачиванию Нагольный допрашивал беднячку Серову, целился в нее из револьвера, выстрелил и лишь по счастливой случайности пуля попала в пол вместо груди женщины. Не ограничившись этим, Нагольный постращал выстрелом 12-летнюю девочку.

Бригада Раздухова, допытываясь у одной крестьянки о якобы спрятанных вещах, писала ей смертный приговор, инсценируя обстановку расстрела. Представитель революционной законности милиционер Невзоров не возражал.

Секретарь Воробьевской ячейки Кузичев явился раскулачивать семью учителя с огромным ножом в руке..."

Райберг читал "Информационно-политическую сводку № 1 по состоянию на 20.III.30 г." Это был обширный, на многих страницах текст, написанный явно кулацким прихвостнем, ободренным сталинской статьей. Каким образом эта сволочь проникла в ряды чекистов? Одна лишь ироничная фраза о "представителе революционной законности" выдает с головой бухаринского последыша...

Семен Руфимович дочитал до седьмого раздела, где говорилось о влиянии религиозных общин на раскулачивание, и сделал закладку. Отложил материал в особое место...

Тема седьмого раздела была особенно важна. Райберг гордился успехами в деле антирелигиозной борьбы. Не Кясперту и не Сенкевичу, а именно ему, Райбергу, с помощью Союза безбожников удалось нейтрализовать вологодское духовенство. В городе на двенадцать тысяч жителей построено около семидесяти церквей. Часть действующих приходов ликвидирована еще во время гражданской, нынче и остальные удалось передать обновленцам. На сегодняшний день сторонники патриарха Тихона служат всего в двух местах: в подвале Богородицкого собора и в Горбачевской церкви.

Семен Руфимович отложил "сводку". Он взялся за оперативные утренние донесения. Они были скучны и неграмотны. Сплошная рутина. В Вологде готовился большой судебный процесс. Подготовлены материалы на два десятка врагов народа, арестована группа финансовых работников. Немногочисленные сексоты, работающие в окружных организациях, словно бы сговорились: все как один сообщали о сочувственном отношении к арестованным финансистам...

Как всегда, множество сообщений о пьянстве руководителей. Целый ворох анонимных записок в комиссию по советской чистке. Черт бы побрал! сколько раз твердишь, что материалы о пьянстве его, Райберга, не интересуют! И этот дурак-сексот на строительстве завода "Красный пахарь" старательно переписал фамилии родственников бывших земских учителей, купцов и урядников.

А вот это уже чуть посерьезнее: письмо на судью Рязанова из Шуйска. К дополнительному сообщению про вожегодского народного судью Воронова, где пришпилена вырезка из газеты "Уголовное дело № 2253", добавил еще один серьезный сигнал, материал о судебном деятеле, теперь уже из Шуйска. Сколько можно терпеть таких народных судей? И Семен Руфимович пометил что-то на своей шестидневке.

Еще что? Извольте любить и жаловать, сообщение сексота об агенте ОГПУ Гириневском Петре Николаевиче:

"... два раза крестился на богослужении, после службы в церкви заходил на квартиру, провел больше часа на улице Воровского в семье бывших священнослужителей Вознесенских".

Райберг оживился. "Надо посмотреть, что пишет сам Гириневский..." — подумал Семен Руфимович, но не успел этого сделать. В раскрытую дверь энергично, без предупреждения вошел начальник ОГПУ Сенкевич. Он поздоровался за руку, от стула отказался и с ходу спросил, имеются ли компрометирующие материалы на Лузина Степана Ивановича?

— Лузин? — Райберг встал. — Что-то не помню. Да, да, Лузин... Вероятно, это тот самый, что сплавные деньги сплавил украинским кулакам... Своих же местных кулаков он пристраивал на теплые должности. Почему ты заинтересовался Лузиным?

— Звонил Волков. — Сенкевича слегка коробило то, что Райберг при первом же знакомстве перешел на "ты". — Просит выяснить.

— А что, собственно, выяснять? — Райберг вынул из сейфа папку. Полистал. — Лузин Степан Иванович... В Соколе у Волкова целый букет попкулорга. На каждом шагу поп, кулак и торговец. Ничего удивительного, что и на Сухонском заводе правые свили себе уютное гнездышко.

— Но Волков говорит, что Лузин был начальником лесоучастка?

— Да, но закваска-то сухонская. Волков человек новый в Вологде. Я позвоню ему насчет Лузина.

Сенкевич не стал возражать. Он тотчас ушел, а Семен Руфимович продолжил просмотр бумаг. Гириневский. Каким-то крючком фамилия оперативника цеплялась в сознании, что-то неуловимое помешало Райбергу перейти к следующим материалам. Что? Гириневский... Петр...

Райберг достал из стола еще одну папку. Здесь были подшиты объективки на всесоюзный розыск. По стране бегали тысячи уголовников, но еще Кедров говаривал, что пьяницы и уголовники интересны лишь с медицинской точки зрения. Нет, в этой папке числились совсем другие люди. Райберг листал бумажки одну за другой. Так! Вот что цеплялось в памяти.

"Гирин. Петр Николаевич, из группы курьеров. Урожденец Ольховской волости Вологодской губернии. Исчез тогда-то и тогда-то с личным оружием номер такой-то... Уж не он ли Богу-то молится?" — подумал Райберг.

В донесениях Гириневского за последние дни не было ничего особенного:

"... в литейке паровозо-ремонтного читали газету, как умер в Москве последний коммунар Парижа Антуан Гэ. Один рабочий сказал, што и тут Гэ и там Гэ, што куда не ступи, везде Гэ. Все захохотали".

Семен Руфимович подчеркнул слово "один" и поставил около знак вопроса.

"... в очереди за селедкой рассказано два анекдота: хто Сталину сапоги чистит. Молотов или Каганович?"

"... сказали, што из Архангельска прилетел чижик и поет не по здешнему. А Чижик ведь это фамилия представителя из Крайкома".

"... про Бергавинова сказано, што он говорил, што Америка скоро объявит войну Англии".

Райберг вышел в коридор и окликнул дежурного. Попросил, чтобы к нему сразу послали Гириневского, как только тот появится в управлении.

* * *

Обычно Петька докладывал начальству стоя, а тут Райберг усадил его на стул и предложил папиросу. Петька Гирин по прозвищу Штырь (он же Штырев, Гириневский и Гиринштейн) сразу сообразил, что это не доклад, а допрос. И сердце его тревожно сжалось. После обычного, ничего не стоящего разговора Семен Руфимович спросил, знает ли он Лузина. Петька сказал, что знает, поскольку Лузин связан со строительством поселков для южных раскулаченных.

— А Шустов? Слышали вы где-нибудь эту фамилию?

— Нет, Шустова я, Семен Руфимович, не слыхал, — спокойно произнес Петька, и все нутро его заныло, словно он натощак выпил стакан водки. Райберг глядел в упор.

— Хорошо, Петр Николаевич, хорошо. В отпуске давно не были? Вы ведь, кажется, родом из Ольховской волости? Кадниковский уезд.

У Петьки сдавило сердце.

— В отпуск мне, Семен Руфимович, ехать некуда, никого нет. Я и был сирота. А родом я из бывшей Северо-Двинской губернии... Не знаю, про какую волость вы говорите.

И Петька назвал деревню и волость, которые были отмечены в его нынешних документах.

— Разрешите идти? — Гириневский стоял навытяжку.

Райберг неожиданно переменился в лице. Его злила стройная фигура, солдатская выправка и пронзительная небесная синева в глазах этого парня. Семен Руфимович тоже встал и вышел из-за массивного своего стола.

— Ты, Гириневский, расскажи, как ты Богу молишься! Как крестишься!

Может, и на исповеди был в Лазаревской? Святых тайн у отца Василия не причащался?

— Никак нет, товарищ Райберг, не причащался. Креститься приходилось по долгу службы...

— Чай с поповнами пил тоже по долгу службы? — спросил Райберг и опять переменился в лице.

— Семен Руфимович, чай пил не по долгу. Желательно подженитъся... Познакомились на танцах в литовском клубе.

Райбергу стало скучно.

— Идите, — сказал он.

Петька по-военному, через левое плечо повернулся. Вышел из кабинета. Гирин только сейчас стал белый как холст. Испарина выступила на лбу.

В тот же день, не простившись с Авдошкой, он уезжал из Вологды. Для прохождения дальнейшей службы ему было предписано срочно явиться в отдельный пятнадцатый дивизион ОГПУ, который размещался в Архангельске в здании бывшего краевого финансового управления. Напрасно, вся в тревоге и радости, два дня ждала своего суженого украинская дивчина!

Гирин исчез. Уезжая, он оставил себе надежду на новую встречу. Хотя жениться, имея так много фамилий, было почти невозможно...

IX

Степан Лузин ехал в Архангельск, искать партийную правду. Так долог путь до Белого моря! Поезд то осторожно крадется по лесам и болотам, то безучастно стоит на безвестных разъездах. Зато можно было спокойно читать газеты, которыми снабдила запасливая жена.

"Порываю всякую связь с родителями Иваном Евграфовичем и Алевтиной Павловной Кузнеченковыми, проживающими..." Лузин не дочитал. "Баланс треста "Волкирпич", реклама лекарства: "Вытяжка из половых желез "Спермоль"..." Лузин хмыкнул. В другом номере "Красного Севера" он прочитал еще одно объявление: "Анонс! Заслуженные шуты Грузии братья Танти". Сходить бы вместе с детьми на этих шутов. При воспоминании о семье Степан Иванович впервые ощутил ясно выраженное тревожное чувство. Что ждет жену и троих детей-малолеток, если... Дальше он просто останавливал свои мысли. "Ничего. Не может этого быть, не может... В Архангельске он обязательно отыщет партийную правду, его восстановят, его знают многие товарищи в Северолесе. Они подтвердят его ничем не запятнанное прошлое. В худшем случае придется писать Шумилову, а то и непосредственно Сольцу".

Чем дальше на север, тем светлей и короче летняя ночь. Сумерки не спешат укладывать пассажиров на жесткие вагонные полки. Лузин развернул "Красный Север" с заключительными материалами съезда. Он искал в списках центральных выборных органов фамилию старого друга. Ни в контрольной комиссии, ни в ревизионной Шумилова не оказалось. Лузин рассеянно, с недоумением прочитал заключительное слово Калинина. Тянуло, однако, к спискам. Шацкий, Швейцер, Шкирятов, Шотман, Штраух... Увы, среди нового состава центральной контрольной комиссии Шумилова действительно не было! Может, его ввели в число кандидатов ЦК? Но тут на букву "Ш" вообще никого. Один Шмидт, видимо, тот самый Шмидт, который организовал прошлым летом полярную экспедицию.

Лузин отодвинул газету. Проезжали разъезд, куда зимой и весной возили бревна подшефные Лузину мужики.

Поезд остановился. Степан Иванович не без тщеславия разглядывал два новых барака, срубленных для ростовских и киевских переселенцев. Лесорубов, вероятно, переселили уже из зимних "вигвамов" Сухой курьи. Сколько нервов потрачено из-за финансирования строительства! Железная дорога была обязана расселить высланных за счет своих средств. Не потратила ни рубля. Бюро окружкома отозвало Степана Ивановича из леспромовской системы и перебросило на кооперацию. До Лузина и до сих пор не дошло, почему так случилось. Житье в лесу нельзя было сравнивать с городским, и тот перевод был благом для всей семьи. Не мог он догадаться, что человеческое, то есть здравомыслящее отношение к

высланным в планы Кагановича, Яковлева и их местных последователей отнюдь не входило, что по логике Центра ростовских куркулей надо, наоборот, морить голодом и морозить как тараканов, а не выписывать им новые рукавицы.

Нет, Лузин до сих пор не мог додуматься до истинных причин его перевода и последующей чистки из кооперации. Шустов, бывший бухгалтер Ольховской маслоартели, принятый на работу десятником, арестован и находится сейчас неизвестно где. Но и это из рук вон серьезное обстоятельство Лузин все еще не связывал со своей личной судьбой. Промфинплан участком был выполнен. Лес зимой все-таки вывезли. За что же его, ничем не запятнанного члена ВКПб, понижать в должности, преследовать? Во время аппаратной чистки в конторском коридоре, на самом виду, висел фанерный ящик для компрометирующих записок. Служащие прозвали этот ящик "кляузником". Можно было писать все, что кому вздумается, и опускать. Анонимные записки разбирались потом на комиссии. Лузину вменили в вину то, что он будто бы потворствовал на лесозаготовках местным кулакам, разрешая поездку на религиозный праздник, выдавал продовольствие и дефицитную обувь украинским раскулаченным и т. д.

Его "вычистили" из системы кооперации. Угроза исключения из партии стала реальной, несмотря на то, что Лузин числился в резерве окружкома. Он написал письмо Волкову и поехал в Архангельск. Он верил, что в крайкоме во всем разберутся, что помощь Ивана Михайловича Шумилова потребуется лишь в крайнем случае...

Лузин почему-то так и не смог догадаться, что Шумилова тоже обвинили в правом уклоне.

Будучи в полной уверенности, что все нормализуется, он сошел с поезда. Без приключений перебрался на правый берег Двины. Из поклажи почти ничего нет, один небольшой баул. Ночевать можно у знакомых либо в гостинице. Погода в Архангельске стояла отличная. Безмолвная и светлая северная ночь незаметно сменилась теплым едва ли не жарким солнечным утром. В придачу ко всему сразу начал встречать знакомых. На площади около Троицкого собора, которого уже не было, Лузин замедлил ход. Собор снесли, и на его фундаменте строился драмтеатр. Лузин слыхал об этом событии. Готовилось и строительство нового Дома связи, но пока Степану Ивановичу было не до новостроек. Он торопился "в крайком прямиком", бодрил себя этой неожиданной рифмой и машинально читал афишки. В кинотеатре "Арс" "Заговор мертвых". Кинотеатр "Эдиссон" приглашал на немецкую фильму "Виновен". Дети не допускаются. "А зачем такое кино, если дети не допускаются?" — мелькнула мысль. Заботы дня тотчас стерли ее, как стираются на уроках грифельные уже не нужные записи.

С легким и даже с каким-то спортивным волнением Лузин в семь тридцать утра ступил на крайкомовскую лестницу. Наверху, в коридоре он без труда отыскал приемную первого. Лузин знал, что Бергавинов приходил на работу довольно рано.

* * *

Товарищ Аустрин, полномочный представитель ОГПУ в Северном крае, координировал свои действия с одним лишь секретарем крайкома, да и то не всегда. Подчеркнутая независимость чекистской элиты сказывалась буквально во всем, включая многозначащее молчание на заседаниях бюро. Бергавинов Сергей Адамович видел, что это молчание было красноречивее любого ораторского приема. Литературные персонажи из русской классики этим товарищам вовсе не требовались. Бергавинов, как, впрочем, и Конторин, сам был выходцем из чекистской среды. Оба не только не противились подобной специфике, но и поощряли ее.

Тем не менее ПП ОГПУ был обязан официально информировать руководство крайкома о положении в крае. Вот почему сегодня на секретарском столе с утра появилась очередная красная папка. В спешке перед съездом Бергавинов не успел как следует изучить и предыдущую папку... Предстояло заново прочитать обширный, на двадцать машинописных страниц, материал, подписанный заместителем Аустрина Шийроном. На титульном листе стоял рукописный номер и дата. В правом верхнем углу обозначилась специальная серия:

Это была "Спец-сводка" № 6, за период с пятого по десятое июня, характеризующая настроения высланного с юга кулачества.

Бергавинов повесил новый, купленный после съезда пиджак на спинку стула. Орден еще не успел перекочевать со старого пиджака на новый, а что за костюм-тройка без ордена? В новом костюме секретарь покамест не чувствовал себя уверенным и полноценным.

Итак — спец-сводка... С первой страницы копится раздражение: план по приему и расселению кулаков не выполнен. За пять дней принято всего две тысячи сто сорок восемь семей. Каков же прирост за две декады июньских и полторы июльских? Эти сведения будут в другом донесении, под номером семь, а сейчас необходимо заново изучить предыдущее. Бергавинов углубился в чтение.

"... 8-го мая в Усть-Пинегу была отправлена партия кулаков в количестве 693 чел.

...Назначенный Окр. Админ. Отд. комендант знал, что на днях ожидается партия кулаков, абсолютно ничего не сделал, а в день прибытия кулаков сам уехал в Архангельск. Пока сопровождающий партию милиционер собрал представителей местных организаций и пока они обсуждали вопрос, принять кулаков или нет, и если принять, то куда их разместить, люди находились на п/х и в барже. Обсуждение вопроса и подыскание помещений длилось 6 часов, выгрузка 3 часа, таким образом, простой п/х и баржи выразился в 9 часов".

Бергавинов подавил в себе желание не читая перелистнуть страницу.

"... Кроме общих вопросов антисоветский элемент кулачества открыто выражает недовольство на Соввласть. В/кулак ШЕРОНОВ Герасим говорил: "Нас гоняют, как скотов, загнали в холодный барак, выставили посты, чтобы мы не убежали. Я раньше сочувствовал Соввласти, но теперь, когда я сам на себе все эти прелести испытал, я с каждым днем жду переворота. Такое издевательство над народом даже при крепостном праве не было..."

"... В результате такого разжигания имеют место массовых недовольств со стороны в/к против отправки в открытых выступлениях и выкриках: "Кровопийцы, стреляйте лучше на месте, чем нам ехать замерзать. Масса от погрузки скрылась в бараке, а вещи оставили около путей. (Разъезд 61, Няндом. окр.)"

"Долго ли нас будут возить с места на место. Время прекратить издевательство, лучше бы расстреляли" и т. п. (Архан. Переселенческий пункт)"

"В Пенозере Приозерского района до 400 семейств кулаков подлежит перевозке из деревень в места поселения. Выезжать из деревень и строить поселки кулаки отказываются, требуя возвращения на Украину. Погруженное 8-го июня для отправки имущество на подводы в количестве до 200 лошадей кулаками снято и последние от выхода отказались..."

Позывы исправлять чекистскую грамматику прекратились, Бергавинов продолжал чтение:

"Адм. выслан. Лоренц Федор Федорович, надеясь быть освобожденным, говорит: "Нам, товарищи, надо ожидать XVI съезд партии большевиков, может быть, что хорошее для нас скажет, а как мыслит Сталин, этого не будет. Сталин это упорный осел, он не останавливается ни перед чем, миллионы людей позагоняли, рука не дрогнет. Во время отпуска красноармейцев домой Ворошилову поступило тысячи писем о том, как Власть издевается над крестьянами. Ворошилов зачитал письма перед Сталиным. Сталин начал отвергать эти письма. Ворошилов выхватил наган из кобуры и выстрелил в Сталина. Ворошилова арестовали и он просидел 5 дней, узнала Красная Армия, подняла шум и Ворошилова выпустили".

"Не попал, что ли? — рассмеялся Бергавинов. — Такой плохой стрелок, этот Ворошилов... И просидел только пять дней".

Секретарь развеселился, но не надолго:

"Работа антисоветского актива имеет значительное повышение, — писал работник ОГПУ. — Если за прошлую пятидневку отмечено 261 случай, то за данную из разного рода источников зарегистрировано свыше 500 случаев. Наиболее развитый актив АСЭ для разжигания остальных пишет стихотворения, о их

кулацкой забитой доле, одновременно стремясь их распространять: В бараке № 3 ссыльный Еременко Иван Осипович пишет стихотворения о их кулацкой забитой доле, и читает по другим баракам, благодаря его произведениям ссыльные плачут и негодуют..."

Вошла секретарша, положила на стол новую пачку бумаг:

— Сергей Адамович! Товарищ приехал из Вологды. Сидит второй час.

— Я же предупреждал, — прервал ее Бергавинов. — До обеда у меня не будет времени.

— Очень уж он настойчивый! — От секретарши сильно пахло каким-то одеколоном. — Все время говорит, что по важному личному делу.

"Личные дела важными не бывают", — хотел сказать Бергавинов и удержался.

— Как его фамилия? Лузин? Что-то не помню. Пусть выслушает его Шацкий или Конторин.

Секретарша бесшумно ушла. Сергей Адамович перелистывал чекистскую сводку. На трех страницах на украинской мове перепечатаны кулацкие вирши.

"До воли". "До дитей", — читал секретарь названия. — "Мое прохання".

Лита мои молодии,
Лита золотии,
Поверниця, усмехниця
Усмешкой надии.
Прилитайте ви до мене
Из ридного краю,
Я вас стрину риднисенько,
Щиро спривитаю.
Прилитайте, разважайте
Миж цими лисами,
Выплакав я свои очи
Гирькими слезами...
Але ви мене побачьте,
Любо усмехниця,
И на мое тяжко житя
Прийдить подивиця.
Подивиця ви на мене,
На лице на очи,
Помарнили потускнили,
Що цвити в пивночи.

"Ишь как нюни умеют пускать! — подумал Бергавинов. — И эти друзья... Не лень переписывать, не жалеет Шийрон бумагу".

...Ой, крихотка моя милая,
Нисщасна дитина,
Захватила нас в дорози
Лихая година.
Тихо, тихо ти умерло,
Слова не сказало,
И за що ти умираешь
Ти и не спытало,
Бо несщасна твоя доля
Ничого не знало,
А за що ш ти мое бидне
Тут отак страдало.
Плаче мате припадае
То нам не пизнати,
Що у неи там на серци,
Нам того не знати.

Мало забот, объявился еще и новый Тарас Шевченко! Что-то давнее и забытое шевельнулось в секретарской душе... Когда-то он знал и напевную украинскую

мову, и позабытую ныне белорусскую речь. Но как далеко отодвинулось его детство и юность...

Ой не плачь ти, бидна мати,
Бо плач не поможе,
Нихай долю цю рассуде
Святий правый Боже.
Твое ж миле не вернеця
Ни у день ни в ночи,
Не суши ти, бидна мате,
Свои ясни очи.
Хай радиють вороженьки
Не забарам кара
Повисне над головою,
Як черная хмара
Во ци слези не загинуть,
Що отут пролити.
И разнесця грим великий
По всим билим свити.

Что с ним? Всю жизнь освобождался от сентиментальной слякоти, не терпел ее ни в себе, ни в товарищах. А тут... Нет, нет, он, Бергавинов, не таков... Идет борьба. Когда-то на Украине огнем и дымом была опалена его молодость. Однажды чудом ушел от смерти. Белые приговорили к расстрелу. "Но ведь не расстреляли же?" — возразил далекий, какой-то очень далекий и робкий голос. Они приговорили меня к расстрелу, но отложили расправу! "И ты убежал... И после сам расстреливал их..." — Дальний, но уже окрепший голос не исчезал. Да, но если б я не расстреливал, я бы не победил. "А тебе обязательно надо было победить? Кого ты победил?"

Бергавинов, собирая себя в кулак, грохнул по столу сразу двумя руками. Он не любил раздвоения.

Секретарша, принесшая чай, заметила мимоходом:

— Товарищ Лузин никак не уходит...

— Я же сказал: пусть примет его Конторин! Сегодня я занят.

Сергей Адамович Бергавинов отхлебнул из стакана и продолжил чтение:

"Сов. Власть, власть мародеров, она выслала не кулаков, а середняков и бедняков... Власть начиная с ВЦИКа и кончая самым последним милиционером хамы и вредители... За это вредительство на заседании бюро ЦК ВКПб Ворошилов пристрелил Сталина. Скоро дождемся гибели этой мародерской власти..."

— Не дождетесь! — вслух и со злобой подумал секретарь крайкома.

Он снова стал собранным и решительным. К нему возвратилось прежнее состояние цельности. Может ли быть ущербным состояние борца? Он герой гражданской войны! Большевик, поставленный партией на передний рубеж по добыче валюты для пролетарского государства. Как он мог поддаться позорным минутным слабостям? Надо выявить и обезвредить антисоветскую агитацию! Следующая запись в сводке лишь подтверждает необходимость террора:

"...Как только вернусь домой, я первым долгом убью всех активистов нашего района".

Сидевший у дверей кабинета Лузин разволновался и решил покинуть приемную. Вскочил и сердито спросил секретаршу:

— В каком номере товарищ Дмитрий Алексеевич Конторин?

Секретарша, не скрывая облегчения, сказала номер. Но... Заворга и члена бюро Конторина не оказалось на месте, уехал на совещание, проводимое Комиссаровым — председателем крайисполкома.

Лузин не стал развивать крамольную мысль о значении фамилий. Конторин... Комиссаров... Пришлось уходить и устраиваться в гостиницу.

* * *

В промежутках между крайкомовскими визитами Степан Иванович побывал в крайисполкоме и в Северолесе, пообщался с кооперацией и кой с кем из профсоюзных работников.

В конторах веяло бесшабашным унынием. Все судачили об административных чистках, гадали, что будет после ликвидации округов, и шепотком, с оглядкой рассказывали еврейские анекдоты.

Сексоты заносили антисемитчиков в специальные ведомости с пометкой "контра".

Это по конторам и учреждениям. В очередях же и питейных местах, на шумном базарном торжище крикливые женки в открытую ругали евреев. Иногда милиция тут же хватала самых горластых. Хватала и отпускала. Недовольство властью простой народ гасил драками и пьяным разгулом.

Отдельные служащие вроде инженера Живописцева осмеливались на открытый бунт. Такие карались без всякой задержки. Весь город говорил о суде над Живописцевым, который сделал пощечину Миндлину — главному инженеру Северолеса. (В последний момент суд заменил год тюрьмы принудиловкой.)

Лузин почувствовал, что и он за два этих дня заразился антисемитским духом. Что такое? Никогда раньше не испытывал он неприязни ни к евреям, ни к армянам.

Ему удалось проникнуть к заворгу Конторину. Тот внимательно выслушал и... сделал "пас". Отправил к члену бюро и председателю краевой контрольной комиссии Турло.

Лузин полностью разочаровался в Конторине...

Рано утром на другой день Лузин еще раз явился в крайком.

С председателем ККК Степан Иванович был знаком с тех времен, когда Турло жил и работал в Вологде. В последний раз Лузин видел его на митинге во время окружной партконференции. На трибуне он выглядел куда представительней, чем сейчас. В кабинете уныло сидел посторонний. Сидел почему-то в кресле хозяина. Звонил, что ли? Лузин тотчас узнал в нем бывшего зав. АПО Меерсона. Сидевший сбоку Турло не встал навстречу, но руку подал. Долю секунды Лузин колебался, здороваться ли за руку с Меерсоном. Тот сидел совершенно равнодушный, не очень довольный. (Позднее Лузину стало ужасно стыдно, что протянутую для рукопожатия руку пришлось убрать.)

— Извините, я прервал вашу беседу, — сказал Степан Иванович. — Но мое дело к вам, товарищ Турло, отлагательств никак не терпит. Я изложил его письменно и подаю апелляцию...

Меерсон освободил место за хозяйским столом.

Степан Иванович подал председателю контрольной комиссии свои бумаги. Турло мельком просмотрел их:

— Товарищ Лузин, на ближайшем заседании мы заслушаем ваше заявление! Но не ранее как на следующей неделе. Где вы работаете?

— Работал! — Лузин сдерживал раздражение. — Я работал в системе Северолеса... Меня перебросили в потребкооперацию...

— Хорошо, на следующей неделе мы досконально изучим ваше дело.

Меерсон, перейдя на другое место, разглядывал скучный заоконный пейзаж. Низкорослый Турло суетливо двигался между столами и стульями, нервно играл метелками пышных черных усов и намеренно не глядел в лицо собеседника. Впрочем, если б он и посмотрел в лицо посетителя, то ничего бы путного не получилось, поскольку, по заглазному выражению четвертого члена бюро бывшего моряка Иоффе, левый глаз у Турло глядел на зюйд-вест, а правый на норд-ост. (Такие шутки у членов крайбюро считались верхом остроумия, и тон задавал сам Бергавинов.)

Степан Иванович попрощался и вышел из кабинета, как говорится, в полной прострации. (В лучшие времена он произносил это словечко без буквы "т".) Поездка явно затягивалась. Приходилось думать, у кого бы занять денег. Да и в успехе дела появилось первое неосознанное сомнение. Что делать дальше? Ответ на этот вопрос был отодвинут на неопределенное время странной и весьма неожиданной встречей.

Едва закрыв за собой дверь, Лузин нос в нос столкнулся с Прозоровым. Оба опешили. Волей-неволей пришлось здороваться.

— Владимир Сергеевич, вы ли это? — встряхнулся Лузин. — Да еще в таком коридоре...

— Все дороги, Степан Иванович, ведут в Рим! — рассмеялся Прозоров. — Глория виктис! Слава побежденным. Того и гляди, стану марксистом...

Они обменялись краткими фразами о здоровье.

— Не выйти ли нам на свежий воздух? — предложил Степан Иванович.

— С большим удовольствием. Но меня вызвали туда же, куда и вас. Подождите где-нибудь хотя бы минут пятнадцать...

Степан Иванович, изрядно заинтересованный, сказал, что подождет в скверике на скамейке. "Вызвали. Туда же, куда и вас... — Лузина покоробила эта фраза. — Во-первых, меня не вызвали, я приехал сюда сам. Во-вторых..."

Ревнивое чувство не успело облечься в слова. Прозоров уже выходил из крайкомовского подъезда. Светлый, заморского покроя костюм. Отнюдь не пролетарский блеск на штиблетах... Высокий лоб Прозоров осушает белым как снег платком. "Ничего себе административно-высланный", — подумалось Лузину.

— Попросили зайти позднее. Что-то там не готово насчет моей высокой персоны, — сказал Владимир Сергеевич.

Они вышли на проспект Павлина Виноградова. Утренний воздух Архангельска был свеж, дыхание Двины напоминало весеннюю вологодскую пору.

X

— Так где же она, ваша хваленая пролетарская солидарность? — возмутился Прозоров, когда узнал про кабинетные хождения и партийные передряги Степана Ивановича.

Лузин развел руками.

— Я не понимаю... — продолжал Прозоров. — Есть в этом что-то дьявольское... Вы, коммунисты, преследуете друг друга. Точнее, сами себя.

Лузин возразил:

— Владимир Сергеевич, вы по-прежнему ошибаетесь... Идет классовая борьба.

В словах Лузина не было прежней твердости, прежней беспрекословности. Прозоров заметил это и вспомнил разговор во флигеле в присутствии отца Иринея. Хотелось узнать про Ольховицу, спросить что-нибудь про Шибаниху, но собеседник не был там не меньше самого Прозорова. Земляки остановились вблизи руин Троицкого собора. Работа по возведению на соборном фундаменте городского драмтеатра шла полным ходом, а ледокол "Седов" стоял на Двине, готовый к походу. Двинское дыхание доносило от Красной пристани звуки духового оркестра. Лузину тоже вспомнился спор во флигеле:

— Владимир Сергеевич, а ведь вы считали справедливой экспроприацию фабрик. Помните?

Лузин покраснел.

— Ваше мнение изменилось? — допекал собеседник.

— Да! — твердо сказал Прозоров. — Мое мнение несколько изменилось.

Июльский ветряной вздох донес от пристани крики "ура". Прозоров предложил сходить на проводы ледокола.

— Степан Иванович. Скажите мне вот что... Разрушение собора... Оно что, тоже имеет отношение к борьбе классов?

— Конечно! — отозвался Степан Иванович.

— Какое же отношение и при чем здесь Маркс? Просветите меня, как соединить несоединимое? Или вы, подобно Ленину, считаете православную веру народным опиумом?

— Безусловно! — Лузин разгорячился, как на собрании. — И не только православную, но и прочую. Иудейскую, например. Мы преследуем всех одинаково, потому что дурман есть дурман.

— Раввинов и синагог за Полярным кругом раз-два и обчелся. А православные храмы со времен Александра Невского стоят по всему северу. Нельзя же сравнивать преследования единичные с массовыми! Но даже не в этом дело...

— Вы что, и верить начали? — Лузин хохотнул. — В Отца, Сына и Духа Святаго?..

Степан Иванович нарочно произнес последнее слово издевательски. Но Прозоров оставался серьезным:

— Нет, в Троицу я еще не могу почему-то поверить. А в двоицу, то есть в Отца-Вседержителя и в Духа Святого я, Степан Иванович, верил и раньше.

— Так вы тоже вроде оппортуниста или сектанта, — вновь подкузьмил собеседник.

— Выходит, так... Но я всерьез предупреждаю. Вам опасно общаться со мною в обоих смыслах: и в церковном, и в гражданском.

— Ерунда! — Лузин вдруг разозлился, но Прозоров спокойно сказал:

— Именно по этой причине я не приглашаю вас на ночлег...

— Спасибо, я устроился в гостинице. А у вас что, появилась мания преследования?

Прозоров ответил горькой улыбкой. Они приближались к пристани. Ледокол "Седов", готовый к отплытию, стоял у стенки, небольшая толпа провожающих одобряла приветствия отважным полярникам аплодисментами. Торжественный митинг с плакатами и духовым оркестром вела член бюро крайкома Наталья Когинова. Рядом с нею на деревянных подмостках несколько начальников. Профессор Самойлович из Ленинграда был в военной фуражке и в кожанке, профессор Визе в шляпе и в галстуке. Оба носили очки и усы. Шмидт возвышался рядом с капитаном Ворониным. Ветерок, пролетавший с двинского плеса, шевелил широкую черную бороду начальника экспедиции. Эта борода еще с прошлого лета была известна каждому архангельскому мальчишке.

Толпа провожающих прослушала краткие речи. Профессора поднялись на борт. Грянул оркестр, послышались недружные крики "ура", ледокол прогудел и отвалил от причальной стенки.

Густой, с печальной старческой хрипотцой голос "Седова" еще звучал над Пурнаволоком, когда Лузин и Прозоров уходили от Красной пристани.

— Опять Шмидт стремится ближе к Северному полюсу! Как вы думаете, что ему надо за Полярным-то кругом? Ведь моржи и медведи... — Прозоров оглянулся. — Моржи и медведи, насколько мне известно, в кооперации не участвуют...

Лузина начинал бесить прозоровский тон, и он сухо заметил:

— Экспедиция организована с научными целями.

— А каким и чьим целям служит наука? Вон Бергавинов взахлеб докладывает, что идут химические опыты и научные исследования для превращения в сахар древесных опилок. Идея хоть и утопична, но зато понятна миллионам обворованных Шмидтом кооператоров. А какова идея у Визе, Шмидта и Самойловича? Тоже, впрочем, очень простая идея! Все трое сознательно или бессознательно выполняют поручения европейских банкиров. Нужна срочная колонизация Русского Севера? Пожалуйста! И газеты тотчас подхватывают гнусную мысль о якобы перенаселенной России... Ну, а денежки на полярные экспедиции можно спокойно взять хотя бы и с тех же кооперативных счетов. Помяните мое слово, следом за ледоколом пойдут целые караваны. Грабеж лесных ресурсов уже начался, на очереди пушнина и недра.

Лузин возмущенно молчал.

Взволнованный Прозоров оглянулся и заговорил спокойнее:

— Уверяю вас, дорогой Степан Иванович, разница между большевиком Шмидтом и банкиром Ротшильдом чисто внешняя. Оба делают одно дело. Вы, кажется, знали Шумилова? Бывшего секретаря губкома?

— Да, Шумилова я очень хорошо знаю. А при чем здесь Шумилов?

— А при том, что разницы между нынешним вологодским секретарем и тогдашним никакой нет, не правда ли? Я говорю об их мировоззрении.

— Да, я с этим соглашусь.

— Разницы нет, а газеты вопят, что разница есть. Один, мол, правый, а другой правильный. И что примечательно, вы верите этой дьявольской диалектике! И не один вы, а все.

— Кроме вас?

— Напрасно иронизируете! Мнимую разницу вы замечаете, а сходство большевика и банкира игнорируете. Для России.

Тут Лузин резко оборвал Прозорова:

— И все это вы говорите всерьез?

— Разумеется. Потому и прошу: держитесь от меня как можно дальше...

Прозоров с печальной насмешкой протянул прощальную руку.

Лузин без энтузиазма ответил на рукопожатие. Они поспешно расстались и разошлись в разные стороны.

* * *

У Прозорова после встречи с Лузиным то и дело вскипала горечь в душе. Мания это преследования или не мания, если всем, кто с ним общался на бытовом и производственном уровне, действительно грозила слежка, а то и гонения. Не много минует времени, когда Степан Лузин сам, на своем опыте узнает, что значит быть на положении изгоя. По-видимому, он близок уже к этому положению...

Так думал Прозоров на обратном пути в крайком.

Что им надо? Почему он их интересует? Ведь он же не имеет к партии отношения. Он строит лесозаводы. Он высланный. Им, Прозоровым, занимаются люди Шийрона. Зело борзо занимаются! Вон и старух поморок тащат в свое учреждение для приватных бесед...

Как раз из-за последнего обстоятельства снялся Прозоров с квартиры и переехал недавно в рабочее общежитие. Добрые хозяйки всеми силами останавливали:

— Это куда у нас Володя-то вызнялся? Там в бараке, поди-ко, и туалету нетутка... Видать, мадаму нашел. Это она завлекает, перетянула поближе к себе...

Прозоров поднялся на нужный этаж и нашел двери председателя ККК, у которых он встретился с Лузиным. Его отправили "погулять" всего минут на сорок, он же прогулял с Лузиным чуть ли не полтора часа. Может быть, поэтому Меерсон оказался совсем в другом кабинете, в противоположном конце широченного коридора. "Забыл, как его звать. Кажется... Кажется, Яков Наумович. Или Наум Яковлевич?"

Прозоров поблагодарил за подставленный стул. Кабинетишко был совсем убогий, без дивана и без графина с водой. Письменный стол с какими-то брошюрами не вызывал никакого почтения, диаграмма по вывозке древесины, пришпиленная к обоям, совсем выцвела. Окно было открыто, но табачный дух, исходивший от оклеенных стен, не поддавался никакому проветриванию.

Образовалось молчание.

Но вот Меерсон закрыл окно и по-домашнему крякнул.

— Владимир Сергеевич, мы ведь с вами не совсем, э-э-э, как говорится, мы бывали с вами немного знакомы. У нас к вам есть несколько вопросов...

"У кого это у вас?" — хотел спросить Прозоров, но промолчал.

— Итак, вопрос первый. Вы регистрацию проходили? Вы ведь административно высланный, как я понимаю...

— Я еще не ходил на регистрацию, — ответил Прозоров.

— Почему?

— Потому что до буквы пэ еще не дошла очередь. Регистрируют строго по алфавиту.

— Ясно. Теперь второй вопрос... Второй вопрос у меня такого свойства: где вы сейчас работаете?

Прозоров коротко рассказал о своей работе на строительстве лесозавода в Маймаксе.

— Это именно там, где обретается небезызвестный инженер Живописцев? Вы не знакомы с этим хулиганом?

Прозоров смутился, поскольку Живописцева он знал. Это не ускользнуло от Меерсона:

— Хорошо, хорошо, гражданин Прозоров! Вы можете не отвечать на этот деликатный вопрос. Но третий вопрос у меня не менее деликатный... Я хотел бы знать ваше семейное положение.

Прозоров, наконец, возмутился:

— На все эти вопросы в органах есть соответствующие ответы! Позвольте, Яков Наумович, спросить и мне: кто вы теперь по должности и чем могу быть полезен?

Меерсон сразу заулыбался:

— Да, да, конечно! Разумеется, вы правы. Кто я? Я есть профорг Архангельской базы флота. И сейчас же скажу, что требуется, сделайте мне только одно одолжение.

Меерсон подал Прозорову газету на английском языке.

— Прочтите и переведите, э-э-э... Ну, хотя бы вот это!

Прозоров удивился;

— Это что, экзамен по языку?

— Если хотите, да!

— Яков Наумович, я мало знаком с английским... Когда-то бегло читал по-французски. Это было давно!

— Но знающие французский нам тоже нужны! — вскинулся Меерсон. — Мы хотим предложить вам работу в порту... По решению бюро крайкома организуется клуб иностранных моряков, вы, Владимир Сергеевич, будете очень, очень нам нужны...

И Прозоров начал, наконец, понимать, зачем его специальной повесткой пригласили сюда. Он спросил, сколько будут платить. Но в этих стенах юмор был редким гостем...

Под конец разговора Прозорову дали понять, что в случае отказа его ждут крупные неприятности, связанные с путешествием на остров Вайгач.

Цинковые и свинцовые копи!

О, да, он кое-что уже слышал о них. Что ж, это не так уж и плохо. Во всяком случае, лучше, чем... Не обнаружив в себе даже признаков шпионских способностей, Прозоров вышел на солнечную полуденную улицу.

Нет, это надо ж! "Воспитательная работа среди иностранцев". Последние иллюзии относительно большевистской порядочности исчезли, как исчез за мысом Пурнаволок голос "Седова". Разницы между крайкомом и заведением Шийрона не существовало. Не велика была сия истина! И разве не мог он раньше додуматься до нее? О, санкта симплицитас!

Хотелось зайти к добрым поморкам, он вспомнил их убаюкивающую речь, их старомодные чаепития за самоварным столом. Сегодня Прозорова особенно влекло в ту сторону.

Но что же тут долго думать? Его отпустили с работы на весь день. Домик с геранями на окошках недалеко от проспекта. По деревянным болотным панелям, мимо крыльца, у которого не однажды встречался писатель Гайдар. Где он сейчас? Говорят, на Дальнем Востоке. Надо бы хоть какие-нибудь гостинцы...

Прозоров зашел в магазин, купил два фунта самаркандской халвы и "Малиновую" настойку.

Тундровый мох подступал вплотную к Архангельску. Торфяные коричнево-черные ямы были свежими. Плотники били сваи для нового деревянного дома. За последние месяцы Прозоров успел полюбить запах влажной еловой коры, свежесть ядреной древесной плоти, всегда приправленной дымком мужицких цигарок. Эти люди умели делать из дерева все, вплоть до водопроводов и подъемных машин! Повсюду, где недоставало бетона и стали, они обходились деревом. Из дерева они много веков строили жилища, крепости, корабли и плотины. Теперь на размашистых большевистских стройках плотницкие артели трудились, вероятно, точь-в-точь как и во время шумной Новгородской республики. Или совсем не так? Нередко они с великодушным молчанием прощали ошибки в инженерных расчетах. Но Прозоров знал, что больше всего в жизни они не любили перестраивать то, что уже построено!

Поморки углядели его еще в окошко. Он знал, что Платоша успеет скинуть будню стеганую кацавейку и выбежать встречать, а ее золовка метнется наливать самовар.

...Что-то невидимое витало в доме, потому что глаза обеих старушек необычно поблескивали:

— Экой ты, Сергиевиць, басалайко! — Платоша с ходу начала выговаривать гостю. — Ведь мы с золовушкой которой день тебя ждем! Вон и во сне обеим нам привиделся! Ты бы нам хоть какую неражую вестоцьку поцьтой послал, мы бы про тебя и не думали. И цево у тебя там хорошего в общежитьи-то? Поди, и не стирано! Клопов-то нет ли?

— Есть и клопы, — сказал Прозоров, вспоминая одеяло и грязный без про-

стыней матрац, на котором спал. — Все в нашем бараке есть, даже московское радио...

— Радиво радивом, а и нас с золовушкой тебе послушать не грех. Вот дай-то цево-то на ушко скажу...

И Платоша начала шептать Прозорову на ухо, словно из боязни, что кто-то услышит.

Владимир Сергеевич выслушал и начал бледнеть. Отпрянул, вспыхнул. Вскочил со стула:

— Не может быть!

— Может, может, Сергиёвиць! Как не может-то? — Платоша вся так и сияла, как десятилинейная лампа. — Как не может-то, ежели мы и цяю пили, и бумагу она нам с золовушкой показывала. С лесозавода-то. Тоже в бараке устроена. Мы уж ей говорили, цево тебе, Онтонидушка, в бараке-то жить? Ты на квартеру определись, возьмут недорого. Да вот хоть бы и...

Тут Платоша нарочно споткнулась и сделала паузу, но потрясенный Прозоров ничего не заметил. И пошла Платоша честить дальше:

— А до чево бойка, до чево бойка-то! Полусапожки-ти у ее так и постукивают, а как фату-кашемировку на плеци-ти кинула... мы с золовушкой обе так и сидим. Глаза-ти сперва защурили. Как открыли, матушки вы мои! Тонюшка, говорю, ты откуда эдакая? А она увернулась от зеркала-то, на венской-то стул не стала садиться. Да и заплакала... Я говорю, не плаць, матушка, нецево зря реветь! Я ево кряду найду. Однем маментом, говорю, тутотка будет! Свернулась да за тобой. Иду да прискакиваю: ой, хоть бы не убежала до вецера. А в грудине-то у меня так и тукает, так и тукает, думаю, мне хоть бы на Маймаксу-то причалить, уж там-то я найду слой, найду слой! А она, Тоня-то, мою золовушку на произвол судьбы бросила, меня настигла на улице. Дорогу-то загораживает, плачет и Христом-Богом молит, чтобы я тебя не искала, не бегала. Я и поворотила обратно...

Прозоров стоял в полном смятении.

— Гляди, Сергиевиць, упустишь в воду золотую-то рубину, век будешь каяться да сам себя ругать.

Он легонько обнял Платошу за плечи, не прощаясь с ее золовкой, вышел из дома. Золовушка принесла самовар, а гостя не оказалось. Нераспечатанная "Малиновая настойка" по-праздничному рдела на самоварном столе. Лепестки герани тускнели и съеживались.

Погода менялась. Гроза урчала и приближалась, но это была иная гроза, совсем не похожая на ту, далекую и счастливую ольховскую, еще не совсем забытую Прозоровым. Сегодняшний гром показался ему голосом близкого будущего...

Охваченный трусливым отчаянием, Прозоров, нет, не уходил — убегал все дальше и дальше от поморского домика!

Свинцовые заполярные копи заранее погасили волю к борьбе и жизни, Вайгач призывал его к себе, манил в свои холодные и вечные недра.

За чередой порывистых грозовых штормов явилась пора обманчивой морской тишины. Океан уснул, и на лике его потухли, расправились провалы водных морщин. Безбрежная океанская гладь, серая и бесцветная, но позлащенная незакатным солнечным светом, сливалась с белой голубизной небесного горизонта. Вода и небо, словно проникая друг в друга, размывали вдали свои границы.

"Георгий Седов" днем и ночью, не оставляя следов, споро шел в океане. Да и где они были, те дни и ночи? Не было их. Не было ни утра, ни вечера. Неустанное солнце, едва коснувшись дальних океанских глубин, едва успев проложить по воде золотую дорогу, вновь отрывалось от влажной бездны. Оно поднималось и расширялось в небе, затем, сделав урочный круг, снова склонялось к бескрайней воде.

Куда он шел, этот трудолюбивый и терпеливый "Георгий Седов", по чьей воле гудело его железное сердце? Сифонили, дымили, сипели его дымогарные бронхи, золотился, затем краснел, осыпался и чернел, остывая, угольный шлак. Но из-под раскаленных колосников беспрестанно дуло бодрящей полярной свежестью.

Товарищ, я вахту не в силах держать,
Сказал кочегар кочегару,
Огни в моих топках совсем не горят,
В котлах не сдержать больше пару.

О, нет, огни в топках метались, как в вавилонской пещи! Пар в мощных котлах беспрестанно давил и ярился, пытаясь раздвинуть границы своей жаркой тюрьмы, но в железных потемках ему была одна лишь дорога, и он без устали гонял взад и вперед горячие поршни. Кочегары, играя потными мускулами, весело скалили белые зубы. Кочегары были полны сил, и топливный трюм был тоже полон. Первоклассный уголь, добытый из недр Груманта, подражая незакатному полярному солнцу, горел непрестанно и мощно. Полны, обильны, запасливы были объемистые ледокольные трюмы. Вместе с многотонной пищей для прожорливых топок, вместе со смазкой для безотказных британских ползунов и подшипников ледокольное чрево хранило в себе добротные стройматериалы, стрелковое оружие, приборы, инструменты, изрядный запас пресной воды, разнообразную свежую, замороженную и консервированную еду, бочки с жирной атлантической селедкой, с красной астраханской икрой и мезенской семгой. Рефрижератор был перегружен тушами быков и баранов, ящиками ароматного вологодского масла, запасами галет, печенья, кофе, ленинградского шоколада, водки, грузинского коньяка и сухого азиатского вина. Все это дополнялось ящиками и упаковками с меховой одеждой и специальной полярной обувью. Унты и ненецкие малицы, пыжиковые шапки, шведские свитера, фуфайки на легком, почти воздушном гагачьем пуху — все это лежало в трюмах и плыло, плыло куда-то, даже неизвестно куда. Со времен Киевского университета Шмидт во все свои действия привносил изрядную долю импровизации...

Давно обогнули Канин нос, за спиной остался и остров Колгуев.

В теплой и уютно-просторной кают-компании за низким дубовым столиком вкусно пахло свежесваренным кофе и дымящимся "Беломором". Золотился в рюмках коньяк, и массивный человек в свитере неторопливо рассказывал анекдот про Бухарина. Широкая черная борода металась с плеча на плечо. Анекдот касался академика Павлова. Профессор Визе допил коньячный остаток. Выпуклые с сильнейшей диоптрией очки его недовольно блеснули: Владимир Юрьевич Визе недолюбливал Шмидта. Он втайне считал его дилетантом и выскочкой. Слишком за многое хватался Отто Юльевич. То ударится в математику, то в революцию, то он физик, то нарком продовольствия. Однажды Визе спутал его с другим Шмидтом, известным петербургским зоологом. Заговорил третий участник беседы:

— Когда я учился во Фрайберге...

Профессор Самойлович всегда начинал с этой фразы. Его рассказы о серебряных рудниках Силезии давно надоели Шмидту. Отто Юльевич перебил:

— Рудольф Лазаревич, как вы думаете, нельзя ли в помощь геофизике привлечь лингвистику?

Самойлович на десять лет старше Шмидта. Задолго до революции изучал Арктику, сопровождал русановскую экспедицию. Вот и ему, старику, приходилось выслушивать всевозможные гипотезы Отто Юльевича:

— Известно, что индейское название острова Пасхи... — Шмидт поднял палец. — Вайгу! То есть Вайгач. Вы знаете, что на Вайгаче тоже полно каменных идолов?

— Предлагаю развернуться и взять курс к острову Пасхи, — протирая очки, произнес Визе.

Но Шмидт не отреагировал на иронический тон:

— Я согласен, Владимир Юрьевич! Только зачем разворот? Пойдем на восток через пролив Беринга. Будущим летом мы все равно двинем к проливу Беринга...

— Вы уверены, что правительство выделит средства? — спросил Визе.

— Недавно вопрос обсуждался на Политбюро. Докладывал Сергей Каменев.

Шмидт уже наполнял рюмки за будущий рейс.

Профессорский триумвират поднял было и рюмки, но дело остановилось из-за профессора Визе:

— Отто Юльевич, — сказал он. — Нам без Воронина не добраться даже до Русского заворота, не то что до Дежневского мыса.

Шмидт тотчас послал за Владимиром Ивановичем вестового.

...Казалось, что капитанскую рубку все еще продувал свежий шалоник, долетавший с той стороны, где стоял Сумский посад. Тот ветер подсоблял судну, пока не вышли за Канин нос. Земля пропала в сизой морской дымке. Чайки возвращались обратно. Море Баренца дохнуло в рубку первым как бы случайным холодом, и собачий вой, то и дело звучавший с кормы, затих. По-видимому, псы успокоились, когда почуяли родную, почти что колымскую стужу. Или они просто голодные? Шмидт рассказывал про колымских собак, что на Дальнем Востоке они успешно служат у пограничников. Таскают по снегу тяжелые "максимы".

Писатель Соколов-Микитов, корреспондент "Вечерней Москвы", вернул капитану бинокль, поблагодарил и ушел в каюту. Сколько корреспондентов на судне? Оказывается, этот корреспондент, Соколов-Микитов, сам бывший моряк, плавал в Атлантике. Гайдар, тот уехал из Архангельска на Дальний Восток. Выходит, что писатели — первые любители путешествий...

Матрос, прибежавший снизу, передал просьбу начальника.

— Скажите Отто Юльевичу, что первый помощник только что лег отдыхать. Я не могу пройти в салон...

Вестовой проворно покинул рубку.

Итак, курс прямехонько на Гусиную Землю! До Белужьей губы никаких остановок...

Капитан глубоко, с наслаждением вдохнул свежий, пахнущий йодом и рыбой воздух.

Последние дни прошли в утомительной береговой канители. В Архангельске стояла необычная для здешних широт жара. Сорок восемь по Реомюру. После длинных совещаний, после митинга на Красной пристани пришлось долго грузиться в Международной гавани. Собачий вой и скрежет лебедок не затихали на "Седове" много часов. Особенно канительна была погрузка в трюмы живых коров. Поднимаемые краном высоко в небо, они жалобно мычали, и те звуки были похожи на человеческие голоса. Конечно, предупреждая цингу, зимовщики обошлись бы и без этого груза. Но Шмидту виднее...

Воронин вел судно с решительной осторожностью. Всем своим поморским нутром он всегда ощущал, например, близость первых полярных айсбергов. С детства было знакомо коварство тайных подводных глыб, опасность песчаных кошек, сюрпризы неожиданных вихревых глубинных воронок. Ведь на картах отмечены далеко не все мелководья. В полярных льдах все это приобретало тройную опасность. Обычно политические начальники экспедиций занижают любую опасность, намекая на капитанскую трусость. Они толкают людей на риск...

Владимир Иванович прекрасно помнил прошлогодний поход. На восемьдесят втором градусе оборвали лопасть винта, в придачу получили пробоину. Если б на траверсе был не мыс Флора, а Святой нос! Едва-едва до подхода сплошного льда и до начала полярной ночи успели выбраться на чистую воду. Еще день-два, и пришлось бы зимовать на архипелаге. Конечно, до бочек с шелегой вместо угля не дошло, но каков результат этого труднейшего похода? Поставили на Землю Франца-Иосифа домик для зимовщиков, обследовали брошенные американские склады. Могилу лейтенанта Седова так и не нашли. Кажется, не очень-то и искали... На острове Гукера Отто Юльевич лично помогал матросам ставить выкроенный из толстой жести и крашенный железным суриком флаг. "Седов" и сейчас идет на север с запасом железных флагов...

Воронин вспомнил, с каким оживлением встретили на заседании крайисполкома предложение Шмидта включить в Архангельскую область весь район Северного полюса.

Вчера за ужином в кают-компании профессора опять завели разговор о неведомых землях и островах. Что значит неведомые? Безымянный не значит неведомый. Море Баренца обшарено русскими и норвежцами еще в допетровские времена. Поморы живали на Северной Земле задолго до появления европейских лоций. А Новую Землю и сейчас называют по-своему — Холодная матка.

Капитан усмехнулся: неведомых островов пока не предвиделось.

Море не крупной, однако довольно хлесткой волной било в левую скулу

ледокола. Слева по курсу дымил какой-то двухмачтовый корабль, видимо, иностранец. Наверняка идет на Югорский шар. Ледокол "Ленин" специально для проводки иностранцев дежурит у полуострова Варнек около южной оконечности Вайгача. "Русанов" тоже где-то в той стороне, но что возит — неизвестно. А где "Малыгин"? Пожалуй, из крупных судов только "Малыгин" с "Русановым" да старушка "Умба" не пожелали переименовываться. Нет, есть еще "Сибиряков" с "Кией" и, разумеется, "Георгий Седов"... Все остальные ходят с новыми именами: "Ленин", "Сталин", "Молотов", "Яков Свердлов", "Софья Перовская", "Томский", "Володарский", "Урицкий"...

Что за беда! Иному острову тоже можно припечатать новое имя. Любое. Разрешено и в честь своей короткой фамилии. Вчера за ужином капитану недвусмысленно намекали, что и в его честь обязательно появится название в полярных лоциях. Был бы остров. Конечно, можно открыть неведомый, хотя и давно известный остров. Можно переименовать и давно ведомый, как переименовывают нынче города, улицы, корабли. Вон лесовозную "Сайду" сняли с мели и, не успев отремонтировать, перекрестили в "Яна Фабрициуса"...

Капитан Воронин — потомственный архангельский мореход — склонился к раструбу переговорной трубы. Он приказал пустить машину на полную мощь. В ответ Воронин услышал бодрое "Есть!". Капитан вскинул бинокль. Кто там идет, что за двухмачтовик дымит? Правится на юго-восток. Нет, это не иностранец, те покамест не ходят под красными флагами. Вероятно, трюмы забиты моржовыми тушами, а может, выполняют спецрейс по заданию ОГПУ. На корме собаки, плывущие в специальных клетках, опять подняли свой дьявольский вой.

Ледокол шел на север, в сторону полюса. Вода за бортом заворачивалась изумрудным пузыристым жгутом. Клубилась вода неустанно, как неустанно и грозно клубилось равнодушное время. Многие люди, не считая веселых энтузиастов, становились равнодушными не только друг к другу, но и сами к себе. Одни плавали в теплых светлых салонах, с кофе и коньяком, разгадывали тайны острова Пасхи и под видом изучения природы искали новые острова, чтобы увековечить свои имена. Другие уезжали на свинцовые рудники...

Прозоров еще успел в то лето построить на Вайгаче полдюжины средневековых землянок, куда ГПУ селило заключенных геологов и топографов. Дальше и сам он, и память о нем исчезли. Набухшая слезами и окропленная кровью, насквозь пропитанная народным потом канцелярщина навеки похерила имя Владимира Сергеевича Прозорова.

XI

И кто скажет, что все это происходит в тридцатом году? По Сталину, год великого перелома начинался в двадцать восьмом. На самом деле не закончился он ни в двадцать девятом, ни в тридцать первом... Миллионы людей не считали теперь не только дни, но и недели, тысячи забыли про очередность месяцев. Трюмным гиперборейцам неинтересен был даже счет по летам, а отлетевшие души до трубных звуков архангела были совсем свободны от времени.

"Сайда" под именем "Яна Фабрициуса" плыла в океане, подобно другим русским и европейским судам. В ее беспросветных трюмах копошилось живое человеческое месиво. Ежели и бывает ад на земле, то это и есть трюмы, набитые человеческими телами. И не так уж это важно, трепещут ли над палубой паруса или шипит под палубой паровая машина... Четырехтрюмная, построенная в Англии "Сайда" служила когда-то французским лесоторговцам. Она возила лес из России, пока прочно не села на грунт у Терского берега. Ее хозяева были настолько богаты и самонадеянны, что бросили пароход на произвол судьбы. Революционные власти сняли "Сайду" с беломорской мели, отремонтировали, и сейчас она (вернее он) со скоростью в девять узлов влекла в океане почти две тысячи безвинных страдальцев. Кто такой был Ян Фабрициус? Латышский герой русской гражданской войны. Член ЦКК и ВЦИК. Морфинист, награжденный Троцким и Калининым четырьмя орденами "Красной Звезды". Погибший в авиакатастрофе,

помкомандарм. Подражая "Глебу Бокию", он вез теперь живые дрова истории... ОГПУ приказало закрывать люки брезентом. По тем, кто будет пытаться вылезти из трюма в ночную пору, охрана была обязана стрелять без предупреждения. Но что значит ночное время в конце июля за полярным невидимым кругом? Океан, несколько суток качавший "Яна Фабрициуса", застыл и, равнодушный, уснул. Солнце свершало свои круги раз за разом, никаких ночей не было.Стоны и вопли, долетавшие из пароходного чрева, сопровождавшие килевую качку, начали понемногу спадать, когда океан заснул. Усатая нерпа всплыла из серой ровной воды, удивленно взглянула на пароход и булькнула снова. Водный волдырь от ее всплытия сравнялся до подхода пароходной волны. Глухо и монотонно шумела машина, нигде не видно никаких "иностранцев", которые не должны знать о грузе "Яна Фабрициуса". Двое красноармейцев оба сразу кляцнули затворами мосинских винтовок, когда брезент одного из люков слегка приоткрылся. Чья-то голова мелькнула и скрылась, но крик со словами "возьмите покойника!" успел пролететь над палубой. Один из охранников остался на месте, другой подошел к люку, отбросил брезент. На часового пахнуло тяжким запахом подсланевых вод, смешанных с блевотиной и человеческим калом.

— Давай! — заорал часовой. Из трюма ногами вперед вытолкнули тщедушное тело какого-то старика, босого и в холщовой рубахе.

— Фамилия! Как фамилия? — кричал красноармеец в черную бездну двухэтажного трюма. Оттуда летели одни матюги и проклятья. Часовой захлопнул люк брезентом. Он побежал к начальству.

Старик лежал на спине, не мигая глядел в упор на косматое полярное солнце.

Стрелок прибежал обратно, сопровождаемый командиром. И пока начальник с маузером в руке стоял на охране закрытых брезентом люков, двое красноармейцев за шиворот подтащили покойника к левому борту. Уцепившись за леера, они ногами спихнули старика в море.

Омерзительное удушье, густая кромешная тьма, стоны и бредовые возгласы — все это объединилось, растворилось друг в друге, и эта адская смесь вновь стала как бы вполне осязаемой.

Человек, подсоблявший выталкивать покойника из нижнего трюма в верхний, потерял способность что-либо соображать. Ему не хотелось больше ни думать, ни двигаться. Но какая-то странная и властная сила пробудила его сознание. Он удивился тому, что сумел залезть на место, которое занимал умерший старик. На верхнем настиле было не так тесно. Человек ощупал пространство вокруг себя. Рука наткнулась на что-то живое. Послышался голос:

— Ты сево миня саришь? Миня несево сарить, я не жонка.

— Тебя как зовут? — улыбнулся в темноте Павел Рогов.

— Тришка! А тибя?

— Трифон, не знаю как по отчеству-то... Ежели ты Тришка, то я Пашка.

— Нисево, нисево, нам холосо и без оссесва.

Сколько времени их везли? Павел Рогов не знал этого. Пока держали на Обозерской, пока в телячьих вагонах с длинными остановками тащились к Архангельску, пока гонили от поезда к реке, грузили на баржи, везли и перегружали на большой пароход, Павел различал утро и вечер. В пароходном трюме время сбилось и как бы остановилось. Не зря вертелись в голове слова частушки: "Что-то часики не ходят, гиря до полу дошла".

Прошло около года после ареста. Но, видать, не совсем дошла гиря до полу, если остался жив. Уцелел посередине всех бед и несчастий. И был этот год всем годам год. Всю осень и зиму валил Павел Рогов архангельский лес. Однажды самого чуть не прихлопнуло мохнатой лесиной. Неопытный напарник из украинцев подставил шест не с того боку, елка пошла прямо на Павла. Успел отскочить, но ободрало всего. Быстро зажило, как на собаке. И тифом переболел, и со шпаной схлестывался. Чего только не было за этот год! Не выжил бы, ежели б не вострый топор: ГПУ ценило хороших плотников. Письма писал в Шибаниху, в Ольховицу, в Ленинград брату Василью. В ответ не получил ни словечка, хотя одно время было постоянное место жительства. Весной, когда полетела на север птица, Павел не утерпел и вздумал бежать. Уезжали же из барака многие украинцы! Бросил барак, пешком добрался до железной дороги. А там посты... Дежурят на каждом разъезде. Только после второго суда спознал Павел, что такое веселая тюремная жизнь...

Но что значила сухопутная камера по сравнению с плавучей?

Во время погрузки в Архангельске в трюм проникал свет, было заметно, что и как: многоярусные настилы из необрезанных досок, узкие проходы, ржавые закругленные корабельные стены, клепки железных ребер-шпангоутов. Люди обоих полов и всех возрастов, начиная с грудных младенцев, долго, очень долго спускались из верхнего трюма по отвесной стремянке в эту железную преисподню. По мере того как трюм наполнялся народом, становилось все теснее, детский плач смешался с бабьими криками и мужицкой руганью. В разных местах слышались причитания. Вперемежку со скулящими голосами и подвываниями многие женщины молились вслух. Павла сдвинула, сдавила людская масса, узлы, ящики и чьи-то корзины. И тут свет совершенно исчез. Как в деготь опущенные, люди замерли, все в трюме затихло, но не надолго.

С того момента и остановилось время для Павла Рогова: "что-то часики не ходят, гиря до полу дошла".

Двух завернутых в полотенце хлебных буханок давно не было. Полотенцем Павел подпоясался как кушаком. За все многосуточное плавание покормили всего дважды и то всухомятку. У начальства не надолго хватило трески и галет... Голод сочился по телу сперва легкой тошнотой. Затем как будто исчез и голод. Слабость растеклась по рукам и ногам. Павел преодолел эту первую голодную слабость, почуял было какую-то новую, не испытываемую ранее легкость.

Но сейчас все в нем было иным...

Утробно дрожала стенка железного пароходного брюха, дальний машинный шум отзывался в обшивке. За бортом иногда что-то скрежетало и бухало. Куда их везут? За что? То злые голодные, то горькие от обиды слезы уже не подступали к пересохшему горлу, и уже не душил их Павел разговорами с ненцем Трифоном.

Когда началась килевая качка, подступила, охватила все и всех кошмарная тошнота. В промежутках между приступами блевания сознание Павла двоилось либо совсем пропадало. Выблевывать было нечего, казалось, что само нутро хотело вывернуться наизнанку. Двоилось сознание, и Павлу чудилось, что он катает зачем-то речные круглые камни. То хочет он остановить мельничные махины, то ползет зачем-то по скользкой, как стекло, гумённой долони. Его трясло и корежило и, казалось, что-то душило. Образы Веры Ивановны и матери Катерины Андреевны, то зимние, то летние, проплывали в сознании и таяли, таяли, исчезая бесследно. То вдруг он пробует бороться с братом Василием, а брат нежданно становится отцом Данилом...

Отец звал его голосом ненца Трифона:

— Паска, Паска, оснись! Сходи, попей водиськи, луссе будет...

Павел открыл глаза. Или он стал слепой? Темнота давила со всех сторон, со всех сторон слышались стоны, оханья, надрывный плач. В трюме нечем было дышать. Какая вода? Где вода? Сколько суток прошло? Желудок перестал сокращаться. Стало вдруг легче, и Павел уснул без движений, без кошмарных видений.

Потому что уснул океан.

Океан спал, и солнце кругом ходило над ним, и пароход шел неизвестно куда. В трюмах стоял ад кромешный, а "Ян Фабрициус" шел все дальше к далекой Печоре. Иногда, когда вынимали очередного покойника, июльское солнце золотым снопом падало в верхний грузовой трюм, и тогда косвенный свет достигал нижнего трюма. Людские крики и вопли немного стихали. Но темнота снова топила полтысячи трюмных душ...

И кто их считал сейчас, те крестьянские души? Никто не считал ни стариков, ни младенцев, когда на восьмой день плавания "Фабрициус" подошел к Печорской губе...

Охрана открывала пароходные люки. Свежий воздух вместе с лучами незакатного полярного солнышка проник наконец в четыре железных емкости, набитые живыми дровами. Позеленевшие, слабые, люди вылезали наверх. Их толкали снизу, а вверху в грузовом трюме толкали в сторону, чтоб не мешали.

Но из грузовых трюмов на верхнюю палубу уже выбралось несколько человек, уже плач над мертвым младенцем огласил морскую равнину.

— Тассы, тассы! — приговаривал Тришка и толкал вверх чью-то обессилевшую старуху. Павел Рогов не мог ни толкать, ни тащить. Его самого впору было тащить наверх. Сердце учащенно билось, в глазах рябило, хотелось упасть и ничего не думать.

“Тассы, Паска, тассы”, — слышал он среди стонов, среди стариковского кашля и детского плача. Паска? Какая Пасха? Она давно прошла... Нет, это не праздник, это ненец Тришка зовет его, Павла Рогова. Подсобляет подыматься наверх, подает узлы, торопит: “Тассы, Паска, тассы...”

— Все, что ли? — орали сверху из грузового трюма. — Или еще есть куркули?

— Все, все! — прискакивал Тришка у отвесного трапа. — Паска, Паска, а ты сево? Вылезай, остались ты да я, вылезай, вылезай...

Схитрил Тришка, не все вылезли из нижнего трюма. Двое или трое лежали в трюмном углу на стлани среди дрисни и блевотины. Но лежали они уже очень давно, и Тришка кричал наверх, успокаивал Ерохина, стоявшего над верхним трюмом “Фабрициуса”:

— Все, все, тавалис насяльник!

Тришка протолкал Павла вверх, в грузовой трюм, подсобляя ставить на ступени трапа то одну ногу, то другую. Руки Павла едва держались за железные поручни, ноги подкашивались. Чья-то рука с верхней палубы подсобила ему вылезти и из грузового, загруженного ящиками трюма. Павла ослепило равнодушное полярное солнце. Тришка вылез на свет последним, начал опять подсоблять лежавшему на палубе Павлу: “Ставай, Паска, ставай, не лезы. Нельзя лезать...” Рогов поднялся с помощью самоеда. Послышался звонкий голос охранника:

— Этих куда, Нил Афанасьич? Налево или направо?

Может быть, в суете Ерохин не услышал вопроса, но Тришка не услышал этот голос нарочно. Без разрешения начальства смело ступил Тришка направо, поволок за собой и Павла Рогова...

Шла какая-то сортировка. Стариков и старух, ходячих детей, женщин с младенцами охранник отгонял налево, молодых мужиков ставил направо. Тифозных, дизентерийных и ослабевших от голода отпихивали в третью совсем отдельную кучу. Голос Ерохина тут и там звучал на “Фабрициусе”, но звучал как-то неуместно, не нарушая широкой и неизбывной тишины над золоченой водой, под синеватым безоблачным небом. “Фабрициус” стоял на якоре у берега в Печорской губе. Его четырехтрюмное брюхо еще изрыгало изжеванную и переваренную многодневным плаванием плоть человеческую, когда первая баржа, причаленная к борту, заполнялась стариками, детьми и женщинами.

Океан спал и равнодушно блистал своей бескрайней стеклянной золоченой пустыней. И солнце делало свой новый круг над великою Пармой. Никакое воображение, ничье сознание не смогло бы осилить, осознать и представить всю безграничность этих безлюдных синих и желто-зеленых просторов!

“Убегу! — мелькнуло светлой искрой в мозгу Павла. — Силу скоплю и убегу. Вон Тришка подсобит, он тутошний...”

Не знал еще Павел, что такое великая Парма. Если б знал, то не стал бы загадывать.

Печора несла с юга на север свои обширные воды через темные леса и мимо холмов, через желтые и охристые болота, через великую Парму. Отлагая по бокам свои золотые пески, она до капли отдавала себя равнодушному океану. И эти пески от отрогов Урала и до самого Пустозерска, где все еще витает дух Аввакума, уже темнели от соленых переселенческих слез. От рыданий и горя второй год бусело водное серебро.

— Гришка! — Павел Рогов не мог сдержаться от возгласа при виде оборванного, обросшего, но улыбчивого Грицька. Оба шагнули навстречу друг к дружке и обнялись, чтобы не упасть. Оба держались друг за дружку.

— О, це дюже складно, Даниловичу! — Грицько хлопнул Рогова по широкой гулкой спине. — Дюже гарно, витру не буде, пойдем до девок...

Наверное, Грицько уже отвыкал от напевной украинской мовы. Ненец Тришка улыбался во все лицо при виде этой неожиданной встречи. Все трое отпрянули друг от друга, затихли. Длинная ерохинская шинель приблизилась к ним, заслонила синюю даль Печорской губы.

— Всем, кто на ногах стоит! На разгрузку! — весело поведал начальник. — Кормить будем как на убой...

Отобранных повели кормить, чтобы они смогли разгрузить чрево “Фабрициуса”. (В трюме, под полом которого остались два или три мертвеца, лежали сотни ящиков с папиросами и... с гармонями.)

Ерохин не шутил, обещая насытить голодных. Он остановился напротив среднего трюма. И вдруг хохотнул со словами:

— А, и ты тут, жеребячья порода! Ну, ну...

— Ты, Нил Афанасьич, хоть меня и запряг, а телегу-то волочешь сам! — сказал отец Николай и перекрестился. — Вон сколько грузу припер! Небось, тыщи полторы есть, не менее. Поди-ко, из жопы-то у тебя росток подался...

Отец Николай Перовский обвел рукой палубный муравейник.

— Ничего, сила в руках есть! — произнес Ерохин. Кулак врезался в переносицу отца Николая. Рыжая борода лишь слегка качнулась назад:

— А что ваша, Нил Афанасьевич, сила? Справится одна тифозная вошь...

Ерохин с ненавистью глядел не в глаза, а в огненную с проседью бороду. Кровь текла по усам, минуя плотно сжатые губы отца Николая. Борода становилась красно-коричневой. Вид крови еще сильнее взбесил Ерохина. Он отвернулся и неохотно двинулся дальше.

Из трюмов еще вылезали люди: бледные, вялые, словно тараканы в морозной избе. Солнце в небе делало свой урочный круг, увеличивалось. То ли оно клонилось к воде, то ли поднималось над морем. То ли утро было, то ли вечер, многие ничего не могли разобрать.

Отца Николая не взяли на разгрузку "Яна Фабрициуса"...

* * *

Сгорела лилово-красная, разлитая вширь заря небесная, Божье светило коснулось далеких водных краев и бесшумно потушило само себя. Но никто ничего не успел сделать иль сотворить, ни хорошего, ни плохого. Успел пробудиться один океан. Морским дыханием овеяло белые лики страдальцев, безмолвно ждущих своей очереди в золотые песчаные печорские терема! Обсушил ветерок и слезы живых... Но вот сгорела и еще одна утренняя заря сразу вслед за вечерней. Синий небесный шатер белел, опускаясь на горизонт. Там, над лишаями желтых болот, низко над бесконечной и плоской тундрой сливались сиренево-темные облачка. Подымаясь, они росли и пушились.

Не здесь ли развеяло ветром пепел Аввакумовой плоти, не тут ли частицы ее приняла в себя и поглотила желто-зеленая тундра? Или сделано это бескрайним морем? Наверное, осталось и небо таким же синим, как в ту давнюю пору, когда русские люди впервые разделились надвое.

Сгорела одна заря, сгорела и другая, и третья. И от четвертой ничего не осталось.

Отделилась от моря Печорка-река, обозначила свое широкое плёсо. Она втянула в свой главный рукав дымящий пароходный буксир с тремя баржами, груженными до отказа не рыбой, не лесом, а живыми людьми... Теперь им было вдосталь света и свежего печорского ветра.

Больше у них ничего не было.

Тысяча, а может, и более православных душ... Вначале, надеясь на лучшее, они вздыхали, молились и плакали. Затем, отупевшие от водного блеска, от голода и безмолвья, начали проклинать судьбу. Мертвецы были не видны в пароходном темном удушье. Тут, на свету, закрывать глаза родным людям особенно тяжко. Холодные веки покойников не слушались под пальцами живых. Первыми в семьях умирали от голода грудные дети. Они безмолвно и тихо уходили из этого еще не познанного ими сердитого мира, и сдавленный материнский крик слышался то на одной барже, то на другой.

Белые ночи, солнце вместо луны.

День без конца и начала, и красные зори без утра и вечера.

Таяла, уменьшалась чуть ли не с каждой зарей шустовская большая семья...

Границу между многодневным отчаянием и полным безразличием ко всему миру Александр Леонтьевич почуял уже в трюме, когда перестала дышать самая младшая девочка. Глазами Шустов не видел, как, завернутую и завязанную в домотканую наволочку, часовой бросил ее в море, но видел все это внутренним оком, представлял, как сверток качнуло килевой волной, как медленно уходит он в холодную бездну. И сердце Александра Леонтьевича тоже упало в холодную бездну...

В трюме наверняка было множество земляков, но в удушливой тьме, во время качки, среди миазмов кала и рвотных извержений мало кому приходило в голову знакомиться и рассказывать о себе. Здесь, на барже, на свежем и теплом полярном воздухе кое-кто узнавал земляков, а то и дальних родственников. Шустова окликнул парень, гостивший в одном с ним доме и даже плясавший с ним когда-то на перепляс. Четвертые сутки во рту парня не было маковой росинки.

— Полезу в реку... Нырну, а после, может, и выплыву, а, Александр Леонтьевич?

Шустов с усилием прояснил сознание, сказал:

— Пристрелят. А ежели убежишь, то все равно изловят, будет еще хуже. Тюрьма... Потерпи, братец. Должен же конец-то быть! И у Печоры мели пойдут...

Нет, не было конца у великой реки Печоры!

Она текла по земле на две тысячи верст, она собирала вечную дань с необозримых таежных, уральских, тундровых и небесных источников, она была равнодушна к судьбе птенчиков из разоренных крестьянских гнезд.

Печора синела своими широченными плесами. Буксир надрывался и выбивался из сил, заглушая мужские крики и женский вой, периодами доносящийся со всех трех барж. Молча, равнодушно слушали эти звуки песчаные берега, потому что сама смерть плыла между островов и песчаных кос по бескрайней равнине. И вдруг в эту монотонно-печальную какофонию пробилось нечто совсем несхожее и непонятное, нечто противоречивое, прекрасное и необъяснимое. Мелодия! Она вмешалась в эти безобразные вопли, и они стали стихать. Отступили, исчезли. Казалось, что даже буксирный гул смирился и опустился в речные глубины. Одна мелодия плыла на юг, подгоняемая северным ветром, одна она реяла над великой рекой Печорой. Басовые рокочущие звуки заворожили реку:

Вниз по матушке по Волге...
По Волге!
По широкому раздолью,
Да раздолью...

Бас, явно подражавший шаляпинскому, не торопился, не надрывался, как надрывался сиплый пароходный гудок, пытавшийся заглушить звуки нездешнего мира. Этот бас был широк и рокочущ, было в нем что-то и от молодого вешнего грома, и от печального листопадного шелеста, от знойного сенокосного полдня и от полуночной отрадной прохлады. Нет, не было в тех звуках запредельной тоски, разве одна усталость вплеталась в песенный стрежень, как вплетается ледяная струя в теплый и мощный речной ток в меженную июльскую пору!

Разыгралась непогода!

Буксир, тащивший баржи, начал рыскать, на секунду ослабив толстые "цынки". Эти железные струны провисли, коснулись воды и тотчас же напряглись. Судно дернулось. В чем дело?

Долгополая командирская шинель, вероятно, осталась в каюте, темно-синие галифе были широко раздвинуты, хромовые сапоги блестели на солнце. Холеные руки вцепились в ремень. (Командир никогда не держал руки в карманах, говорил, что и у подчиненных не потерпит карманного биллиарда.)

— Красноармеец Девяткин! Что, не видишь?

Девяткин поставил винтовку в положение "к ноге". Левой рукой он держался за поручень.

— Вижу, товарищ командир.

— Убежит, пеняй на себя. Пойдешь под трибунал. Что надо делать по инструкции? Правильно, стрелять! Стрелять и бить по классовому врагу. Без пощады! Правильно?

— Правильно, товарищ командир.

— А ты?

Ничего в волнах не видно...
Не видно!
Только лодочка чернеет...

Девяткин вскинул винтовку. Матрос, державший в руках ведро и веревочную мокрую швабру, изумленно застыл на палубе.

— Отставить! Стрелок Девяткин, на каком делении прицельная планка? Так! Вот, теперь правильно... Заряжай!

Хорошо смазанный затвор беззвучно послал патрон в патронник.

Снова рыскнул буксир, и пар засипел, и печальный гудок на минуту заглушил ерохинский мат, в это же время раздался мощный глухой щелчок. Выстрел был неудачным, рыжая борода никак не попадалась на мушку.

— Не тянешь ты, Девяткин, на ворошиловского стрелка! А ну, дай сюда!

Ерохин вырвал винтовку из рук Девяткина, стремительно передернул затвор. Гильза отлетела направо. Ерохин вскинул винтовку и выстрелил почти что не целясь. Сидевший на кнехте баржи отец Николай дернулся от тупого удара. Левой рукой он схватился за правое плечо. И вдруг поднялся с кнехта во весь свой двухметровый рост, шагнул к бушприту. Выстрел Ерохина вогнал пулю вместе с куском ваты в мякоть левее правой ключицы. Отец Николай почувствовал боль тогда лишь, когда в рукав потекло, и пальцы правой руки стали неметь. "Шалун ты, Нил Афанасьевич!" — хотел крикнуть отец Николай, но третий выстрел, словно удар степного бича, прозвучал над Печорой.

И подкосились ноги отца Николая, и рука отказала ему в последнем крестном знамении... Упал, сумел и успел перевернуться на спину...

Александр Леонтьевич Шустов плыл на последней, третьей барже. Он слышал винтовочные хлопки, но не обратил на них никакого внимания. Так же равнодушно воспринял он и разговоры об убитом, который хотел бежать с первой баржи. Шустову было все равно. Его не занимало ничто из того, что происходило вокруг. Трое деток лежали мертвыми на деревянной стлани аккуратным рядком, да и сам он терял временами память.

Сколько прошло дней? Сколько суток? Неизвестно. Он знал лишь, что дети умерли не столько от голода, сколько от горловой болезни. Скарлатина иль дифтерит? Эти друзья гуляли еще и по родимой земле. Вначале Александр Леонтьевич выходил на нос, кричал, требовал фельдшера. Никто не услышал его отчаянного и последнего зова...

Время остановилось. Печора была так же бесконечна и равнодушна, как бесконечны светло-охристые береговые пески вдали, и эти бессчетные отмели, и эти однообразные берега. Ера — низкорослая приполярная ива — начала понемногу расти, приподыматься над берегом. Однажды темная гряда елей встала в глазах тех, кто был еще способен смотреть, слушать и осознавать пространство и время. Люди потеряли надежду, но буксир начал барахтаться у невысокого берега одного из печорских притоков. Баржа коснулась бортом глинистого отвесного берега. Корни высоких ив, обнаженных паводками. Серый глинистый грунт, камушки, и над всем этим... живая трава! Высокая пырейно-осотная, зеленая, сочная, хотя и без всяких цветочков. Трава была так близко от человеческих глаз, что родилась надежда, зашевелились самые ослабевшие, заговорили лежавшие без движения посреди давно ненужного скарба.

Три двухдюймовых доски, кинутые с баржи на берег... Подобие поручней, и даже бодрые мужицкие матюги, смягченные звуковым искажением... Узлы, крики охраны, плач уцелевших деток... Все это заставило Александра Леонтьевича собрать воедино последние силы.

Парень, гостивший в праздник Покрова в одной деревне с Шустовым, подсобил перетаскать с баржи на берег живых и мертвых. Александр Леонтьевич подложил под голову жены ее небольшой узелок, погладил по белым головенкам оставшихся в живых сынка и дочерь, которые лежали рядышком с мертвыми. На большее у него не хватило сил. Он забылся.

Люди ползли от берега как слепые, тыкались прямо в траву и лежали, вздрагивая от рыданий и кашля. Иные уже пытались подняться на ноги. Хотелось им поскорее встать, распрямиться и оглядеться вокруг! Но другие лежали без всяких движений. Комары отлетали от мертвецов...

Неясные и неопределенные видения теснились в потухшем сознании Александра Леонтьевича Шустова. Эти видения пересиливали явь окружающего. Сердце стучало то редко, то часто, в ушах стоял беспрерывный звон, и он почему-то сливался с током воды на великой Печоре. Что было общего между водными струями и звоном, Александр Леонтьевич не знал, но ему почему-то страстно хотелось узнать. И он напрягал какие-то, может, внешние заемные силы, чтобы вернуться в реальность.

— Дяденька, дай курнуть! — послышалось рядом.

— Один курнул да в реку нырнул. Семь лет и отрыжки нет, — ответил со смехом мужской голос. В том голосе звучало нечто знакомое, что-то вологодское, от чего Шустов снова пришел в себя. Мутным взором обвел он сколько мог окружающее пространство и вспомнил себя. Стоял перед военным мальчишка в трепаном пиджачке, в зимней шапке с одной завязкой. Стоял и просил докурить. Не отвечая мальчугану, высокий военный смотрел на Шустова. Рядом топтался другой военный с винтовкой, но совсем низкорослый и без шинели. Шустов, лежа, долго глядел на них снизу вверх, потом с усилием сел на траве и сделал попытку встать:

— Андрей, Андрей... Если не ошибаюсь, Никитин?

Военный ничего не сказал, и Шустов сразу забыл про него. Отбросив папиросный окурок, военный быстро пошел по берегу. За ним, закинув винтовку за спину, стараясь не отставать, заторопился маленький веснушчатый красноармейчик. Шустов уже не мог слышать, что торопился сказать стрелок Девяткин:

— Я, понимаешь, на стрельбище выбивал сразу по многу очков! А тут, ну, прямо как назло! Вижу, чево-то краснеет, а на мушку не попадаёт. Я, понимаешь, прицелился, бух! А он все, понимаешь, поет, я только хотел перезарядку...

— Молчи, сука! — не поворотив головы, сплюнул высокий военный. И пошел быстрее. Трава была ему по колено. Метелки пырея путались в сапогах. Стрелок Девяткин забежал вперед, не веря своим ушам. Но Андрей Никитин молчал. Он даже не взглянул на Девяткина. Он быстро прошел вдоль всего пространства, где шевелилось, ползало, стонало и плакало. Никитин думал о приказе Ерохина: "Митинг... Какой тут митинг... Какой тут митинг, ежели и на ногах не стоят? Ерохину только бы повыступать..."

С того самого дня, когда следователь познакомился в тюрьме с Шиловским, в гимнастерочном кармане Андрея Никитина лежала завернутая в плотную бумагу красноармейская книжка. Но Шиловский напрасно трудился, чтобы подготовить себе замену. Когда вышла статья Сталина и начался откат, Шиловский уехал в Москву. Как были расстреляны мародеры-большевики Котлозёров и Мельников из Приморского района? Кто нажимал на спусковые крючки? Уроженец деревни Горки Ольховского сельсовета Андрей Никитин не знал да и знать этого не хотел. Ерохин едва не вышиб ему передние зубы, когда выполнять особое задание Никитин начисто отказался. Задание сопровождать баржи с вологодскими раскулаченными было, может, и не намного, но все-таки лучше. Теперь вот Ерохин оставляет его, Андрюху Никитина, комендантом спецлагеря... Требует собрать всех на митинг... Полдела ему выступать, командовать завтрашними покойниками!

И Никитин развернулся на сто восемьдесят градусов. Не замечая Девяткина, он зашагал обратно к буксирному пароходу. Пароход разворачивался и выводил на стремя первую отцепленную баржу. Всему каравану не хватало места для разворота. Ерохин был упрям и уже говорил речь... Десятка полтора еле живых голодных людей сидело в траве, а Ерохин говорил речь, выкидывая вперед правую руку. Рядом лежала большая куча лопат, полдюжины неточеных топоров и с десяток пустых ведер.

— ...Отныне все зависит от вас самих, товарищи спецпереселенцы! — тыкал пальцем оратор. — Да, пролетарское государство дает вам первый шанс, от вас самих зависят теперь ваши будущие годы и дни! Вашим комендантом назначен товарищ Никитин. Без его разрешения не разрешается никуда отлучаться, и не вздумай кто убежать! Бежать, граждане, вам некуда и незачем, у нас на всех дорогах боевые посты и заслоны! Приступайте к рытью землянок, организуйте социалистическое соревнование по освоению. Все инструкции комендант получит отдельно. Медпомощь будет оказана в ближайшем населенном пункте, сухой паек через два дня будет выдан ржаной мукой...

Сиплый гудок буксира прервал Ерохина.

Человек с десяток целоможных мужиков и ребят обступили начальников, остальные лежали и сидели в траве, брели и ползли подальше от берега. Где был этот ближайший населенный пункт, как дотянуть до сухого пайка, как и что делать для своего спасения — никто ничего покамест не знал.

Никитин попросил охранников выкидать доски с двух барж, еще стоящих у берега. Красноармейцы помогли сколотить деревянный станок — кибитку без пола, без окна и дверей.

Вскоре караван опустевших барж вместе с Ерохиным уплыл вниз по течению. Торопились выбраться на Печору. Шел одна тысяча девятьсот тридцать первый год. Новые партии раскулаченных по всей стране ждали своей очереди плыть и ехать, чтобы погибнуть или выжить в чужих, не родных местах...

Сам Шустов все же очнулся от лучей незакатного полярного солнышка, а жена, умирая, так и не пришла в себя. Он пересчитал своих живых и мертвых детей. Не хватало восьмилетней девочки Дуни. Куда она уползла? Что с ней, где? Александр Леонтьевич потрогал уже остывшую руку жены и приник к ее костенеющему плечу. От ситцевой кофты, от сарафанной проймы все еще пахло далекой родиной, отцовским домом, навсегда ушедшим семейным счастьем. Шустов заплакал впервые в своей жизни.

Никитин, теперь уже в одиночку подошедший к семейству Шустова, наклонился, тронул за локоть:

— Александр Леонтьевич! Не обессудь меня. Нельзя было... Вот возьми... Тут спички и полведра муки. Убери, спрячь, а то расхватают. Мне надо срочно искать жилые места... А то пропадем все поголовно...

Никитин ушел. Шустов схватил ведро и начал зобать муку. Откуда-то появилась даже слюна. Он глотнул раза два животворящую клейкую массу, выплюнул остаток теста в ладонь, открыл рот еще живому мальчику, начал толкать эту полусухую массу за щеку ребенка. Сынок шевельнул ртом, но ничего не смог проглотить. Да, мальчик пытался глотать отцовскую жвачку. Только ему было уже невозможно не только глотать, но и дышать... Дуня... Где Дуня?

Шустов поднялся сначала на четвереньки, затем и на ноги. Одною рукой он вцепился в ведро, другой рукой пробовал опереться на высокую и корявую печорскую ивушку. Огляделся. Люди ползли и брели от травянистого берега. Куда они двигались?

...Какая-то сила, может быть внешняя, влекла восьмилетнее существо, заставляла передвигаться в одном направлении. Дуня не знала, куда и кто ее влечет, но ползла, двигалась. Трава перед глазами ее закончилась, высокие ивы тоже. Она ползла теперь между каких-то кочей. Ее обессиленные ручки не чувствовали болотную влагу. И захотелось Дуне лечь и уснуть в этой мшистой перине, но перед глазами ее вдруг загорелась желтая капелька вроде брошки. Дуня губами дотянулась до этой янтарной брошки. "Брошка-морошка, брошка-морошка" — все запело внутри восьмилетней Дуни. Животворная мякоть еще не растаяла у нее во рту, а вторая ягодка, намного крупнее первой, сама так и просилась в рот, потом третья, а после третьей девочка перестала считать. Она ползла и ползла, как птичка ловила ртом янтарные крупные ягоды, и силы возвращались к Дуне, такие силы, что она уже пробовала встать на коленки...

Солнце пошло по новому кругу, костры задымились на берегу. Она собрала горсточку ягод. Преодолевая неудержимое желание съесть эти желтые мягкие комочки, она пошла на лагерный дым. Отец стоял на коленях около мертвых. Он поставил ведро с мукой так, чтобы чувствовать его близость. Он прижал Дуню к себе, а она, рыдая, совала ему ягоды. Он брал эти янтарные шарики и совал в рот еще живому сыну. Те, что лежали рядком на траве, ничего уже не просили.

Дуня осталась стеречь ведро с мукой. От никитинского станка Шустов принес еще одно, пустое ведро. И лопату. Люди тут и там рыли могилы. Однако Александр Леонтьевич Шустов не стал сейчас хоронить родных. Он каким-то чудом извлек из реки воду, насобирал сушняку и развел костер. Собрал куски глины у свежих могил. Слегка смочил глину и начал ее разминать, горстями добавляя воды. Довести глину до вязкого состояния Шустов не смог и призвал на помощь вологодского земляка. Тот достал из реки полведра воды и долго, очень долго собирал сушняк для костра. Шустов залил воду в ведро с мукой. Вытер травой черень лопаты и начал размешивать этим чернем тесто в мучном ведре.

Откуда взялись возможности двигаться? Он не думал об этой загадке. Костер горел в полную силу. Когда образовалась целая копна горячих углей, земляки слепили из глины нечто вроде пивной корчаги с толстыми стенками. Шустов сложил ржаное свое тесто в эту посудину, запечатал его глиной же, лопатой разгреб кострище и обложил корчагу жаром кроваво мерцающих углей.

Хозяйка его лежала все это время рядом, безмолвная и родная. Она словно прислушивалась к нему, все ли он ладно делал. Так ли...

* * *

Большое село новгородских потомков гляделось в широком осеннем печорском зеркале. Двухэтажные с чердаками и вышками дома стояли плотно, плечо к плечу, на высоком и ровном, на могучем этом холме. Сверху открывалась вся безоглядная печорская даль.

Десять недель назад Ерохин зря тратил слова, предупреждая побеги переселенцев.

Бежать было некуда.

Одна Печора, огибающая холмы и разрезающая горные кряжи, знала, куда ей бежать и куда стремиться.

Земля здешняя до того велика, так бескрайня и так безлюдна она, что даже река уставала бежать по равнинам. Хляби небесные обильно питали влагой безбрежную тундру со всеми ее озерами и протоками. Небо осыпалось на землю дождем и снегом, ковало ее в ледяные и настовые кандалы, кутало саваном бесконечных снегов.

И все же, и все же...

Сколько беглецов не выдержало встречи с чужбиной, погибло в снегах, либо позднее в лагерных зонах!

Александр Леонтьевич Шустов стоял с дочерью над старинной Усть-Цылмой, с высоты глядел на Печору.

Ветер летел с Ледовитого океана, но Печора не подчинялась даже холодным океанским ветрам. Она была величественна и спокойна. Серая зеркальная гладь напоминала морские просторы, и детским строением выглядели сверху дома, амбары и прибрежные бани. Лодки же на воде и вешала с неводами на берегу казались вовсе игрушечными. На две трети усть-цылмского горизонта разверзались и как бы подымались, стремясь к небесам, неописуемо прекрасные дали. Там, далеко-далеко, земля растворялась в сиреневой дымке. Чуть ближе слоями шли синие лесные полосы, еще ближе различались уже и болота, и темные еловые гривы, расцвеченные разноликой осенней листвой. Четко видны были косые дожди, то тут, то там возникающие из-под хмурых облачных шапок. В небе хватало места и темно-синим тучам, и лазоревым пронзительно голубым разводьям, и редким, но ослепительно золотым небесным полянкам. Малые, еле заметные радуги бабьего лета еще вставали и затухали вдали. А тут, над рекою, исполинской многоцветной дугой отлого встала осенняя. И дождь перемещался вдали, и солнце золотыми снопами падало на далекие леса и болота, а тут — на гладкой высоте, как в песне поется, — секанула вдруг тяжелая снежная дробь. Крупные капли дождя, расставаясь с родимой, еще не холодной тучкой, не успевали долетать до земли. Встречаясь с холодным ветром, они мгновенно превращались в белые сухие горошины и больно секли по рукам, закатывались в карманы и складки одежды.

Александр Леонтьевич Шустов рассмеялся, вытряхивая из кармана плаща эту нетающую крупу:

— Вот, Дунюшка, манна-то наша небесная! Подставляй-ко передник...

Он держал дочку за руку, согревал ее крохотную ладошку, прикидывал, где бы купить ей варежки.

— Тятя, а Бог-то есть? — тихо спросила Дуня.

Александр Леонтьевич сверху вниз удивленно взглянул на дочку. Из-под синего пионерского беретика кокетливо выглядывала первая в ее жизни девичья прядка.

— Бог-то? А как же, Дунюшка, нет, конечно, Он есть. Кто же и что тогда есть, ежели нету Бога? Но учти, что в школе тебе ничего не скажут. Поэтому учительницу об этом лучше не спрашивать. Пойдем, а то и простудишься. Тебе в первом классе болеть запрещается. Мы с тобой и так год пропустили...

Он застегнул пуговицу ее нового шерстяного пальтишка, стряхнул с воротника белые шарики:

— Да, год мы пропустили... — повторил Шустов. — Стало быть, придется наверстывать.

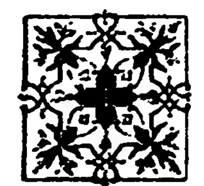
Они спускались к домам по глинистой тропке, и Александр Леонтьевич вспомнил свою глиняную квашню, пришла и другая печальная мысль... Он отпустил руку дочери, остановился и еще раз оглядел весь необъятный лесной и болотный про-

стор, дальняя синева которого сливалась с небом и растворялась в нем, как Печора-река растворялась в Северном океане.

Оттуда, через древнее новгородское село Усть-Цылма, несло холодным снежным дождем. Сколько суток пройдет, пока это северное дыхание докатится до родимой и, может быть, навсегда потерянной Ольховицы? Шустов не стал думать об этом. Он вел в школу дочку Дуню, единственную живую кровинку, единственную, но такую прочную ниточку, державшую Шустова на плаву.

Печора, бесшумная и великая, все так же стремила свои могучие водные токи. Шел одна тысяча девятьсот тридцать первый год. Время великого перелома клубилось со свежим упорством. Дьявольский вихорь всего лишь опробовал свои беспощадные силы.

Конец второй книги



СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ

ДУША И СВЕТЛА И УГРЮМА...

* * *

Стоит подмосковная осень,
Звенят золотые деньки.
Высокая яркая просинь
И редкие всплески реки.

И запах дурманящий сосен,
И сложность осенней тоски,
И близость внезапная весен,
Которые так далеки!

Ясна подмосковная дума
О прошлых и нынешних днях.
Нет, я не живу второпях.

Душа и светла и угрюма.
В ней тайна осеннего шума
И свет, не погасший в полях...

* * *

И я в броске на мяч футбольный
Застыл на целых двадцать лет...
Смотреть на этот снимок больно,
Глаза слезит далекий свет.

И никому не слышный запах
Перчаток новых вратаря
Щекочет ноздри...
местный Сабо,
Он бил не слабо, только зря.

Я взял тот мяч десятилетним
Светловолосым пацаном,
В том солнечном, зеленом, летнем,
Чудесном шестьдесят шестом!

Ах, ностальгические слезы!
Вы так нелепы и смешны.
Но все равно сквозь явь и сны
Летят мячи, летят стрекозы...

Его всегда называли отщепенцем и диссидентом, где бы он ни работал, а из комсомола выгнали еще в школе. Таковы штрихи из биографии Сергея Константиновича Воробьева. А родился он в 1955 году в Вильнюсе. Был слесарем, комендантом общежития, мастером производственного обучения, осветителем, актером. В "толстом" журнале печатается впервые. Живет в Москве.

* * *

Кто-то не в глаз, но в бровь
Все же попал... Бела
Стала она, но кровь
Будет, какой была.
Снится мне вновь и вновь
(Разве я жить смогу?),
Как багровеет кровь
На голубом снегу.
Прежней России нет,
Есть только к ней любовь.
Прошлый не гаснет свет,
Белый как снег и бровь...

Жизнь мою по годам
Пулей проносит век.
Душу, как Магадан,
Белый заносит снег...

* * *

Я давно до дна опустошен,
Как страна, в которой я родился.
Я, как рыба, бился и добился
Пустоты и мглы со всех сторон.

Что мне древний колокольный звон!
Он в насмешку горькую пролился.
Черный сон стране моей приснился,
И она исторгла смертный стон...

Тихий стон стоит по всей Руси.
Долго мы и страшно умираем.
И взываем: "Господи, еси!
Чем нас встретишь, адом или раем?
Если адом, то его мы знаем..."
Ни о чем, Россия, не проси!

* * *

Раньше они воспевали КАМАЗ,
Лихо строчили про БАМ.
Нынче советский поэт-богомаз
Бодро вторгается в храм.

Глупые вирши о Боге плетет,
Тешит и душу и плоть.
И ни за что его черт не берет
И не карает Господь.

* * *

Кто гордился в Долине теней,
Кто капризничал в преисподней,
Тот с ума не сойдет и сегодня
От предчувствия Судных дней.

С колоколен страна видней.
В ней сегодня чуть-чуть свободней
И, по воле благой Господней,
Безысходней и холодней.

Будешь жалок, и нищ, и наг.
Будешь Богу опять молиться.
Луч закатный падет на лица.

Станет другом заклятый враг.
Что-нибудь все равно случится:
Новый свет или Вечный мрак...

* * *

Звезда серебряной слезой
С небес скатилась.
Слеза таинственной звездой
Во тьме светилась.

И между ними пролегла
Моей души и ночи мгла...

* * *

Пока продается зелье
И солнце пока встает,
Я тоже встаю с похмелья,
Встаю ради грамм трехсот.

Пускай проржавела глотка
И бьет колотун с утра,
Пока продается водка,
Я выпью — и с плеч гора!

Когда-то я жил красиво,
Сниматься мечтал в кино.
Себе позволял лишь пиво
И не позволял вино.

А нынче без весел лодка...
Но двум не бывать смертям!
Пока продается водка,
Спиваюсь ко всем чертям!

У каждого есть свой стимул,
Свой скрытый от всех конек.
А то бы давно я сгинул
В прекрасный один денек!

Трещит голова с похмелья,
Но в сердце свирель поет...
Еще продается зелье
И солнце еще встает!

* * *

С тобой я соблюдал все правила,
Почти все правила приличия.
А ты ни в грош меня не ставила,
И я страдал от безразличия.

Тебе дарил духи французские
Я в праздник русской революции.
А ты носила юбки узкие,
И я испытывал поллюции.

Тебе поэмы сумасбродные
Я сочинял ночами лунными.
И все ж глаза твои холодные
Ни разу не были безумными.

Растет тоска необоримая,
Сгорает жизнь, огнем объятая.
О, будь ты проклята, любимая!
Как я люблю тебя, проклятая!

* * *

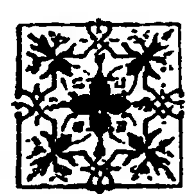
Пусть я не вертелся как белка,
Но был я три дня сам не свой.
Во всем виновата "тарелка",
Зависшая вдруг над Москвой.

Ведомый неведомой силой,
Под властью незримых лучей,
Я стал заражать, как бациллой,
Нездешней тоской москвичей.

Шарахались целые толпы
На улице прочь от меня.
В любое посольство прошел бы
Я запросто в эти три дня.

Поверите ль, я троекратно
Пытался платить за вино.
И все ж доставалось бесплатно
Три раза подряд мне оно.

Но вот в середине недели
Я понял по женским глазам,
Что нынче *они* отлетели,
А значит, конец чудесам...



Поправка

В стихотворении Виктора Кочеткова "Всему свое время: птенцу отлетать от гнезда...", опубликованном в предыдущем номере, 6-ю строку второй строфы следует читать: "а юнцу не дерзить, а дерзать..."

Приносим свои извинения автору.

ПРОЗА

ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

РАСКОЛ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Крестный путь

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

"Итак убегайте коварств и ухищрений князя века сего, чтобы, будучи подавлены его мыслями, не ослабели в любви".

Св. Игнатий

В святое место стремился Феодор Мезенец, а угодил в вертеп. Запах скверны, и любострастия, и похоти, казалось, пропитал сам воздух, и в любовном томлении, этом бесконечном ератике, жили не только низинные осотные поймы, кишащие болотной птицею, и призатененные сумрачные озерные кулижки с утиными гнездами, и пожни с развешанными по березам тетеревами, и мшистые рады с тайным глухариным чуфыканьем и клохтаньем, и куропачьим гоготом, — но и всяк угол заповеданного скита, и подклети, и повалуши, и амбары, и келеицы многие, и скотиньи дворы; весь мир, пригнетало Феодора неотступно, был воспален пламенем неистовой звериной любви...

Юродивый заселился на чердаке сенного сарая. Живя в скиту, Феодор сразу уединился, отпал от всех, и только келейный раностав иль богомольник, попадающий на утренницу из ближнего погоста, могли встретить согбенного инока в жиденьком предутреннем рассвете на берегу Суны, омывающего ступни в студеной ключевой струе, переливчато сбегающей из-под замшелого валуна-одинца. Да еще на Видань-острове посреди реки грузноватый, приземистый отшельник-монах, каждое утро выходя из хижины на молитву, благословлял юродивого крестом и вставал на колени, поворотясь лицом на восток.

Боже... как он, Феодор, нетерпеливо спешил сюда, теша в памяти горячий, неуступчивый облик духовного отца, его смуглые переливчатые глаза, на отдалении особенно почитая старца Александра, чувствуя на скрытнике особенную царскую печать. Не самим ли Господом был спосылан тот старец в Двинские земли, чтобы однажды чудом встретить на росстани у Анзеров белобрысого, со льняной головенкою отрока и залучить к себе в духовную зепь на вечные времена, приторочить к своему посоху невидимой нерасторжимой вервью. Все страны изошел строптивец, с иноземными королями трапезовал, и под турского махметку подпадал, а наскитавшись, вернулся в Русь и под государевой стражей угодил, словно бы нагадано было, в Сийский монастырь, чтоб навсегда повязать с собою молодого инока и увлечь в побег. Однако пустое клеплют на старца, де, отступник

Продолжение. Начало в №10, 11 за 1993 год и в №1 за 1994 год.

и вор, и на государеву стулку войной покушался, да вот каким-то чудом избежал палаческого топоришки и заточен был в монастырские застенки на Двину-реку под жесткий присмотр. Нет-нет, как приглядишься к иноку, так и опалит всего, и свет неземной ослепит, будто втиснут во лбу третий зрак, искрящийся камень-адамант. Ежли и царский он внук, так и то вовсе не диво, ибо много сосыланных опальных всякого чина, боярского и княжеского рода залучено государевым гневом и в Печенгу, и на Енисей, в Тоболеск и Пустозерск, на Соловки и под Вологду. Всяк для царской немилости ровня — и смерд пашенный, и рабичишко, и худородный дворянишко, и столбовой боярин, и князь из Рюриковичей: и на дыбу повинных потянут на встряску, и огнем прижгут, и на лобном стуле голову сронят, и на чепь заклеплют — ибо царь — наместник Бога на земле...

А верно, что и вор, и шишига отец Александр, но так много в нем смутной притягливой силы, от которой истомно сердцу и натужно на душе, и приворотный тот дурман походит на затяжную хворь, коей поначалу хочется болеть, а после излечиться. Знать бы, так лучше иноку в Окладниковой слободке в норе земляной спасатися. Но раз позвало в путь, значит, то Богу угодно.

Вырыл Феодор в затхловатом летошнем сене нору. И ладно, если с час вздремнет, как болотный кулик на кочке. Куры на нашесте завозятся, петух первый раз проорет оглашенно — ага, черти сбежались к скиту. И не спит уже монах, дозорит, укрепясь крестом. Украдчиво, чтобы не нашуметь, толкнет дверь: она с тонким скрипом отойдет на пятниках, и в проем сначала пахнёт ночным сыроватым потом земли, и сразу же задернет черный мерцающий прогал звездной ширинкой с чистейшими лалами, и жемчугами, и яхонтами. О! ну как тут не славить всемогущего Господа, сотворившего и небо, и землю, и всякую тварь. И ничтожнейшая живулинка, сиречь человек, тоже изуделан рукою Всемогущего: яко горшечник горшок, слепил Отец чуткими пальцами подобье себе, положил возле, а полюбовавшись трудом, дунул на мертвое дитя. И дадеся человеку душа, яко ангел некий чистейший...

Теплит свечка в келеице наставника, не спит старец Александр; и казалось бы, обнимая чутким ухом и подозрительным взглядом весь скит, тем не менее слюдяное оконце настоятеля всегда под присмотром юродивого. Где-то скрипнула дверь, зашлепали ноги, замычала в хлеву корова, взлягнула в деннике кобыла, ударяя копытом в загородку, знать сердится на дворового хозяинушку за недоброту, и вот мерещится Феодору, что в келейке Учителя колебнулся желтый хвостик свечи, мелькнула тень, кто-то вскрикнул истомно... Ах ты, Господи, спаси и помилуй. Совокупляются, яко звери, не боятся греха, перекрестится монах, весь обдаваемый влажным теплом. Подвига монашества не многим терпеть, ибо демоны пасут инока во всякий час, изнуряя его душу и плоть. Да и то верно: сила похоти столь велика, что противу нее может вооружиться разве тот, на ком благодать Божия за великие труды. Скорее может огонь со льном совокупно лежати, утверждает отшельник Епифаний с Видань-острова, или порох на угли ввергнут быти и не горети, чем живущий посреди дев и жен, младостию цветущих, соблюсти себя чиста.

Лишь живя возле скверны, и сам невольно опятнан ею; как в грязь оступившись, нельзя не опачкаться, так и наблюдая любострастие, впадаешь еще в больший грех, чем творящий его. Отцу-то Александру закоим такую тугу терпеть? окружил себя прелюбодеицами, молодыми стряпухами и мовницами, что голову под черный плат прячут, но во взгляде-то бешенина черевная, и губы набухли от желания, словно налиты вишенным медом... Боже, ну зачем ты дал мне такие зоркие зеницы? — взмолился Феодор, готовый заплакать, уставясь в полыхающее в ночи оконце настоятеля.

Порою окатит Феодора блаженная волна и погрузит его в тонкий сон; встряхнется через мгновение и не вем, спал ли, иль примерещилось. Но вроде бы куда-то стремительно упадал, а после плавно взмывал на волшебных перьевых папартах, и вскруживало чернца средь хоровода светоблистательных звезд; как пушинку на гребне вихоря, долго-долго утягивало его в поющую черную бездну, пока не обступали плотной толпою святые лики. Однажды и Богородица явилась с ангелами, с камнем в руке. Сказала: де, если грешные мне веры не окажут, и все прилежно без всякого прекословия молиться не учнут, и похоть свою безрассудную не отставят, и ежли ты не известишь о моей воле, то будешь вот этим

камением убиен, а на весь мир за безверие будет планида — каменная туча... "И поделом мне, грешнику, поделом", — смиренно повинился юродивый и очнулся. И вовремя, а то бы убился до смерти; уже полтулова вывалилось в дверной проем из сушила и от натока утробной слизи забило и глотку, и нос. До третьих петухов перемогался и, знать, много чего упустил. Вот скотник вышел, зевая, долго скреб голову; лихо бражнику за угол зайти, полуотвернулся, справил нуждишку. Пообсмотрелся вокруг, слегка приотдал ворота коньего двора, и оттуда вытулилась девка-простоволоска, бойко пересекла двор и скрылась в заходе, а уж минуту спустя подымалась крыльцом в поварню с беременем дров; оконца закрасели, по ним бежали сполохи пламени, по скиту потянуло первым березовым дымом, там-сям захлопали двери, ожил людишко; вроде бы усадьба помещичья, а не скит потаенный, так густо набито дворишко всяким мирским народом. Где тут вере-то храниться? не здесь ли и пасет русского насельщика князь ада? Ой-ой...

Разблажился нынче Феодор, разохотился к легкой жизни. Эвон сколько выспал, лежень, разнежился, как барчук поместный.

Уже развиднелось, леса сдвинулись и пошли стадами из тумана, словно бы наискивали брода через реку. Лесной барашек проблеял в небе, царапнул крылом на латунной створке дремотной зари. Феодор уже собрался уходить на утренницу к роднику, чтоб в одиночестве отчитать молитву, но все медлил отчего-то, отлавливал взглядом монашену Хионию, наискивал, из каких сеней она вывернется. Ах, блудня, ну и блудня, — с горьким сожалением посетовал о Хионии, как о сестренице родной. Да и то, со вчерашнего дня будто покрестосовались: приходила Хиония на исповедь, припала к руке юродивого, трясло ее всю, словно, ознобная, на январском льду стояла босою. Эко сердешную мучило и корчило. То, знать, грехи вон выходили. Долго каялась, перебивая тонкий прерывистый голосишко всхлипами. Но глаз не подняла, видно, стыд еще не весь потеряла. И Феодор о той блудной ночи не напомнил чернице, как бы примерещилось лишь им, злой навадник наколдовал, наслал впотьмах девку-лешачиху во образе монашены на испытание юродивому. Пасут демоны и для скверны и любодейства любую личину напялить могут...

Стерег Феодор, ждал Хионию во дворе, а тут вдруг лестница в сушило задрожала, заскрипела, показалась белая узкая рука со свитком бумаги — и пропала. Эй-эй! — окликнул юрод, нагнулся над проемом, да где там дозваться; завернула Хиония за угол, лишь подол рясы завился вокруг ног. Что за посылка? — недоуменно оглядел скрутку, но чего-то остерегся, иль устыдился, а сердце как-то нехорошо стронулось, и всего-то затомило, когда спрятал вестку в тряпошную зепь за пазуху. И пока шел к Суне, все оглядывался, нет ли досмотра, и ладонью занывал в зепь, обжигал пальцы. Вот как бы любовную вестку получил, а Бог то и разглядел. Ему все ведомо, от Него не утаишься.

А бывшая дворянская дочь Бакшеева, оказывается, и писать умела кругло, накатисто, как бисером вышила свое исповедальное письмо: "...Прости меня Христа ради отче честный многогрешную Хионию.

Вчерашний день я была у тебя на духу и хотела перед Богом я раскаяца во всех своих грехах. Один я грех большой не сказала, который я в жизни не знала до сих пор как с мущинами сходятся и как такой грех сотворить и не знаю, что со мной случилось, как ето я отдалась. Все время я просто слушать не любила, как люди про ето говорят. Ето мне слушать совестно было, не только самой согрешить. Все время я хранилась этого греха и одним часом вдруг попалась и скорбь себе приняла, думаю всегда Господи, неужели я теперь не девицей стала. Отче, и совести ради это тебе не сказала. Не могу никак тебе в глаза сказать. Исповедалась, не покаялась, а грех не могу сказать. Я хотела его до смерти не говорить, да боюсь Бога, что не успеешь покаяться, или каяться и будешь опосля, да что Господь не примет тогда, почтет за умышленный грех, так я уж и надоумила написать свой грех, а больше никак не могу сказать. Прости меня Христа ради отче честный, а записку эту, как получишь, тут и сожги, чтобы никто не знал..."

Дважды прочел юрод писемко и не сжег, а изорвал мелко, а после зарыл под камень, и песок нагреб горбиком, вроде бы могилку сделал, и начертал крест православный. Душа послушницы Хионии здесь погребена. И снова вспомнил ту заполошную ночь и восхитился, и усладился своим подвигом: но отчего-то стосккнулось на сердце, как бы последний корешок отпал, связующий с родовой и

памятью, и заплакал юрод, глядючи в успокоенную посветлевшую воду реки. Пескари сновали, серебряно взблескивали, водоросли, распушив бороды, ластились к закаменевшим ногам монаха, наверное, заманивали под зыбкие свои пелены на вечное успокоение. Юрод спохватился, омыл лицо, выжал, как вехотек, длинную изжелта бороденку, уже сбелевшую на скульях, и на темечко плеснул, и пошел, накренясь, в берег, звеня веригами. Рубище, изгрызенное по подолу, полоскалось по тощим голеням, как по осенним будылинам конского щавеля, в дырах бронзово желтела заветренная, задубленная шкура. Вдруг засмеялся юрод, погрозил западу, показал дулю и побежал в гору, к скиту. "Спасать надо, — бормотал, — спасать надо девку. Ко Христу явилась, ишь ли, девственницей пришла пострадать за веру. Примай, говорит, сестру! А злые демоны отворили ворота, распечатали, впрыснули яду. Теперь и жить-то как ей? Ой-ой!.."

Тьма, пред которой очутилась Хиония, была пронизана сполохами, из провалища от горящего жупела подымался смрад на тыщи поприщ; Феодор из-за плеча послушницы заглянул в открывшуюся преисподнюю и в ужасе отшатнулся.

"...О, бедная ты моя, бедная. Одну посестрию кинул на Мезени на распутьи, и неуж и эту предам князю того света?"

* * *

Юродивый спешил к настоятелю спасать послушницу, кою принял в душу как посестрию. Отец Александр в своей келеице терпел крестные муки. Тускло мерцали лампадки, на единственном окне был задернут тяжелый шерстяной запон. Еще не старые, отглаженные теслом бревенчатые стены светились янтарно, напитанные внутренним неистраченным жаром. С порога заполошенный Феодор поначалу никого не разглядел. Как великан Самсон ослиною челюстью побил некогда тыщу врагов, так и он готов был сражаться с демонами. Но от мирра, которое, казалось, источалось из келеицы, юрод поначалу оробел. Так случалось всякий раз, когда он приоткрывал в келеицу бесшумную дверь. Отец Александр страдал в красном углу: он был словно бы замурован в янтарную полупрозрачную скудельницу, и из ее глуби выступали сами по себе восковая голова, кисти распятых рук, обвитых цепями, и луковой желтизны плюсны; само тело было покрыто портищем смирного цвета. Феодор благоговейно, уже позабыв недавний ужас и гнев, метнулся на пол, глухо рассыпались звенья вериг. "Встань, смердич!" — донеслось из-под потолка. Слова были странны, насмешливы, без обычного почтения. Кто-то из сидящих на лавке гулко расхохотался, загукал, как филин. Взгляд привык к полумраку, и Феодор, еще не поднявшись с колен, вдруг понял, что келеица полна богомольников, и, видимо, он, Феодор, прервал душеспасительную беседу. "Пусть-пусть рыгочут ночные совы. Не долго им на земле толочься. Тамотки-то уж приберут. Небо с овчинку покажется, — смиренно, с жалостью подумал Феодор о скитниках, проследив их грядущий путь. — И за Хионию им отмстится".

...Но отчего так багров лицом монах Епифаний с Видань-острова? Юрод на мгновение смешался, затхлая скверна, разлитая по келье, стеснила дыхание. Словно бы в опочивальню к любодеице угодил ненароком, так пахло румянами, и белилами, и французскими водками. Такочки, бывало, смердило от дочери мезенского воеводы Цехановецкого, когда являлась на исповедь к чернцу, насурмленная и охиченная снадобьями, как египтянина Петерфита баба.

Возле ног настоятеля на низких стулках горбились две юницы в черном и попеременно утирали старцу ступни, омакивая губку в медный тазик. Феодор сразу признал Хионию и торопливо отвел взгляд.

— Чего истуканом, балда? Рассуди, блажной. Тут на кула́чки пошло, — как иерихонская труба, загудел мирянин Ефимко Скобелев, наперсник старца, служивший в скиту за эконома. Смиренного человека один зловещий вид эконома повергал в священный трепет, как бы циклопа явил им Господь в устрашение и покорство. Ефимко по самые обочья зарос смолевой непролазной шерстью; глаза угольями, с красной искрою в зеницах, упрятаны на дно глубоких темных кладезей; рубаха камчатная без опояски, нараспах, выпирают из ворота ключицы, как

лемеха; бурая шея лиственничным елуем, обвита кожаным гайтаном... Мохнач лесовой, потапыч, медведко дикой, сатана, а не Божия двуногая тварь. Ему человека похерить — что горшок каши съесть. Такому бы с шестопером на большой дороге гулять, а он возомнил себя учителем, притащился с семьею с Кенозера, младшую девку свою Епистолию устроил в стряпухи к старцу Александру: сейчас она умащивала настоятелю плюсны.

Такой лютого нрава шишига и надобен был старцу. Ефимко и народишко мигом обратал силою, приструнил, да и с ближних выселков и погостов притянул к скиту, столкнул с насиженных мест, обещая спасение. И вот в новую веру обращали православных, крестили пред распятым Учителем.

Сейчас Ефимку укрепляли с боков несколько седовласых старцев преклонных лет. На другой лавке, как пред судиями, в одиночестве сутулился рыхлый не по летам, с мягким добрым лицом отшельник Епифаний.

Скитские выживали монаха с острова, ибо доброй уловистой тоней два лета тому случайно завладел чернец и своею неуступчивостью гневил насельщиков. Теперь они строили отшельнику всякие козни, ежедень мешали молитвам старца. И уже в который раз приплыл Епифаний в скит, чтоб добиваться от старца мира и согласия.

— Все снасти мало того что вытрясли и улов покрали, это ладно. Дак и снаряд рыболовный нарушили, как вавилонские бродники. Прихожу нынче, на! Рюжи на берегу приломаны. Опять, значит, мамай воевал. Что деется-то? — плакался Епифаний, надеясь сыскать от скитских жалости к себе. — Приперли вы меня, братцы, как Христа поганая стража. И чего вам неймется? Ты-то, отец настоятель, хоть заступися за Божию тварь.

— Ты не праведник, да и мы не без греха. Не домогайся чего не дадено. Ты не Илия, да и я не Христос. Спрашивай у братии, — устало, едва размыкая губы, провещал настоятель и принакрыл зеницы выпуклыми сголуба веками: словно бы птица замгнула глаза. И голова старца надломленно упала на грудь. Вся братия вздохнула глубоко, с каким-то благоговейным чувством, и затихла, боясь нарушить покой Учителя. И юрод, примчавшийся в келию с невидимой сулицей, чтобы сокрушать демонов, тоже устыдился недавнего напрасного гнева. Но Ефимко нарушил молитвенную тишину.

— Ты дурак, — веско сказал он Епифанию. — Мы тебя приголубливаем. Давно зовем: поди к нам в общежитье. А ты, дурка, к православию спиною. Ты миру на пути встал. На чужие ловли сел, бродяга, да и надулся, как дождевой гриб.

— Я спрашивал. Я не своим изволом. Ты не клепли, слышь? Я по изволу прежнего настоятеля...

— У кого спрашивался, с тем и бражничай. А нам пути не заступай. Слышь, дурка? — Ефимко приподнялся, переступил поршнями, словно бы намерился всерьез надвинуться на супротивника и пригвоздать кулачищем к полу. Но и монах стоял на своем, не терял присутствия духа. Так они и набычились, сверля друг друга неуступчивым взором. Настоятель очнулся от дремы и вопросил медоточиво:

— Сам посуди, христовенький. Чего хочет мир, того желает сам Бог. А ты у меня крепости ищешь...

Феодор потерялся, не зная, чью сторону принять. У чужака с острова был младенческий, выцветший взгляд, все лицо посекновено частой сеткою морщин, и даже в приступе возмущения оно не теряло кротости и вопрошания. Знать, дивился Епифаний, как вот могут скитские братья по духу так низко пасть сердцем и неволить, казнить чернца, хотящего лишь покоя. Ведь не рыбных ловель они домогаются, не Видань-острова, но единого на весь мир еретического согласия, с коим Епифания и лютая казнь не примирит.

— Я не крепости ищу, а спасти вас хощу, проказники. От Никона смутителя затворились, перелестники, а в сором пали. — Епифаний повел вкруг себя рукою, вроде бы обнажая скопившиеся в скиту грехи. Старцы смутились, опустили взоры. И юродивый согласился с отшельником, и собрался выступить вперед, объявить о явлении Богородицы. Но эконом прошипел:

— У, елдыга. Лезешь в занозу. Жить расхотелось? Иуда Искариот от зависти в петлю влез, и ты того ищешь?

— Ой, жалконькие мои, — рассмеялся отшельник, и лицо его разгладилось

от морщин, и над скуфейкой воссиял серебряный венчик. — Вы не рядом, жалконькие, вы во мне. И уксус дадите испить, а я вас одно пожалею. Чего измыслили от диаволовой гордости?

— Пропинать его? — перебил Ефимко, обращаясь к Учителю.

Свешники в руках страдальца догорали, горячий воск капал на пальцы, остывал длинными сосулями, но старец терпел. Страстной урок на сегодня приканчивался, и отец Александр не уронил себя в глазах братии. Тело обвисло, сделалось жидким, как бы отекло к подочвам, и там, внизу, облеклось в свинцовые одежды. "Не-ет, я не жалконький, как толкует про меня червь навозный, — думал настоятель, воззрясь на богомольников. — Меня Спаситель пасет с престола и вельми доволен своим наместником. Каждая вопящая от гнета жилка моя есть ступенька лествицы в рай. А вам, тля и невзглядь, свалиться в преисподнюю и корчиться тамотки... И чего кричат, чего домогаются? — настоятель недоумевающе смотрел на багровое лицо эконома и худо соображал просьбу. — Эких татаровей допустил до себя. Без сала взлезли. И хлебов моих возжелали, и моей жены".

Но напряг волю старец и, подавив раздражение, улыбнулся и рассмеялся:

— Чего тебе, воин?

— Гнать, говорю, проказника в батожье из Христова дома! Его бы в смолу омокнуть, да после в перье, — придумывал казни лютый эконом. Вот заявились в скит сторонние люди и тихомолком перехватывают у Ефимки власть, злодеи.

— Не Божий то дом, а притон, кабак. А не то и вертеп! — возмущенно воскликнул Епифаний и огляделся, ища поддержки. — Ночами-то черти по вашей крыше свадебки играют. Из трубы да в трубу. Ратями...

— И я свидетель, — вдруг вступился Феодор, никем не званый. Вышел на середину кельи и оказался пред очии Учителя. Тот строго, с прицелкой и остережением уставился на духовного сына, пугал безмолвным окриком. — Не дам соврать, не дам! — Феодор пристукнул посохом, не сводя взора с лица настоятеля, утопая в печальной мгле темных зениц. Гос-по-ди... бесы... бесы. Ино правда! — Каждое утро ангелы плачут на передызье, просятся в жило. Спасти вас хотят! Пошто не пущаете, черти? Пошто?

— Ну-ка, девки, сымите меня. Сомлел я, — ровным голосом велел настоятель. — Приходят ко мне в дом, Христовым именем клянутся, а сами извержены бысть. — Прислужницы ловко распутали со ступней страдальца цепи, поцеловали желтую кожу, насунули сафьянные чоботки, сами пали ниц, не смея поднять глаз. Настоятель легко пихнул послушниц ногою, приказал холодно. — Ступайте прочь. — И когда прикрылась за прислужницами дверь, добавил строго: — А вам, мужики, хватит собачиться. Слушал — уши вянут.

Седовласые скитники согласно закивали, тончавые, иссохшие смертные лица излучали благолепие. Иноки замкнули души свои в учителе Александре, как в неприступной скрыне, и были теперь покойны: умен настоятель и велеречив, царского достоинства человек, в нем много воли и силы, он непременно доведет истинных христиан до рая. Много путей к престолу Спасителя, но самый краткий — это через грех: так вразумил вожатай. И все грехи, что совершены за долгую жизнь, зачтутся на суде праведном.

Всяк совсельник молчал, пока келейник принес настоятелю креслице с червчатой бархатной подушкой, да братину кваса, да пока учесывал поясную бороду Учителя с серебряными толстыми остьями, да высоколобую голову с залысинами на впалых висках. Настоятель отхлебнул из стопы квасу, и келейник торопливо утер ему рушником усы. В полной тишине слышно было, как в пальцах Учителя со скрипом перетирались костяные зерна четок. Старец подымался в занебесье по ступенькам лествицы с торбой чужих грехов, и все богомольники со страхом тянулись следом, сознавая превосходство Учителя. Пока висит страдалец в цепях, многие тайны, неведомые простым смертным, открываются ему, когда душа на время исходит из тела и кочует по дивным горам и садам вертограда.

И блаженный устыдился своей нетерпимости, оплыл на дорожную ключку и сронил голову с давно немытым колтуном сбелевших волос. В его прозрачных голубых глазах остоялась, набухла жаркая слеза.

Вот где прислон, схорон истинной веры! — воскликнул бы всякий прохожий,

ненароком угодив в затаенный скит. — Все иссякнем, яко прах, и князь тьмы вытрет о нас ноги, как о палый летошний лист, но эти вот — спасутся. Какое благочестие, какое смирение разлито в дремотных сумерках келеицы: дышать тем воздухом и не надышаться...

И только отшельник не замирялся. Рыхлое морщиноватое лицо собралось в плаксивый кукиш. Отшельник дерзко нарушил тишину, чем оскорбил всех скитских, усугубил свои вины:

— Вот ты, Ефимко, даве толковал про Иуду. Меня с ним уровнял. Иуда не из зависти, но из страха предал Христа и обручился с сатаною. И ты таков. Лишь из страха пред атаманом скольких отлучил от Господа и залучил в поганый вертеп.

Настоятель же ничуть не оскорбился, но как бы ожил, воспрянул в креслице, в глазах полыхнули волчьи зарницы. Он не дал огрызнуться эконому.

— Вот и чудно! Чудно-то как! — вскричал он. — Ты, монах, крепок в вере, но глуп, как осел. Иуда-то не предавал, слышь! Он хотел, чтобы Христос воскрес. Ты погоди, не встревай, шило. Он из любви отдал Христа на поругание. Себя сгубил и Христа восславил. Ну сам-то посуди. Кто-то же должен был взвалить кошулю всеобщих грехов и все проклятия мира, чтобы в Христе проявился Сын Божий, а не сгорел в мирской трухе. Не было бы Иуды — и Христа бы не стало. Иуда не против Спасителя восстал, но, как истинный брат, исполнил братний долг и вслед за Христом себя погубил. И знайте, прощенный Отцом Иуда восседает одесную от Сына, как верный брат его. Христос и Иуда — сам два. Не бойся, малое стадо, — настоятель простер руку. — Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство...

— Тьфу, тьфу. Не слушайте его, заткните уши. В тысячу крат лучше от обрезанного слышать о Христе, нежели от необрезанного иудейство. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытайте духов, от Бога ли они. Близ самовольных все вокруг полно демонов. — Епифаний говорил изтиха, он как бы проливал слова, и даже в ярости они истекали кругло, но и твердо, обстоятельно, без той приторной елейности, что раскрывают людей неискренних и коварных. Епифаний умел ровным звуком прободить и победить самый шумный и грозный рык. Есть на миру такие люди, что обстоятельной повадкою, своей несуетностью и ровностью характера всегда оказываются наверху, как бы ни колготились иные вокруг, как бы ни полыхали особенно неугомонные и неутомимые; но все понапрасну, ибо последнее слово за тихими. Епифаний вмешался в орацию настоятеля, не пугаясь гонений: истинный монах не ведает несвободы. Он и в юзах волен, как небесная птица.

— Ты, старец, приклякиваешь на себя царское имя. А знаешь ли ты о видении преподобного Макария Египетского?

— Знаю... Не менее тебя пивал из книжных премудростей.

— Тогда прости смиренно. Я братцам скажу. Вот, значится, шел диавол. Самый натуральный диавол шел искушать братию. Он всегда возле, только зазевайся. И весь-то диавол был обвешан некими сосудами. Великий старец Макарий спросил его: "Куда идешь?" И сатана отвечал: "Иду навестить братию". — "Для чего же у тебя сии сосуды?" — спросил опять старец. Диавол отвечал: "Несу пищу для братии". Старец спросил: "И все это с пищею?" — "Да, — отвечал сатана, — если кому одно не понравится, дам другое; если не это, дам еще иное"... И вот я спрошу: ежли вам в какой букве не занравился Никон еретик, ежли вы его разлучили с истинной церковью и жизнью своей заступились за веру христианскую, то сами из какого сатанинского сосуда решили откушать? Или вам мало того духовного пития, коим услаждались и наши предки? Вы грехами решили облиться, как елеем и нардом, вы самого Иуду, проклятого вовеки, посадили одесную с Христом. Дак как жить-то вам после этого? Вы со зверьми лютыми уравнялись...

— Глупенькой, ой глупенькой. Христос сам Иуде задал путь. Оттого и не открыл ученикам своим. Сидишь на острову, как филин, и с той кочки на свой мерзкий пуп уставился, как на икону Спасителя. И чего с тебя взять? Мы не за грехи стоим, коими, словно помоями, залит весь мир, а мы из греха хотим выбраться. Ты сам гоним и всяко гонимых попрекаешь и понуждаешь еретиться. С того и не любит тебя братия, что у последнего нищего отымаешь полушку, нечестивый. Мы в крайней нужде находимся. А человек в нужде свободен, он бежит

законов, и властей, и никониан-еретиков. И всюду прав.

— Нас отцы за грехи простят, в райско место поместят, — вмешался Ефимко, оскалившись.

— Погоди-ко, не встревай. Без греха нет покаяния, без покаяния нет спасения. В раю много будет грешников, только там не будет ни одного еретика. Вот ты, братец, всяко нас клянешь за девок, что возле пасутся. Знай же, что нынче брака нет, и все, кто в никонианских храмах повенчаны, — прелюбодеи истинные, еретики. Вроде бы по законам живут, а не чувствуют мук душевных за свой грех и не каются, нечестивые. Но падший от немощи естества плачется сердцем, стонет ночами и всяко просит Бога простить его, заблудшую овчу, и своими стенаниями он выращивает в небо широколистый дуб до самого райского престола. Ученики мои верные, — простер руку Учитель, а после широко обвел ею по келейке, вроде бы подымая с колен всех заблудших никониан, хотя в изобке-то кроме багроволицего Ефимки ссутулились тусклые, преклоненные летами, измозглые плотию старцы: но даже и у тех от пространственной орации настоятеля вздернулись ковыльные, сседа брови, и в потухших глазах зашаяло уголье. — Братцы молитвенные, грешите, как доведется. Тайно содеянное — тайно и судится. Ибо тайна брака истребися и ложе свободно...

— Ой-ой-ой, — простонал инок Епифаний, как подстреленный голубь.

— Ха-ха-ха! — загорготал эконом и, поднявшись с лавки, как бы принакрыл отшельника широкими плечами. — Монасе! Да лучше иметь сто блудниц, нежели брачиться. Я и девку свою сюда привел. Говорю, спасайся, Епистолия, услаждай похотное червие, истоми утробу свою блудным огнем — и спасешься. Иль не так, Учитель?

— Воистину так. Пусть все друг друга возлюбят, и чада от любви тоей побредут по весям, как наши апостолы, возвещая народу о спасении через грех.

— По апостолу брак честен и ложе нескверно, — стоял на своем Епифаний. — Где нет супружества, там блуд, там нет отца-матери, а где нет отца-матери, там нет и никаких сродников. Откуда бы тогда родился Ной, праотец наш? Откуда бы Авраам, Исаак, Иаков, Предтеча Иоанн, Никола и прочие святые? Все от законного супружества задолго до Христа. Вы на церкву никонианскую ополчились, а встали противу заветов. Церковь бо не стены церковные, а покров, вера и житие. Закоим скверною нечестивого блуда поливать Христа, живущего в сердце нашем? Ми-ла-и-и! Это черт вас поманул.

Епифаний мягко, кротко рассмеялся, как всхлипнул.

— Лучше со ста животными смеситься, нежели никонианским браком жену иметь, — снова загорготал Ефимко, на какой-то миг выскочил из келейки, и вот уже волокет за косу послушницу Хионию, словно бы стояла девка за дверью и подгадывала той минуты. Ефимко поставил Хионию посреди кельи, заломил голову назад и сочно, грубо, с вызовом впился в ее вишенные напрягшиеся губы. Казалось, кровь тут хлынет ручьем. И спросил, победно оглядев всех, но особливо задержав взгляд на Феодоре, словно бы слышал его тайную муку:

— Ну, девка, и сладко тебе было ночью со мною?

— Сладко, батюшко родимый. Слаже медового вишенья.

Юродивый вцепился за литой верижный крест, моля о спасении заблудшей души, и тонкие пальцы сбелели. Феодор, раздувая широко взрезанные ноздри, что-то гугниво затянул на одном бессмысленном звуке. Внутри его все плакало и стенало.

— А я што баял? Слыхали..? Го-го-го, — заржал эконом, и смолевая борода задымилась от пылающих угольев в темных зенках.

И содрогнулся Феодор, услышав непотребное. Казалось, орда демонов восшумела крылами и расселась по лавкам и на конике у порога, и витые рога козлища выросли над чистым восковым лбом послушницы.

— Тьфу, тьфу, тьфу! — замахал юродивый заполошно, заполоскал пред своим лицом рваными рукавами кабата. — Каменье на свинец... На ваши хари непотребные ужо ниспошлет Богородица Заступница каменный град! Весть через меня! Очнитеся, кощунники! — напоследях вскричал Феодор и, громко ступая, выбежал из келеицы, уже верно зная, что навсегда.

— Эво-о поскочил! Застучал черт копытами! — донеслось Феодору в спину.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Да нет, помстилось Никону, что царь Алексеюшко, добрая душа, замглился на него, зачужел, отшатнулся, надул губу. Ну мало ли на кого вскричит порою государь, ино и тычка даст дворцовому боярину, и велит волочить в тюрьму на встряску, чтобы, опомнясь, другим же днем спосылывать верховых истопников со сдобной перепечею, иль стерляжей солянкой. Был же такой случай, когда узнали на Москве о поражении Хованского и Нащокина, царь созвал Думу и спрашивал: что делать, какими средствами отбиться от страшного врага? Тесть царский, боярин Иван Данилович Милославский, и возгоржался вдруг: "Если государь пожалует дать мне начальство над войском, то я скоро приведу польского короля пленником". От такого хвастовства царь вышел из себя: "Как ты смеешь, страдник, худой человечишко, хвалиться своим искусством в деле ратном? Когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем? Или ты смеешься надо мною?" И в гневе таком дал Алексей Михайлович старому тестю пощечину, надрал за бороду, да и выгнал пинками из комнаты и захлопнул за ним двери. Но другим утром, мучаясь за вспыльчивость свою, послал стряпчих с богатыми подносами.

Дождался Никон на Истре гонца с царской памяткой: печаловался государь, де, патриарха долго нет на Москве и оттого многая поруха и неустрой бывают, и с нетерпением ждет паства твердой и праведной руки; и еще прислал в дар шубу из черных лис, с пухом, под цветной камкою по желтой земле, с двенадцатью золотыми пуговицами с искрами гранеными. И ко времени поспел вестник: Вербное на носу и патриарху не с руки медлить и гоноშиться.

Никон по рублю подал каменщикам на Отходной келье, посетил трапезную трудников, из котла-кашника отведал ествы — пустоварных щей с тертой редькою, при поварихе нахвалил еду, а после отвел иеромонаха-строителя в келью и там журил с острасткой, грозил батогами и застенкою, де, с такой выти не только дела исправно не свершишь, но и ноги-то протянешь. Велел не жать мошну, с поста свиней колоть.

Да, долгая война и частые зябели и замоки прижали мирского мужика; податями и налогою так утеснили его, что и дыхнуть невмочно, и вот побежал черный крестьянин из тягла, куда глаза глядят, лишь бы подале, в понизовья степных рек и на север, где не достанет холопишку господская кабала. И вроде смирен мужик, а глаза прячет; обитель Христу строит, не чинясь со временем, а на молитву уж и слаб, норовит сволынить. Ах ты, Божий русский человек, дитя Христово. А ежели очи отводит мужик, не глядит прямо, да голос тишит, норовя в беседе затаиться в усторонок, — значит, тайными недобрыми мыслями полна бедная его головушка. Вот и в лице-то пахаря нет нынче прежней мягкой открытой доверчивости, когда всем доволен селянин. Сухие скулы, волос тускл от недокорма и нуждишки; даже сквозь вешний плотный загар, сквозь изветренную смуглую шкуру пробивается какая-то вялость и телесная немочь, словно бы в моркотном сне пребывает трудник и не может из-под этого спуда выбраться под солнце и возрадоваться весне всею грудью.

Брюхо добра не помнит; голод да сума хуже татарови.

Правда, дотянули до Вербного, и тут сам Господь руку протягивает кощею, де, не робей, мужичонко, погоди укладываться в ямку, мать сыра земля не оставит без подмоги, вот-вот погонит из себя всякую зелень тебе в укрепу: желтые сочные коренья уже сладко назрели в пахоте, можно их есть сырыми, а хочешь — парь; после огоньки-первоцветы зажгутся по елинникам, а там и сныть пойдет, крапива пробьется, плешивец погонит полные соку стоянцы, а еще и почки березовые суши да толки, кору молодую и свечи сосновые мели на жерновах для хлебов, и мох белый цветущий сгодится в подмес, да кислушки во шти — эка красотища, да лист брусничный с чагою пей на истомленный желудок — и отмягчит черева. Эх-ма... помнится, стояло лихое лето, а мамка еще жива была... намолола однажды свечек сосновых, намешала со мхом, да напекла олабышей, такие вкусные показались колобашки с голодухи. Наелся Никитка от пузы, а мать с умиленной слезою смотрит да потчивает: кушай, сыночек. Как бы в смерть зазывала, христарадница. Знала: дети-то малые, умерши, все в ангелах у престола. А после и зажало

мальчонку, живот вспучло, едва отвадили.

... Велика ли дорога от Истры до Москвы — верст сорок, а попадать — позорá, и в маятном этом пути все припомнишь. Вперед-то на каптане добирался, еще по снегу, ладно скользили полозья по первым верховым дорожным лужицам, принакрытым утренним сахарным ледком. Да и сугробы-то под мартовским настом были как сахарные головы. А когда обратно ехать — на высокую телегу, на роспуски, поставили избушку со слюдяным оконцем, обложили дорожными войлоками, покрыли ковром, запрягли шестерик саврасых цугом, и поплыла походная кибитка по хлябям, то куда-то проваливаясь в преисподнюю, вроде бы окончательно прощаясь со всеми четырьмя колесами, то снова упрямо карабкаясь на глинистый с водомоинами и просовами взъем. Уныло сеется дождь-ситничек, спины лошадей и развалистые крупы — как лакированные; на передней лошади боярский сын охлупью, с рогожным мешком на голове и плечах — не позавидуешь в распуту парню; а обернется ездовой — толстая лукавая морда цветет глупой улыбкой довольного службою человека.

А возле дороги сквозь водяную мороку нет-нет да и проступит ветхая деревенька с уже раздетыми крышами, с черными ребрами стропил (солому потравили скотинке), с хлопочущими у навозных куч курами, с истово крестящимися бабами и с согбенными в земном поклоне мужиками.

"Сиротеи вы мои, сиротеи", — вдруг всхлипнет патриарх и, приоткрыв дверку избушки, примется истово, мелко крестить Русь, притрушенную дождевой пылью. И тут, как по команде, из-за угла измокнувшей хижи вымчит мальчонка в одной рубахе до колен, с гусиными багровыми ножонками, и, не убоясь весенней мозглети, поскочит по лужам наперерез владычиному обозу и, поравнявшись с патриаршьим возком, прямо на бегу норовит поцеловать патриаршью длань, чтобы тут же получить грошик милостынькой... Эх, сколь смышлены, злодеи. Знают верно, что не откажет батько, вот и летят на поживу, как воронята, вылупив ошалелые от счастия глаза.

... Ах, государь, государь! дозоришь ты за первосвятителем всякую мелочь и, похваляясь многомудрием и книжной грамотой, лезешь к собинному другу со всякой перетыкой, намерясь все переиначить на греческий лад, и, забывши праотеческое предание, уже не однажды смутил патриарший стол всякими новинами; и вот настали последние времена, когда и от духовного сына, за коего клятвы давал пред Господом, со страхом ожидаешь измены. Не лучше ли тебе всякий чин построже держать у руки, чтобы не творили подпазушники наузов и наветов? а то ведь иной клеврет и вовсе не власть, а так —прыщ на ровном месте, вулкан, чирей, но уж так весь изгилился, искрутился в своем хвастовстве пред челядью и смердами, ну прямо тебе апостол. У воеводского места кормленщики, да полкового наряда служивые, изрядно понахватав в чужих землях дурных вкусов, вдруг возмечтали и у себя завесть новых порядков, неимоверных излишеств и обольстительных прелестей, и сладкого чревоугодия; и, ублажая телеса свои, позабыв душу заради праха и червия, немилостиво кинули в лихо и в невзгодь детей своих христовых, труждающихся в поместьях и вотчинах. И вот последнюю жилу из них тянут, лишь бы ублаготворить утробные похотные чувствия. А на это никаких денег не хватит, ибо беса заморскими питиями и шелками не ублагостишь, не умилостивишь. Ну как тут не удариться в дальние бега, коли ежедень у тебя жилы на кулак мотают, да еще приклякивают, де, не стенай; холопище, не скули. И вот плодят утеклецов и нищую сирую братию и воеводы, и дьяки, и приказчики, и помещики, и ратные люди, и татарове, и всякий служивый дворовый самого малого чина, кто при чести, да при оружьи. Набежит лихой ордынец, помавывая арканом на твою шею, пустит пыл на житьишко и хлеба, тут успевай спасаться в болотных суземках, иль на острову средь озера, сам гол, как перст, без семьи и живота, нажитого в поте лица своего, и без куска хлеба. И тогда пускайся на Русь за милостынькой с именем Христовым, иль к зеленому хозяину, шишу подорожному в верные товарищи-заединщики, кому черт за брата, а чужая душа — полушка. Да и что дивиться разбойнику, ежели у дворцовых бояр служивые челядинники с попущения хозяйского никому проезду не дадут не только на подмосковных дорогах, но и в самой престольной возле хором очистят донага и хорошо если живым спустят.

Эх, батько-батько, мужич сын, поверставшийся в службе с самим великим

государем вровню; и неужель не чуешь, как тебе прижигает пятки царева чадь? Прежние твои поклонники, кто за счастье почитали к руке твоей прислониться губами, нынче на каждом углу нехорошо так лаются на тебя и всякие напраслины льют, бесчестя явленный образ Христов. Государев сродник Семен Лукьянович Стрешнев даже собаку свою научил благословлять по-патриаршьи, анафема ему, нечестивцу. У разбойника, поди, и то больше души. Он хотя и низко пал, кровопивец и злыдень, но для него, знать, есть соломинка через ад.

Еще в прошлом лете приказал Никон разослать грамоты по всей земле русской и объявить на площадях и торжищах, на улицах и росстанях, чтобы тати, разбойники и всякие воровские люди без боязни являлись к воеводам, старостам и в съезжие избы и приносили покаяние в своих винах перед Богом и государем; и если они таким образом покаются, то государь милует их, не велит казнить великими казнями, а вместо смерти дарует живот. И кто знает, может, до чьего-то падшего во грехи разбойничьего сердца и достучится зов патриарха?

Дай Господь тебе, святитель, доброго спутья по коломенским урочищам, и пусть минет тебя смертный разбойничий кистень. Молись, Русь православная, за Отца отцев, как он слезно молит за тебя...

* * *

Возничий тронул пару гнедых. Застучали колеса по сосновому тесовому помосту, выставленному плотниками накануне над апрельской жирной грязью от Успенской церкви до Покровского собора. Поехала в густой толпе богомольников, кивая голубоватыми ветвями, Верба благодарения, Верба благословляющая. Верба — невеста неизреченная. И маленькие певчие, стоявшие на санях, вкруг святого дерева, сияя белоснежными льняными рубашонками, расшитыми по вороту, вознесли чистыми голосами стихиры святому Лазарю.

Еще с вечера во дворе патриаршьих хором колымажники и каретники занарядили сани, поставили эту каптану на высокие колеса. С зареченских лугов привезли нарочные боярские дети молодую вербу, всю унизанную серьгами, словно новорожденными циплаками, и эту расцветающую невесту постановили на праздничном месте, воткнули в днище саней, в пробуровленное напарьей льяло. Из моленной келеицы, улучив в оконце свое время, явился Никон, и под его ревнивым досмотром принялись уряжать дерево леденцами, да изюмом, да яблоками. Потом и лошадь привели, на которую должен воссесть патриарх, и он с дотошностью осмотрел и лошадь саму, не уросит ли часом, и бархатное седалище, назначенное вместо седла. И это седалище Никон тоже проверил, верно ли приторочено оно лосиными ремнями, как бы не случилось на торжестве греха...

А уж с самого ранья, когда утро едва разломалось, еще в лиловых сумерках, пахнущих той весенней прелью, предчувствием близких перемен и сладкой грустию, когда неведомо от чего стоскнется и самое зачерствевшее сердце, под неумолчные звоны всего московского петья, меся бараньими сапожишками худую дорогу, выбирая путик покороче, кривыми улицами и загибистыми переулками, а где и прямь через посадские дворы и пустынные огороды, капустища и репища, тропкою через им только ведомые лавы и перелазы потянулись в Китай-город священницы всех московских приходов, чтобы встать ратями у патриаршьего Дворца под Золотым крыльцом. Иные, что в Земляном городе живут и в дальних слободах, из бедных приходов кто, подсвечивая себе слюдяным фонарем, вышли загодя, до первых петухов, только и надеясь на Матерь Заступницу, чтобы ко времени поспеть пред очии первосвятителя. Там-сям перемигивались в ночной темени огоньки, минуя стрелецкие костры, рогатки сторожевые и уличные решетки, и чем ближе ко Кремлю, тем гуще становилась их россыпь, как бы загодя сочинялся на московских росстанях будущий крестный путь: и даже самые лютые бражники, что и ночевали у кабака, с черевной дрожью подгадывая рассвета и первой чары зелена вина, так и те нынче постились, желая хотя бы крохотной натугою, никем не замеченным подвигом присовокупить и себя к сонму истинно верующих и ликовствующих... И эти ярыжки, эти заблудшие овцы тоже потянулись следом за церковным причтом, улавливая и для себя лучик света. А по бережинам над излуками Яузы, над болотинами березовых редколесий блеяли

барашки, всхлапывали ути в речных заводях безо всякой опаски, под крежами в омутах били хвостами пудовые щуки. И если каждый православный на Москве нынче, как и шестнадцать веков тому в Иерусалиме, встречал Исуса Назарея, устилая ему путь своими одеждами, то всякая живая тварь, не страдая от городских теснот, не пугаясь людского прижима, гомозилась в кутах и схоронах, в травяном клоче и осотной луже, праздновала любовь и продолжение жизни. "Осанна Сыну Давыдову!" — возглашали христовенькие, и в ответ со светлеющих небес стекали на землю зазывное тетеревиное гульканье, гусиный скрип, бычиный рев выпи, заполошное крехтанье свиязей, наискивающих себе подруг. Разве сыщешь в мире другой такой столицы, чтобы на густой колокольный благовест отзывались серебряные журавлиные трубы с болотцев лосиного острова...

И когда появился Никон на Золотом крыльце, в мантии из зеленого рытого бархата и в белом клобуке с золотыми плащами, сам как толстокоренное вековечное дерево, поддерживаемый под локти дородными диаконами, то всяк из московских попов, узрев громадного, вроде бы уходящего головою в небеса патриарха, овеянного перламутровым тонким светом, вдруг проникся к нему любовным восторженным почтением, скоро отринув все обиды, и поклонился до земли, как Истинному Отцу родимому.

...Нынче неделя Ваий, вход Господень в Иерусалим. Нынче Русь святая поклоняется Вербе, Матери сырой Земле, Роду Роженице, Яриле, Сварогу и Древу, и Господу, и Сыну Его Исусу Назарянину, который гласом одним воскресил уже смердящего в могиле друга Лазаря. Ты, восседающий на небесном Престоле и руководящий малыми сими во все земные дни, прости их, смертных ничтожных тварей, прозябающих во грехе, что не могут они оторваться от родовой пуповины и упрямо наследуют праотеческие заветы, навычаи и привычки, кои отомрут лишь вместе с русским племенем. Русичам как-то проще, сердечнее поместить Господа и в середке неба, и на околице каждой селитбы. Так близко православной душе евангельское научение; подыми камень — там Бог; разруби дерево — и там Бог; Бог разлит везде и во всем.

Нынче Вербное воскресенье, день великого царева смирения. И всяк богомольник, угодивший на Иванову площадь к крестному ходу и усмотревший, как великий государь прилюдно стаптывает к ногам гордыню свою, то видение унесет в душе на дни вечные до скончания жизни...

ИЗ ХРОНИК:

"...В соборе облачили патриарха в червчатый саккос из золотного аксамита весом в полтора пуда, а на голову вздели митру золотую, унизанную алмазами, в руки подали ветку вербы. Никон окадил маленькое вызолоченное Евангелие, лежавшее на престоле, и, взяв его, пошел на выход в западные двери. Крестный ход уже далеко отплыл по помосту, кудрявая верба с певчими, похожими на свечи, уже, казалось, поднялась над богомольниками. Наверное, духовенство, решившись оставить Никона одного, как когда-то ученики кинули Исуса пред крестом, вдруг опомнилось, остановилось в ожидании патриарха. Никону тут же подвели лошадь, покрытую белым холстом. Взамен седла устроено бархатное седалище. Никону подставили стул, покрытый черным сукном, и он сел на лошадь, спустив ноги на одну сторону. Ему подали крест и Евангелие. Под конец повода взялся сам государь, одетый в алтабасный зипун; рядом с ним встали стряпчие, что несли царский жезл, вербу, свечу и полотенце; за середину повода встал ближний боярин Семен Лукьянович Стрешнев; под губу повода вел патриарший боярин Дмитрий Мещерский. Лошадь тронулась, вся Москва особенно рьяно, счастливо загудела, залилась во все колокола. Впереди патриаршей лошади бежали дети стрельцов и расстилали под копыта разноцветные кафтаны, полученные для праздника из казны. И когда лошадь проходила по одеждам, мальчишки поднимали и, забежав вперед, снова раскидывали по земле. Позади Никона шли митрополиты, архиепископы. Замыкали шествие бояре. Архидиаконы и диаконы кадили патриарху, когда он благословлял крестом народ. Крестный ход достиг церкви Василия Блаженного, где и остановился. Патриарху подали стул, и он сошел с лошади и вошел в один из приделов этого храма во имя

Входа Господня в Иерусалим. Здесь он прочел Евангелие и благословил крестом народ на четыре стороны. Диакон же в это время кадил ему, говоря: "Господу помолимся". Патриарх совершил отпуст, после все вышли из храма. Патриарх снова сел на лошадь, и крестный ход в том же порядке возвратился в Успенский собор. Начались часы и обедня. После обедни Никон, выйдя из южных дверей храма, окадил находящееся здесь дерево и благословил его. По его приказанию стрельцы отрубили две ветки и отнесли в церковь. Здесь их разрезали на мелкие части, разложили на серебряные блюда и вместе с изюмом, сахаром и яблоками отослали царскому семейству. Остальные части дерева разделил между собою народ. Государь же получил от патриарха сто золотых динаров в дар — как вознаграждение за свой труд. Ежегодно эти сто динаров царь кладет в свою казну для хранения на издержки своего погребения, так как деньги эти заработаны собственным потом и трудом..."

* * *

...Ведь Стрешнев Семен Лукьянович страшными клятвами клялся пред государем на хлеб-соли и Евангелии, что патриарха из себя не изображал, развалившись в домашнем кресле пред семейными, и собаку комнатную не учил благословлять челядинников. А я ему не верю, пересмешнику. Худая молвка не растет из голки; выпрастываются уши не на пустом месте, и если по всей Москве славят патриарха, значит, приложены к тому злые руки. И никто не крикнул Слово и Дело, не прищучил колокольника, не поволок в монастырский приказ к ответу за пересуды и напраслины.

И Питирим митрополит, заячиное сердце, завистник и лиходей, втихомолку за спиною вьет осиные гнезда. Эх, навадник! не тебя ли Никон из голи вытянул на солнышко и пригрел, а нынче и сам на патриаршью стулку воззрился; хорошо, хоть един азъ выучил, а тоже мнишь из себя книжника, и подле себя Иллариона рязанского архиепископа пригрел, и оба-два шипите, как змеи из-под колоды, треплетесь с церковного амвона, де, от Никона патриарха трус и волнение на Руси. Эх вы, непути! Меня вся Украйна величает, Богдан Хмельницкий ко мне станицу заслал, прося приклонить Украину к Руси; он и царя занозил пред патриархом, ведая шатания Алексея Михайловича... И народ меня зело любит, и то греет мою душу, и понуждает трудитися денно и нощно на устроение матери-церкви. Э... и чего ною? Грязь — не сало, высохла — отстало; брань не гири, на вороту не виснет; полаются, да с тем и отстанут, ибо честная жизнь свое выкажет. Уставу верь, а не полковнику. Даве чернец Арсений заикался, де, в Цареграде объявился Паисий Лигарид, умник великий, и книгочей, и филозоп, надо его на Русь вызвать, пусть Питирима-собаку подкует на четыре ноги, чтоб не скакал, как блоха. Ишь ли, заушатель, однажды в детстве под плетью с грехом одолел азбуковницу, да на той науке и засох, как чирей... Нет, однако они не простят мне моей славы, что вся земля на четыре стороны света преклонилась предо мною, что все патриархи меня возвеличили над собою, и сам папа римский, еретик, ищет моих подсказок. Они, тараканы запещные, поддались на фряжские песни, да на свейские ефимки, им немчин, фрыга и кукуй, весь свет в окне застил посулами, вот и готовы ноги им мыть, да воду ту пить, невежды окаянные, лишь бы что перепало с заморского стола.

Какую собаку, однако, удрал со мною государь. В бочку меда ленул ложку дегтя; крохотная пакостишка, да весь праздник прогоркнул. Де, на, батько, травися, вороти нос в святой великий праздник. Де, я, государь, подмял под тебя, стоптал свою гордыню, тяну тебя на осляти, мужич сын, встав в поводу, но и ты гораздо не ширься, не задирай носа, помни свое место. Не без умысла же поставил Семена Стрешнева в поводу рядом с собою, особо отметил. Де, ты, патриарх, моего слугу по церквам анафемствуешь, а я его в трапезу усажу по правую руку. А того только и ждут подпазушные твои псы, чтобы уськать да лаять патриарха. И неуж весь Дворец смутился противу меня? И неуж им грек противнее жида? Каким бы ни был пронырою грек, но от них с Востока притек на Русь Неизреченный Свет, и нам за грека до скончания века смертно стояти... А они жида и папежника готовы за золотой талер с собою в стол усадить, не боясь стыда, да сладким и потчивать.

Эх, Русь, Русь, поскакали по тебе блохи. И ну кусать твое святое тело до чесотки, до волдырей, чтобы зудело, свербело до немоготы, чтобы зло мутной водою залило твои селитбы...

С такою смутою и на всенощную пришел патриарх. Но и здесь немилостивец достал. Государь, увидев старца Григория (Иоанна Неронова), подошел к монаху и милостиво, со смущенной полуулыбкою, словно бы вину какую за собою чуял, сказал: "Не удаляйся от нас, старец Григорий, не чурайся и не бегай. Мы тебя с матушкой любим". На что монах воззрился подслеповато, побагровел крохотным тусклым лицом и сразу перешел на крик, чтобы патриарх, облачавшийся в ту минуту, услышал: "Доколе, государь, тебе терпеть такого Божию врагу? Смутил Никон всю землю русскую и твою царскую честь попрал, и уже твоей власти не слышит. От него, врага, всем страх!"

Государь воровато отвел взгляд и скоро отошел от старца, ничего не сказав.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— А детей-то куда?..

Вернулся-таки юродивый, не успев добежать до ворот богопротивных келий. Он, запыхавшись, распахнул двери и в проем, не переступая через порог, повторил:

— Дитешонок-то куда, коли наплодятся? Они ведь ангелы рождаются. Мы, грешники, через них ко Христу стучимся. — Феодор приударил посошком, подпрыгнул зачем-то, и роговые задубевшие пятки его каменно брякнули о половицы. Глаза же, обычно блекло-голубые, какие-то водянистые, тут налились той нестерпимо жаркой синевою, в кою окунувшись случайно, можно и обжечься. — У них не ручки, у них махалки. Они летают. Сам видел. — И вдруг потускнел Феодор, сивая бороденка мелко затряслась, задрожали губы, приготовился монах заплакать от горя.

Настоятель не удивился, ибо верно знал, что сын духовный вернется. На росстани однажды стакнулись надолго, и нынче в таком внезапном сполохе не могла порваться так просто меж ними непроторженная вервь. Настоятель видел и сквозь стену, как убегает юродивый длинным коридором прочь из общежитья, плюясь и фукая, как натыкается лбом на тяжелые створки ворот, слепо шарит рукою по кованому с насечкою кольцу, отыскивая щеколду, тут падает в траву ключка, и нагнувшись за нею, Феодор опомнивается и спешит обратно. Ближе, ближе чугунные шаги, резко откатилась дверь, и духовный сын воззвал, тоже все ведая наперед: "А детей-то куда?"

— Чего вернулся-то? Дошло? — усмехнулся настоятель Александр. — Да... да... да... Рождаются ангелы, а только батьку-матку закличут, там и залучат их еретики. Пусть сразу летят, пока без грехов. Легше папарты подымут. Верно, старцы, баю?

Преклонные иноки согласно закивали головами, согбенно опершись на ключки. Старые грехи давно позабыты, а новых поздно наживать, сил нет. Эконом осклабился, заворочался на лавке, громадный, как рогозный куль с солью, победно запоглядывал на келейщиков.

— Но ты же сказал даве, что отсылаешь их в мир, — не отступался Феодор.

— Это я для прилики баял, чтобы тебя не выпугать. Ишь какой мозгляк. Одна кость. — Настоятель утвердился в креслице, обласкал поручи ладонями, словно бы в бархатных подлокотниках наискивал тайную плывучую связь для мыслей. — Что говорил Златоустый? Дети, может, и совершат после великие дела, если бы не убил их Ирод. Но они могли быть в числе тех, которые кричали Пилату: "Распни, распни его".

— Да так всех дитешонков в мире можно перевесть. И расплоду не будет, — изумился инок Епифаний.

— Можно и всех... Надо всех...

— Но где черта? Может случиться пустыня. Кому нести заветы Христовы? Явится Спаситель судить, возвестят трубы архангеловы, а никто не отзовется.

— И всех, всех... Зачатых во браке и во блуде. И пусть пустыня. И Христос воскресит их, безгрешных. Их тьма тем слетятся с неба на землю, и воздвигнется

храм Сионский из одних чистых.

— Златоустый лжет! — воскликнул юродивый. — Все златоустые лжецы. Не мед источаете, а мотыло и жупел. Хуже яду. И ты лжец, и поганые твои уста как червие. Ты младенцев гложешь и кровь ту пиешь. Как иудей. Сказывают, и младенческие сердчишки толчешь и има прикупляешь народу в свой изврат и гнусную толоку.

Старцы на лавке потупились. Юрод смутил и огорошил их. Устами блаженного вещает Бог. Настоятель припотух, жевал губами, но растерянности не выказывал.

— А что! Иудеи закалывали младенцев и помазывали очи, и уста, и прочие члены тою кровию. Зато они видки, и говорки, и плодовиты, яко саранча. Эвон где разбежались по свету, — вступил Ефимко. — Отчего худо на Руси? Отчего гадко и скудно? Веры нету, и истины не ведают. Им в глаза хоть щепки вставь, а все будто котята слепые. Таков уж наш народ дремучий. Как нынче из берлоги. Правда, батько?

— Верно, сынок. Мочи нету, упругой силы, чтоб раскручивать. Полоротые, пасть отворят, ждут, когда ворона залетит. Такая уж порода, лишние на свете люди. Вон фрыгу, немчина ежли взять. Из дерьма лепешка, так выкрутят. В руках все горит. Из дырки колач гнутый, из калышки баран. — Настоятель потек словами, призакрыл глаза, брылья опали вниз, как у ищейной собаки. Но вдруг осклабился, подобрался в креслице, напружился телом. Зрачки из припухших век глянули весело, зло, яро, и в них вспыхнули волчьи огоньки. — Иуду клянут, Иудой гнушаются, Иудой пугают. Ха-ха... Да он посильнее нас будет в сто иль в тыщу раз. Он на Бога руку поднял и не устрашился. Рядом встал. Они вместе и на Суд явятся: Христос и брат его Иуда.

— Пойдем, Феодор, отсюдова, — кротко позвал юродивого отшельник. — Кощуны слушать — что и самим блудить.

— От Никона бежали, а от нас не деться! — пригрозил эконом и поднялся с лавки, уперся головою в матицу. В келейке сразу стемнело. Червленые губы Ефимки полыхали в смоляной непролазной волосне, словно бы не просохли еще от недавно испитой крови.

— Пойдем, братец, из блудилища, — снова позвал Епифаний. — Они с чужих берегов, не нашей веры. Не нам с има ратиться...

— Они веру ищут, а надобно искать Господа, — уперся Феодор у порога, раскинул руки крестом, твердо уставясь ладонями в ободверины. — И нашли себе козлища! Вон воссел, трясет бродою, а над головою черный дым. Дьявол, сам дьявол. Тьфу, нечистый! — зафукал юродивый, плюясь через плечо Епифания. Отшельник уже отмяк сердцем, сейчас лучился добрым мятым лицом, и на щеках, на лбу, под глазами играли сотни мелких морщинок. Епифаний выталкивал Феодора прочь и приговаривал:

— Пойдем, братец, из блудилища.

— Вели, учитель, вели! — загремел эконом, накаляясь, угрюмо надвигаясь на сутырщиков, что заявились в чужой дом, да еще и правят суд. Ефимко вроде бы сорвался с цепи, торопливо засучивая рукова. — Дозволь, я истолку их в пыль!

Епифанию удалось-таки выпихнуть Феодора из проема и захлопнуть дверь.

— Надо стоять в вере, а искать Господа! На смерть стояти! Нету другой веры, окромя православной! Не-ту-у! — вопил юродивый из сеней, пока волок его монах Епифаний прочь из келий.

* * *

— Нажил ты себе лютого неизбывного врага, — грустно посетовал отшельник притихшему юроду, ловко заскакивая в челн и отталкиваясь пехальным шестом от бронницы. Быстро пересекли протоку, по заберегам густо обметанную кугою; на илистой бережине замедлили, вглядываясь в прогал меж сопками, где невидимый затаился скит. — Когда неустрой кругом, как червие, лезет наружу всякая гиль изтиха из гнилушек, пенья и трухлявых колод, подменяя собою праведников. И всяк Богом клянется, и Святым Писанием. Когда подавался с Соловков, хотел подичее забраться. Дай, думаю, уйду, где безлюдно. Много места на Руси, куда

нога человечья не ступала. Взял книги в ношу, сухарей, старцы благословили. Четыреста верст брел тайболой, сел на Виданьском острове... И вот третий год уж ратюсь. Как погребли старца Кирилла. Воюю и плачу. Неизбывно в миру бесов.

Епифаний замолк, снял скуфейку, редкие льняные волосы на большой круглой голове как плакун-трава: сквозь тонкую прозрачную поросль просвечивает гладко натянутая, как на репе, по-младенчески чистая кожа. Феодор так жалостливо взглянул на отшельника, будто собрался погладить того по голове.

— Странно мне будто. Бежал он из заточения, а властвует. Знать, демоны пасут, — нарушил молчание Феодор. У него было закостенелое, мертвое лицо, а глаза пустые, творожистые, с накипью в устьях. Словно бы весь истратился там, в кельях, когда ратился с настоятелем. Феодор прислушался к пустынной тишине острова, будто удостоверился, нет ли и здесь наушников и дозорщиков, и продолжил стертым голосом: — Ему бы как ужу в нору. Схоронись и сиди. А в нем ни тоски, ни страху, как заговоренный. Кабыть так и надо. Устроил блудилище, а сам за сатану...

— Враги наши невидимы бысть...

— Всяк враг видим, коли душою бодрствуешь...

— Он вроде бы и видим, а не ухапишь. И стало быть — невидим. Одно чувствие, как сыворотка в горсти. Сожмешь, хорошенько встряхнешь, думаешь, что из него душа вон. Ан нет... После глянешь — пусто в горсти. Уж за окном хохочет, вражина, да рожи корчит... Враги наши всё веру ищут, о ней хлопочут, Библию наперекосяк читают, да в то смущение зазывают слабых.

— Верно, отче, — вдруг поклонился Феодор, поймал у отшельника ладонь и поцеловал. — За веру надобне стояти. Она отцами нашими сыскана и нам во всей красоте заповедана.

— Как жил я на Соловках, был к нам сосылан Арсен жидовин и грек еретик, что после стал в справщиках у Никона. И тот Арсен сам признался однажды отцу духовному Мартирию, что он в трех землях был и трижды отрекался от Христа, ища мудрости бесовския. И вот такой переметник стал в наши печатные книги сеять плевелы, переменивать на свой лад. Мы тому Арсену цену истинную ведаем. Как тут не тужить, коли в советчиках у патриарха пропащий, вовсе сгиблый человек, давно душу продавший. Его и земля-то к себе не примет. Ведь не праведника, не честного жития старца себе в подручники выбрал Никон, а самого никудышного, бросового человечишку поселил в келье возле себя, чтобы и Русью-то не пахло. Русаков-то, сказывают, всех в юзы да в колоды, да куда подалее в Сибири угнал... Ох, Царица Небесная, оставляешь ты нас в последние дни...

— Тьфу, тьфу... Иудины дети, крапивное семя, враги Христовые идут по нашим следам, затаптывают их, заливают лжою, чтобы не разглядели, опамятовавшиеся, честного пути. Да что их ковы до нас, братец? разве могут они повязать честного человека, опутать его душу? Не-е... И напрасно ты сетуешь, ибо всякий праведник живет под щитом Спасителя и Пречистой девы, а всякий грешник под разящим мечом их. Не оставила нас Пресветлая, но ежедень тужит по нам и гневается преизлиха на нас, прелюбы творящих. Была у меня даве, вот как тебя видел и разговаривал с нею. Гостила, миленькая, у меня, но грозилась наслать камение... Вот ужо, погодит-ко, дерзновенные! — погрозил Феодор в сторону скита, скрытого за холмушками. — От честного народу укрылись, яко мыша в норе, но от призору Спасителева не запереться. Везде настиг-ну-ут, во всякое время сразят его архангелы! — И Феодор притопнул ногою, вода пырскнула из-под ступни на обремкавшийся кабат, на грудь юродивого. Как бы собаками был дран блаженный...

Тут небо разредилось, глянул сквозь облачную сизую муть огненный зрак, золотушный, как бы сывороткой облитый. И сразу степлило. И ветер, дотоль уныло, монотонно свистевший над островом, присмирел, залег в ложбинах, вода в реке заиграла просверками, залучилась, словно бы сотни серебряных рыб всплыли из глубин. Много ли матери-земле нашей надобно: чуть приласкали, пригрели, обнадежили, она и обрадела, готовая плодиться.

Но откуда тут, на травяных низинных лайдах, бесам-то быть? Всякую чертовщину сдует сквозняком в реку под кряжи, в домашнюю сторону, под стены пустыньки, а там уж, под прислоном греха, посреди блуда, лешачей силе самый

праздник. Зимой на острову — другое дело: завалит снегами, заметет келеицу под самую крышу, наставит сугробов, да ежли под крещенскую ночь в самую глухую темь, когда и петуха нет поблизости, чтобы выпугать нечистую силу, тут бесам и луканькам самое счастие блажить и сумятить сердце одинокого отшельника.

Иноки стояли, полуотвернувшись, озирая родимый клок северной землицы, окруженный водою; и хотя каждый смотрел в свою сторону, но даже в наступившем молитвенном молчании они вели неслышимый сердечный разговор, доступный лишь истинно верующим. В младых летах они покинули родителей своих по обету и ушли в церковь спасати душу свою, и волею рока, неизъяснимыми путями (надолги ли?) сыскались, прильнули друг к дружке на совместное житье. В какую бы пустыньку, в уединенное житье ни забирался бы наш монах, он невольно, в мыслях ли, в молитвах ли, но поминает о том неведомом брате по подвигу, коего может приобрести в особное житье даже глухой ночью, а переночевавши и вдруг найдя сердечное согласие, надолго задержаться для служения Господу...

Однажды попадал вот так же по комариной тайболе соловецкий монах Епифаний с легким кошулем на спине, где были старопечатные святые книги, своеручные записки о церковных догматах да горсть сухарей; и не дойдя до озера Онего двенадцати верст, тайною неторною тропою набрел скиталец на пустыньку старца Кирилла. Держал тот монах в пустыне мельницу и толчею, но сам лишь крохами довольствовался, отщипывая от ломтя, жил в суровом монашеском посту, а весь прибыток отдавал крестьянам Христа ради. И старец принял Епифания с великой радостью и удержал у себя...

— Вот ты молвишь, брат Феодор, де, враг сатанин всегда видим. Э-эх, главная борьба с врагом невидимым, — вдруг вернулся к прошлому разговору Епифаний. Он еще не мог остыть от недавней при, гремевшей в скиту. Какой-то неизбывной тоскою внезапно обдавало, как жаром, его незлобивое сердце, и Епифаний с ужасом вспоминал тех, кто в эти минуты оставались в блудилище, не представляя, к какому гибельному краю, спопешествуя, поя псалмы, сталкивает их настоятель с вожатаем Ефимкою. Ишь ли, хитрован: сам на кресте виснет, ежедень вымаливает у Господа рая себе, а слабых, никошных, малодушных отправляет в бесконечную погибель. Плетет-заплетает вкруг несчастного ближнего паучьи сети свои невидимым словесным челноком. Как тот лещ, побарахтается христовенький в нетях, попытается выбраться из сетного полотна, отыскивая прореху для спасения, а после и сдастся с облегчением и с особой охотою, со сладострастием погрузится в алкание грехов.

— А я говорю, всяк ворог видим. Лишь настрополись узреть. А иначе против кого стояти? С дымом, с туманом ратиться? Он, вражина, как и мы, о руках обеих и ногах, и голове. А ежли сказывают, де, хвост видели, иль рога, так это блазнит. И все. Он — как мы, только без души. Но ест и пьет ротом, и всяких благ преизлиха ищет обманом. Если праведник Христа исповедует, то вражина — Иуду. Но ты не устрашись темного взгляда его, тлетворного дыхания его, когда Господь призовет на бой. А уязвить его трудно. Раз души нет, дырка там, то и совести негде взяться. А коли совести нет, то куда уязвить?

— Может, и твоя правда, прости, брат, — смиренно поклонился Епифаний. — Ты безгрешный, тебе видче. Но там, где моленная настоятеля Александра, поселился я по воле старца Кирилла. А еще до меня мучил его бес лют и неотступно творил пакости во сне и наяву. Может, от страха того и уломал он меня жить с ним...

Вот послушай-ка в поучение. Однажды, значит, старец Кирилл отправился в Александров монастырь и приказал свою пустынь надзирать отцу своему родному Ипатию и зятю Ивану, в деревне живущим в двенадцати верстах от его пустыни. "А в келию мою не ходите", — остерег, боясь за ближних. А зять же его Иван сблудил с женою своею, и не обмывся, взял соседа своего Ивана же, и пошел пустыню дозрети, как бы чего не пропало. И не послушались старцева наказания, вошли они в келию и легли спать. Бес же поганой Ивана до смерти удавил, волосы долгие, кудрявые, с головы содрал и надул его, яко бочку, а другого Ивана вынес из кельи в сени и выломил ему руку. И тот Иван, что живой остался, спал в сенях кельи день да нощ. Через сутки лишь пробудился, яко пьян, и, рукою своею не владея, приполз к Ивану удавленному, к зятю старца Кирилла, и хотел его разбудить, и увидел того мертвым, отекшим и надутым, а ужаснувшись, из келии

выполз на брюхе и на коленях кое-как добрался до другой странноприимной кельи, где с полсуток с умом собирался. И по сем сволокся в карбас и пустился вниз по реке. И принесла его вода в деревню к Ипатию, отцу старца Кирилла. Он же взял людей и вернулся в пустыню и принес зятя. И треснула кожа на Иване удавленном, так надул его бес шибко крепко, и истек он весь кровию. Они же ужищем связали покойнику брюхо и на стяге принесли его в карбас, как бочку, да привезли на погост и в яму в четыре доски положили, да так и погребли.

И после того келья стояла пустая, а старец Кирилл в странноприимной келье остался. И послал меня старец в эту пустынь жить, где бес хозяиновал. Я же, грешный, старца прошу: "Отче святый, помози мне в своих молитвах, да не сотворит мне дьявол пакостей". И с благословения старцева направился я сюда с бесами ратиться. И стало сердце мое трепетать во мне, а кости и тело дрожали, а волосы на голове моей поднялись, в такой ужас я пришел. Я же, грешный, положил книги на налой, а образ медный Пречистой Богородицы поставил в киоте. Потом покадил книги, и образы, и келию, и сени, и начал вечерню пети, и псалмы, и каноны, и поклоны, и иное правлю келейное. И продолжил правило до полунощи (а было то до крещения Христова за два дни). И утомяся довольно, возлег починути, и живоносным крестом оградил себя трижды. И спал до заутрени мирно, ни страха, ни духа бесовского не ощутил. И так с неделю спокойно жил.

Но однажды после трудов взял меня сон тонок, и явились ко мне в келию два беса, один наг, а другой в кафтане. И взяли доску мою, на ней же почиваю, и начали меня качати, как младенца. Я же, осердясь, встал с одра моего и взял беса нагого поперек. Он же перегнулся, яко мясище некое бесовское, и начал я его бить о лавку, о коничек. И завопил великим голосом: "Господи, помози мне!"

И видится мне, будто потолок келейный открывается, и пришла сила Божия на беса. А другой бес прямо у дверей стоит в ужасе и хочет вон бежать из келии, да не может; ноги его приклеились, и не вем, как бес из рук моих исчезнул. Я же очнулся, будто от сна, зело устал, бия беса, а руки мои от мясища бесовского мокры. И после того больше году не бывали бесы ко мне в келию.

До Покрова за две недели после правила моего лег на месте обычном на голой доске, а голова ко образу. И еще не уснул, как дверь в келью отворилась и вскочил ко мне бес, яко разбойник, и ухватил меня, согнул вдвое и сжал туго, что невозможно ни дышать, ни пищать, только смерть. И еле-еле, на великую силу пропищал я в тосках: "Николае, помози мне!" — так бес меня и покинул, и не вем, куды делся. Я же, грешный, начал к Богородице: "О, пресвятая владычица моя! Почто меня презираешь и не бережешь меня, бедного и грешного! Я веть на Христа-света и на Тебя-света надеялся, мир оставил, и монастырь оставил, и пришел в пустыню работати Христу и Тебе..."

И от печали напал на меня сон. И вижу себя седяща посреди келеицы на скамейке, на ней же рукоделие мое. А Богородица от образа пришла, яко чистая девица, и наклонилась лицом ко мне, а в руках у себя беса мучит, коий меня мучил. А я зрю на Богородицу и дивлюся, а сердце мое великой радостью наполнено, что Богородица злодея моего мучит. И отдала мне Богородица беса уже мертвого. Я же взял его и начал мучити: "О, злодей мой, меня мучил, а сам и пропал!" И бросил его в окно на улицу. Он же ожил и восстал на ноги, яко пьян, и грозится: "Ужо я опять к тебе не буду ходить, а пойду на Вытегру". Я же сказал: "Не ходи на Вытегру, иди туда, где людей нету!" Он же, яко сонный, побрел от кельи прочь. Я же от сна пробудился и прославил Христа.

А живя в пустыне, сподобился я питаться от рукоделия. А иные боголюбцы приносили Христа ради. А в пустыне жити без рукоделия невозможно, ибо находит уныние и печаль, и тоска великая. Добро в пустыне — псалмы, молитва, рукоделие и чтение. О, пустыня моя прекрасная!

* * *

— Не мара, не кудесы. Не дым и не сон. Бес видим и оборим. Вот он разжидился, рассопливел пред тобою, подался прочь на Вытегру, утянулся, ненавистник твой. Пусть и не до смерти, но одолел же ты его, проклятущего?

— Видим-то он видим, пожалуй. Но вот как тень. Вроде и мясища его потные

держал и гнул беса, как кочедык, и об лавку лупцевал, и сок из него жал, как сыворотку из творога. Вроде бы помереть ему должно на том месте. Жалконький от меня побрел, как чахоткой съеден. И опять набрался силы... Он, вражина, на Вытегре набедокурил, меня не послушался, и назад в пустыньку вернулся в новом обличьи нас доканывать. Думал, не признаю его. А я признал... Да и ты его ведаешь, старца Александра. Лжепророк, лжеплемяш царев, слуга антихристов, обольститель лукавый, он всех очаровал на Суне-реке и под Онего, бедных христиан под себя подпятил, посулами улестил, наобещал, как слаже жизнь бренную коротать; де, упивайтеся вином, блудите всяко, наушничайте, блядословьте, тираньте слабых; де, малый грех покрывается большим, а наибольший грех покрывается Иудой, которого всегда пасет верный брат Исус. До чего договорился, анчутка, язык не повернется такое молвить. А народ потянулся издалека, наслышав, потек на его сладкие речи, будто сахарными пряниками умостил он тропу в пустыньку. Иные и жен с детьми побросали, другие мужевьев своих, как с ума посходили. Воистину скончание света... Вот он будто и видим в яви, и повадки все вражьи напоказ, но отчего очи-то у христовеньких помутились? В этом бесе они нового Христа видят и двоят его вместях с Иудою. Тьфу-тьфу... От него я сошел на Видань-остров, дак и здесь достают, не дают уединения, завистники. А я на них не гневаюсь, не. Ибо возлюби врага своего пуще брата своего. Я ведь для прилики ратюсь, чтобы опомнились. И на Голгофу поведут, и копием прободают под ребра, и венец терновый с шипами возложат на грешную мою голову, но и тогда и словечушком горьким не упрекну их вин, и прощу во всяком грехе. Так ли я говорю, братец? — Епифаний испытующе посмотрел на юрода, глаза отшельника стали талые, прозрачные, влажные от близкой слезы. Феодор же упрямо вскинул голову, сгорстал верижный кованый крест, словно бы сулицу боевую ухватил, чтобы вернее ополчиться на ворога. И почуял, как живая горячая сила притекла от креста в сердце. Но отшельник и не ждал ответа, ибо заповедями Христовыми был полон он, как криница гремучего студенца прозрачной влаги...

— Что молвить? Смиренному иноку мои слова — как ржа железу, как искра соломе. Разного мы пути, Епифаний, и разного обету. Ты, монасе, молишь Бога, чтобы дал тебе дольше жизни для спасения других. И в том твой подвиг. А я молю Господа, чтобы дал мне страданий и смерти в страданиях. Я к Христу спешу, чтобы замолвить слово за вас. Мне все видимо, от тебя же все скрыто...

— Закоим так, братец! Мы же воины Христовы, — слегка пообидясь, воскликнул Епифаний и, словно бы боясь потерять юродивого, цепко ухватил его за обтерханный рукав холщового кабата, сквозь прорехи которого светилось измозглое тело. — Где тебе ишо бродить? Оставайся-ка у меня. Будем вместе терпеть нужу.

И отшельник, помолясь, гостеприимно отпахнул низенькую дверь в жило. И еще не войдя в монашеское житье, Феодор услышал сердцем, что здесь ему быть.

Светлый домок у Епифания о пяти стенах на две келеицы, сам с любовию ставил. Одна келейка будет с локтем сажень меж углы, а в другой, поди, с полсажени; в одной клети моленная и для книг, в другой мастерская, рукоделий для, и опочивальня тут же; стены со тщанием, гладко скоблены теслом, в углу печура из речного камня, по стенам лавки, у порога коник с рундуком для скарба; в обеих келеицах лампадки горят, травы пучками в углах, в низкое волоковое оконце струит с реки сквознячок, наполняет житье каким-то чудным, святым запахом. И неуж сюда бесы прихаживают? Эко-нако, — подумал Феодор, ревниво озирая уединенную хижину: пахло липовыми стружками, смолою, рыбьим клеем — всем тем духом, что обычно обживается у столяра и древодела. Но не поселилось тут монашеской постной прогорклости и старческой затхлости. Потому и прихаживают сюда бесы, что земными чувствиями еще полон монах, и сердце его почасту прельщается привадами грешного мира...

— Не останусь у тебя. Не уламывай, — упрямо супился юродивый. —У тебя дух чижолый, грудь спирает. Негде мне у тебя спать.

— Ты что, Феодор? Окстись! — взволновался отшельник. — На мою лавку ляжешь, а я под порог. От бесов боронить. И больно хорошо.

— Это я под порог, — неуступчиво возразил Феодор. — А лучше того с той стороны, где Бог скитается. Душно мне в избе.

Тело юродивого вдруг затомилось, запросило бани. Феодор почувствовал, как запаршивел он, закоснел, окоростовел всякой телесной волотью и мосоликом, и даже сердце-то вроде бы обросло мхом.

"Соблазн кругом. Приваживают бесы, и дражнят, и поманывают", — испугался Феодор неожиданной слабости, царапнувшей сердце.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

... Спесив ли он, кир Никон?

Боярин Салтыков, при дворе толчась, ежедень про то талдычит, впотай ябеды и скверны чинит на патриарха и всю дворню настроил за старую веру смертно стояти; Никита же Романов, царев дядька, не может забыть прежних обид, как патриарх самолучшие иконы франкского письма изъял из боярских покоев, поколотил об пол Успенского собора и прилюдно честил срамными словами первого русского богатея; Морозов Борис Иванович за немца и свея горою встал, прельстившись чужеземными порядками, и, ничего иного не придумав, уличает патриарха в корыстолюбии и в низкой страсти золото и меха считать, запершись в уединении; Богдан Хитрой веком не простит Никону, что тот томит, до руки не допускает и благословения на женитьбу не дает, пока не прогонит окольничий от двора наложницу-литовку; протопопы-пустосвяты грызутся в отместку, де, почто бывый друг от двора их отлучил, и от черной зависти клеплют на Никона со многих крестцов, кричат анафему и мутят голь; Ордин-Нащокин уросит и косится, не спускает патриарху, де, почто тот в посольские дела ползет без спросу, Польшу и Украйну замутил, самого государя отодвинул в заштатный ряд, перенимая у него земной славы; Шереметев с Одоевским и Трубецкой не жалуют Никона, что он в военных делах измыслил себя полководцем, шлет в полки орации, командует воеводами, строит оружие и рати; священницы из приходов плачутся, де, немыслимо строг, немилосерден патриарх, позабыл Божьи заповеди, не прощает и малых вин, заключает в темницы, в колодки и цепи, как рабов, замучил налогой и пенею; монахи же прячутся по-за углы от патриаршьих стрельцов, ибо те заимели власть хватать всякого чернца прямо на улице, заподозрив в пьянстве, и тут же ссылает их Никон по дальним сибирским местам в досель пустовавшие монастыри; и для всякого провинившегося при судейских комнатах есть своя темничка с цепями, с дубовыми стулцами на шею и с кобылою для правежа; духовные же власти всякого чина, помня о страшной кончине ослушника Павла епископа коломенского, в страхе дрожат, представ пред патриархом, ибо вспыльчив святитель и неуступчив до всякой промашки, и не дождавшись дьяческого разбора и царевой воли, скорой рукою, не выходя из церкви, тут же, в алтаре, самолично и сдерет скуфейку с головы да и отправит игумена ли, иль протопопа в монастырскую пекарню сеять муку; а всякому служебному чину в патриаршьем Дворце и вовсе туга и печаль, и оттого, как бы уцелеть, всяк прикидывает друг за другом, чтоб без промашки крикнуть Слово и Дело. Ох-ох-ох... И многие-то в Китай-городе и в Белом городе, наверное, пожалели, что еще в дитешах не сожгла мачеха супротивника в печи, не отравила мышьяком и не уморила в подполье. Знать, святая была женщина, раз далеко чуяла гада, вырастающего в домашнем гнезде. И вот воссел волдемановский мужик на государеву стулку и требует от православных такой неисполнимой крепости в вере, такой чистоты и праведности, коя доступна лишь святым...

...Затомился Никон и в третий раз запросился у государя прочь с пат-риаршества, сказав: "Если нельзя быть в любви и согласии, то нельзя быть вместе вообще".

Алексей Михайлович ответил в сердцах: "Ежли ты пал духом и крепость православия сдаешь лишь ввиду неприятеля, то каково же станется нам, простым богомольникам? Нет-нет... и не просися!"

Ну как тут не разблажиться, коли долгими молитвенными ночами безысходно думается, что ты вовсе один, покинут и отвержен даже самым малым простецом: вот упадай в пропасть, в горящую серу и смрад, и никто не протянет спасительной руки.

Опомнись, первосвятитель! Ведь за Белым городом стоит Земляной город, а по-за ним лежит великая северная страна до моря Студеного. И неуж по всей

земле, по укроминам и засторонкам, во всяком глухом пристенке, величают нынче святителя Никона антихристом и молят скорейшей погибели? Боже, прости их, нерассудных, и помилуй!

Пространна Русь и оттого кажется безъязыкой, и так трудно и долго ждать от нее ответа.

* * *

Кир Никон, опомнись, утиши сердечные бури; прислушайся, как твоя неуемная плоть, несполна истомленная веригами, ночными бдениями и долгими постами, искушает страстями душу, роет норы и тайные подкопы, чтобы подослать туда лазутчика. Озрись, раскрой пошире недремные очи и увидишь, как плотно и слитно набита Первая русская церква прихожанами, узнавшими, что ты покидаешь престол, как взволнованы они и искренне, горько плачут, уливаются слезьми, пытаясь пробиться сквозь твою распылавшуюся гордыню. Коли не внемлешь возгласам, полным печали и страха, доносящимся из всех приделов и притвора, так поверь же честным слезам добросердной паствы твоей. Вот сейчас, сидя в патриаршей сени, укрывшись от богомольников за ковровой завесою и пропуская сквозь пальцы костяные зерна четок, умирься, сердешный, дай волю рассудку, и вся недавняя распря с государем, все недомолвки покажутся никчемными, недостойными вздора и шумной голки. А собственно, что такого приключилось, из-за чего стоило бы потерять голову и оставить кафедру?..

ИЗ ДОПРОСНЫХ СТОЛБЦОВ:

...Шестого июля государь давал обед в честь грузинского царевича Теймураза и впервые обошел приглашением патриарха, не счел его за желанного дорогого гостя. Как варом, ожгло сердце, но стерпел Никон, чуя, как рушится мосток меж собинными друзьями. Послал Никон своего боярина князя Дмитрия Мещерского наблюсти при встрече царевича среди собравшейся толпы чин церковный, чтобы кто-либо из духовенства не произвел по злому умыслу иль по дурости бесчиния и дерзости. Царский окольничий Богдан Хитрой, расчищавший путь в толпе для царевича Теймураза, ударил боярина Мещерского палкой по спине.

"Напрасно ты меня бьешь, Богдан Матвеевич. Иль не признал князя? — смиренно, перемогая сильную боль, вопросил Мещерский. — Я пришел сюда не просто, а с делом". — "Да кто ты такой?" — воскликнул злопамятный окольничий. "Я патриарший боярин Дмитрий Мещерский и прислан сюда с делом. Глазати разуй, молодец. Я княжеского роду, не другим чета". — "Не величайся, чирей на ляжке!" — вскричал Хитрой и с замахом перетянул боярина по лбу, глубоко раскровянил, изъязвил лицо. Дмитрий Мещерский вернулся в патриарший Дворец, и жалкий вид смиренного боярина ввел Никона в гнев. Никон тут же написал к царю и просил наказать виновного, иначе грозил отомстить тому своею духовною властью. Государь прислал ответ с ловчим Афанасием Матюшкиным. Никон прочел письмо и сказал спосыланному из Терема: "Я бил государю челом, чтобы велел дать оборону на Богдана Хитрово. Богдан убил мертво Мещерского князя, а государь ушел от моей просьбы и обороны не дал. А кто Богдан таков, чтобы шириться да палкой махать? Возомнил рыжий петух кречетом. У Мещерского у самого таких петухов полный курятник".

Матюшкин воротился к государю и те слова Никона известил. Алексей Михайлович снова воротил Матюшкина с письмом и в той же вести Хитрово Богдана всяко выгораживал. И молвил Никон досадно, предвидя исход и уже желая его и торопя: был, де, один собинный друг, да и тот с легкостью предал. Волен, де, Бог и государь, коли мне обороны не дал. И стану я ныне управливаться цер-ковью.

Через два дня наступил праздник Казанской Иконы Богоматери. В прежние годы царь не упускал случая непременно отстоять все службы в Казанском соборе, а тут не пришел ни к вечернице, ни к утреннице. И понял Никон, что царь вконец озлобился.

Десятого июля настал праздник в честь Ризы Господней. Царь и тут воз-

гордился, не показался в Успенском соборе, но после заутрени вдруг прислал к Никону князя Юрия Ромодановского. И сказал князь спесиво: "Государь на тебя гневен, почто пишешься великим государем. Пото и к заутрени не пришел и к литургии не жди. У нас один великий государь-царь". Никон ответил: "Я называюсь великим государем не собою. На это я имею свидетельства-грамоты, писанные царской рукою". Князь Юрий возразил: "Государь почтил тебя, как отца и пастыря, но ты не оразумел того. И ныне государь повелел сказать тебе, чтобы впредь ты не писался и не назывался великим государем и почитать тебя впредь не будет..."

* * *

Третью ночь Никон не замгнул очей, молился. И маковой росинки в себя не принял. Пробовал папушника пожевать, крохотный сухой отломок положил на зуб, но так кисло загрязло вдруг небо и десны, что чуть не стошнило: будто мухомора на язык принял. Ворочался патриарх на узком конике у порога, искоса подглядывал из-под набрякших век на мерцающий лик Богоматери, окруженный неземным сиянием, но видел в приглубых янтарных глазах ее укоризну. Молчала Пресветлая, и тонкий сон не навещал. Под утро скатился с лавки, грузный, неуклюжий, смешно пополз на коленях к тяблу, долго изнурял себя метаниями, а после, вжавшись лбом в вощаную половицу, наскоро забылся; очнувшись, почуял что-то живое, теплое, текучее на щеках: это слезами улился, не себя ли жалеючи? По мертвым детям так горько не плакал. Нет, не дала Госпожа науки, осердилась, отвернулась от скверного. Кряхтя поднялся, достал из шафа простую рясу, сам облачился, насунул на голову монашескую скуфейку и зачем-то, проходя мимо, задержался у зеркала. Эта переменчивая скользкая лубина, эта застывшая заводь всегда притягивала, приманивала своей завороженностью, обавностью: точно сама судьба и таилась там, и с каждым разом, как гляделся, высматривал Никон по ту сторону, она и отмеривала занаряженного земного сроку. Но на сей раз увидал Никон лишь зареванное лицо, какое-то неспокойное, изстара взбуровленное желваками и морщинами, взгляд пустой, жалкий, седая борода растрепалась вехтем, как у нищего прошака. Где былая дородность и вящий непотухающий спокой во взоре? Тьфу-тьфу, — осердясь на себя, почти возненавидев, плюнул Никон в зеркало, в свое отражение, и тут же растер рукавом, словно бы хотел сжить со свету мерзкое обличье.

На воле затучило, померкло, снова пролило дождем. На Ивановской площади нынче болото, лужи не просыхают уж сколькой день. Пока попадает служивый к Спальному крыльцу, иль к церкви, изгваздается весь, сапоги, полы кафтана иль зипунишки захвостает грязью. Бог окончательно осердился на престольную, наслал ненастье. В такие-то дни и накатывает черная немочь. Душа слышит ее приход и страждет милости. И я вот, пастырь, занедужил что-то.

... Он-то мне что баял? Де, я сдал крепость лишь ввиду неприятеля. Да по мне лучше с ляхом ежедень ратиться, чем противу Двора стояти. Каждое слово правды вязнет в устах. Улыскаются, черти, а все одно свое буровлют, лезут в жбан затычкой. Готовы решетом реку вычерпать, только чтобы по-ихнему. По ним-то, притворщикам, дак и Господь Бог лишь для них. Как враны кружат над головою, и всяк норовит поразить. Иль я за падаль вам, чтоб очи клевать и клочьями рвать мои мяса..?

И вот окончательно решась, Никон порывисто сел за стол, придвинул к локтю стопу бумаги, омакнул в серебряную черниленку перо. "Все-все скажу!" — прошептал непримиримо и грозно, и бесстрашливо ссупил толстые, как собольи хвосты, брови, уже густо продернутые жесткой седой щетиной. Торопливо, отыкаясь пером о бумагу, принялся писать, вслух повторяя каждое слово: "... В прошлом годе Божиею волею и твоим великого государя изволением и всего освященного собора избранием был я поставлен на патриаршество. Я, ведая свою худость и недостаток ума, много раз тебе челом бил, что меня на такое великое дело не станет, но твой глагол превозмог. По прошествии трех лет бил я тебе челом отпустить меня в монастырь, но ты оставил меня еще на три года. По прошествии других трех лет опять я тебе бил челом об отпуске в монастырь, но ты милостивого

своего указа не учинил..."

— Нет, не то пишу! — вспыхнул Никон, осердясь на свою сердечную слабость. — Чего нудю? Копошусь пером, как вошь на гребешке. Будто пес подпазушный, утыкаюсь каждым словом. Он, гордец, церковь под себя подпятил, он небесные законы нарушил, он Божьи заповеди восхитил и переиначил, а я, давши Господу обет во всем стояти за Него, блюсти Правду Его, сейчас свернулся ужом.

Никон мелко изодрал лист, кинул под ноги, придвинул другой, нацелился пером. И задумался вдруг, уставясь в слюдяное оконце, слезливое от дождя.

Патриарх-солнце, он самого цря помазывает на царствие. Так стоит ли угождать? Есть ли что выше патриаршьей власти?

... Как на стулку меня зазывал, на коленях стоял, молыл, де, во всем угождать буду. У Филиппа митрополита святомученика за деда своего прощения просил. Но как неверен человек своим заветам, как скоро попускает себя, поддавшись чарам недостойных людей. Нынче уж архиреев учит, как креститься надобно, и службы порядок расписал, и праздники назначил. Но зато все мирские дела запустил, народ осиротил, свел из деревни непосильными податями и кабальными записями. Он меня спровадил на Восток словен и греков спасати от агарян, а сам с латинами и лутерами сикер пьет и еретическими книгами, Омером и Платоном пичкает несмышленых детей своих, заражает проказой; он себя немчинами окружил под видом купцов и драгоманов, и те, лазутчики папские, и есть истинные учители его. Он лишь с виду тих и богомолен, а изнутра суетен и вздорен, как баба, и душа его изросла тиной. Ишь ли, он грозит мне! Он меня почитать не будет! Я — земной образ самого Христа! А он кто?! Всю землю смутил...

"Все! Иду!" — воскликнул Никон, и сомнения сами собой отпали, и свалился с сердца томительный груз. Святитель поднялся из-за стола, позвал в свисток Шушеру, велел келейнику пойти в ряды и купить простую поповскую ключку. Тот препоручил просьбу иподьякону Ивану Тверицыну, а сам поспешил к путивльскому воеводе боярину Никите Зюзину, чтобы хоть тот остановил безрассудство патриарха. Пока служка бродил на торжище, весть об уходе патриарха уже просочилась и в Москву.

Духовные власти собрались по обычаю в Крестовой полате, чтобы проводить патриарха в соборную церковь. И Никон известил: "Пусть весь причт явится и проводит меня в последний раз".

В церкви Никон облачился в саккос святителя Петра: эти священные неветшающие ризы, хранившиеся в царево-борисовском дворе, лишь упрочили спокойствие патриарха. Прежде сердитоватый, со вздернутыми щетинистыми бровями и испытующим, нацеленным на богомольника взором, Никон не то чтобы попритух, иль увял, съежился, снедаемый горечью ухода, но сделался как-то светлее и святее: будто вместе с отречением он легко и согласно облекся в монашью личину, хотя изукрашенными одеждами и митрою еще оставался отцом отцев. И голос его, обычно рокочущий, бархатно-сытый, раздумчивый от полноты чувств и мыслей, сейчас наполнился той кротостью старца, коий навсегда затворил себя в пустыньке и кому некого побарывать на сей земле, окромя диавола, всевечно приступающего к монашьей крепости. Никон препоручил службу Питириму, митрополиту крутицкому, своему врагу, а сам с патриаршьего места, подпершись посохом Петра чудотворца, пристально всматривался в сумеречную глубину Успенского собора, слитно заполненного прихожанами, кого-то навязчиво выискивал поверх голов в притворе, слабо освещенном свечами. Дым от кадильниц наплывал волнами, скрывал порою лица, смазывал очертания.

Не государя ли ждешь, патриарх? Небось чудится тебе, что вот распахнется дверь и, окруженный ближней дворцовой службою, мягко, косолапо ступая по черным плитам железного пола, Алексей Михайлович пройдет ко своей царской сени, непременно по пути оправляя лампады и сменяя прогоревшие свечи, целуя образа и смущенно, исподлобья озирая, как бы благословляя взглядом всех недремотных, бодрствующих поклонников. Сейчас он приблизится к амвону и покорно поклонит голову, ухоженную запашистыми французскими водками, и прислонится лицом к толстой патриаршей руке, пахнущей елеем, рассыпая тяжелые каштановые волосы, а Никон по-отечески, с какой-то умильной слезливостью поцелует государя в теплое, слегка редеющее темя с зализом на маковице...

А может, высматривал патриарх своего келейщика Иоанна Шушеру с по-

дорожным мешком и поповской ключкою, чтобы в крайнюю минуту, не мешкая, скорым шагом покинуть Божий дом? А может, Никон вычитывал в лицах московского люда, как искренне жалеют его, и любят ли, и страдают ли от ужасной вести? Ведь впервые случится на Руси, когда патриарх добровольно покинет паству, растерянных овн, оставив на потраву волкам, непременно и жестоко окружившим покорное стадо. Так не измену ли творит он, Никон? Может, воистину покидает крепость лишь в виду неприятеля?

Но царя все не было; и то, что государь гребует духовным отцом и нарочито дерзко противится патриарху, с каждой минутою укрепляло волю Никона. И то, что поначалу возникло лишь из осердки, из обиды на собинного друга, сейчас заменилось протестом духовным. Именно с таким чувством плененные и поначалу столь слабые люди, ведомые на казнь, вдруг при виде врага переступают жалкость свою и муки сердца в ожидании смерти и уже наполняются вызовом, азартом поединка, когда сам Господь незримо становится рядом и протягивает властительную, ободрительную десницу. Архидиакон Григорий, взбренчивая серебряными цепями при каждом кивке кадила, обдавал архиреев и прочее духовенство благовонным дымом, а Никон с расслабленной улыбкой на устах все повторял мысленно: "Как свеча, зажигая многие свечи, не умаляется в своем свете. Как свеча..." Никон не думал о настоящем, а будущее проступало желанное, тихорадостное, наполненное молитвенным спокоем монашеской затворнической жизни. Господи! — озарило внезапно, — сколько чувств, назначенных Христу, понапрасну я рассыпал в дорожную пыль и стоптал, эти драгоценные яхонты и жемчуга, созижденные Господом. И все они стали камением и тяжким жерновом повесились на мою шею и грудь... Завещаю, уходя: бегите от царственных и сильных мира сего, ибо их нерассудный гнев опалит и вас; их зло скверною и язвами отпечатается на вас; их сердечная немота опятнает и вашу душу, иссушит очи...

Началась пора святого причастия, и Никон в алтаре подходил к причту, к служкам самого малого звания и всех целовал в уста, и скорбная легкая улыбка не сходила с его губ. Он и врага Питирима митрополита крутицкого поцеловал с чувством прощения, и архирей, вознесенный по службе столь высоко патриархом, мгновенно побагровел и смешался. Никон же отвернулся, заметив смущение Питирима, и от этого ему тоже стало хорошо. Он как бы отряхнул мирскую пыль с сандалий и одной ступнею уже встал на первую ступеньку лествицы, ведущей к Пречистой. Никон велел ключарю поставить сторожей у церковных дверей, чтобы никого не выпускали со службы: поучение будет...

Никон встал за налой. Он посмотрел на ближних богомольников, чинно, сосредоточенно стоящих у клыросов. Прихожане смотрели на патриарха с любопытством и жалостью. У Никона задрожали губы. Он собрался сначала прочесть из бесед Златоустого, прокашлялся, наставляя голос, протер губы и бороду шелковой фусточкой, и вдруг сказал с хрипотцой: "Как нерадивая мать засыпает дитя свое до смерти по недосмотру иль усталости, так и мы заспали мать-церкву нашу. — Никон смешался, понял, что говорит укоризну, что вовсе лишняя при прощании. Он надолго замолчал, отыскивая верных слов, и сказал просто, устало и оттого особенно искренне; и во все время, пока каялся, тишину церкви нарушали лишь тяжелые вздохи и прерывистые всхлипы. Паства плакала, и эти искренние слезы особенно растрогали патриарха и умягчили сердце, готовое было выплеснуть много гневного на затхлость и смущения русской жизни. — Ленив я был учить вас. Не стало меня на это. От лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени не буду вам патриархом, если же помыслю быть патриархом, то буду анафема... Как ходил я с царевичем Алексеем в Калязин-монастырь, в то время многие люди к лобному месту собирались и называли меня иконоборцем за то, что я многие иконы отбирал и стирал. И за то хотели меня убить. Но я отбирал иконы латинские, писанные с подлинника, что вывез немец с немецкой земли, которым поклоняться нельзя. — И Никон, оборотясь, указал в иконостас, на Спасов образ греческого письма. — Вот такому можно поклоняться. А я не иконоборец. После того называли меня еретиком: новые, де, книги завел, и то чинится ради моих грехов. Я предлагал многое поучение и свидетельство вселенских патриархов, а вы в непослушании и окаменении сердец ваших хотели меня камением побить. Но один Христос искупил нас своею кровию. А мне, если побьете меня камением, никого своею кровию

не избавить. И чем вам камением меня побить и называть еретиком, так лучше я от сего времени не буду вам патриархом. Предаю вас в руки Богу живому: Он да вас упасет..."

И с последними словами Никон стал разоблачаться сам: снял с себя митру, омфор, саккос. Князь Юрий Долгорукий, стоявший подле амвона, со слезами на глазах молил Никона: "Святитель, отец родимый! На кого ты оставляешь нас, сирых?" — "Кого Бог вам даст и Пресвятая Богородица изволит", — мягко ответил Никон и протянул руку за мешком с монашеским платьем, но князь Юрий перехватил патриаршью кошулю у келейника Шушеры и передал назад, в смятенную толпу. Патриарх с невольным любопытством всмотрелся в князя, в его одутловатое с залысинами простецкое лицо и вдруг вспомнил царево признание, де, лишь двое нас во Дворце и любят тебя: это он, государь, да князь Юрья Долгорукой. Вот он, последний воин за веру! Никон измученно улыбнулся и ушел в ризницу. Там надел черную архирейскую мантию с источниками и черный клобук, на углу столешни, приотодвинув стоявшие всякие церковные сосуды, принялся торопливо писать: "Великий государь! Се вижу на мя гнев твой умножен без правды и того ради и соборов святых во святых церквах лишаешь. Аз же пришелец есмь на земли, и се ныне, поминая заповедь Божию, дал место гневу, отхожу от места и града сего. И ты имаши ответ пред Господом Богом о всем дати. Будучи послушны евангельскому слову: егда изженут вас... и ныне, отходя из вашего града, прах прилипший от ног наших отрясаем и отдаем вам".

Не перечитывая, чтобы не смущать дух, Никон скрутил письмо в свиток, перевязал витым шнуром, натаял воску и в последний раз оттиснул перстнем патриаршью печать. Он взял в углу простую клюку и, выйдя из алтаря, направился в южные двери. Но православные заперли церковь и послали с известием к государю Питирима митрополита. Никон загнанно остановился посреди церкви у своего облачального места, опустился на нижнюю ступеньку, как простой паломник, и с тупым безразличием уставился в сторону западного выхода; лица прихожан как бы выплывали из тумана, белые, немые, беззвучно шепчущие что-то, и вновь западали за сизую кисею, кинжально пронизанную утренним распалившимся солнцем. На воле наконец-то разведрило, там запели птицы, и, наверное, как ладно было сейчас брести проселочной дорогой, загребая босыми плюснами жаркую устоявшуюся летнюю пыль. Никон протянул ноги и почувствовал, как устал он, будто старый старик. Да и то: оттопал по землице полвека, и много ли осталось коротать на миру? Воистину пора отряхать прах, чтоб ничто более не смущало душу. Никон вдруг с ужасом подумал: вот явится сейчас государь и, как шесть лет тому, падет на колени и примется умолять, чтоб остался.

Тем временем государь признавался Питириму митрополиту: "Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне". Государь отчего-то побледнел, мгновенно вспотев, и судорожно сжал бархатные подлокотники кресла. А Питирим ответил, заговорщицки понизив голос, потупив очи: "Он возомнил себя Христом земным. Он тебя, государь, к поклону ждет..." Но царь промолчал, словно бы уличенный в тайном лукавстве. Не мешкая, он отправил в собор князя Алексея Никитыча Трубецкого. Князь, войдя, попросил благословения у патриарха. Никон, не подымаясь со ступеньки, укрепив клюку меж колен, отказал, не глядя: "Прошло мое благословение. Недостоин я быть в патриархах". — "В чем твое недостоинство, и что ты сделал?" — "Если тебе нужно, я стану каяться". — "То не мое дело, не кайся, — смутился князь, но продолжал домогаться ответа: — Для чего ты оставляешь патриаршество, не посоветовавшись с великим государем? От чьего гонения бежишь, и кто гонит?" — "Я оставил патриаршество собою. И государева гнева никакого на меня не было. А о том я прежде бил челом великому государю и извещал, что мне больше трех лет на патриаршестве не быть".

Никон подал князю Трубецкому письмо для государя и велел бить челом, чтобы Алексей Михайлович пожаловал ему монашескую келью для житья. Князь ходил недолго, вскоре воротился и вернул письмо. Царь просил не оставлять патриаршества, а келий, передал Трубецкой слова государя, на Дворце много: в которой захочешь, в той и живи. Никон вроде бы случайно взглянул на свиток, увидел, что печать не сбита. Вздохнул. Значит, и не читано? Стоптал царь патриарха под ноги. Забывшись, Никон хлестко пристукнул клюкой о пол и гневно раздул ноздри: "Я слова своего не переменю. Я не желаю возвращения к

власти, как пес ко своей блевотине!"

* * *

На паперти Никон показался смиренным. Замедлил слегка, зажмурился, — из-под принакрытых век тайком озирая Ивановскую площадь. Солнце завалилось за тучу, с неба вновь посеял обложной меркплый ситничек. Купола храмов влажно блестели, внизу у паперти лоснился широкий круп унылой лошади, запряженной в широкую телегу с избушкой. На передней грядке сидел конюх-монах, дожидался патриарха. Завидев Никона, он сорвал с головы скуфейку и торопливо пал на колени у колес, прямо в грязь. И огромная толпа, запрудившая площадь, всяких чинов и званий люди, с единым вздохом молча повалилась ниц. Но не успел Никон сесть в телегу, как передние московиты, обжавшие тесно паперть, вскочили, распрягли лошадь и раскатали телегу. Наивные дети, руша телегу, они думали удержать патриарха, полагая, что Никон, видя их безмерную любовь, вернется в разум, устрашится своей неслыханной досель затеи. Ибо как стоять церкви без главы? мигом осиротеет и запустошится. От почитания всенародного, от уныния, охватившего христовеньких, патриарх не то чтобы наполнился гордынею, иль осатанел еще более, но возликовал: само деяние терпко сладило душу. Никон пошел проямо на толпу, и народ невольно расступился, давая дорогу. Никон хлюпал по лужам, не выбирая сухого места, и сразу промочил ноги: в чоботках зачвакало, взопрели онучки. И от этой решимости патриарху тоже стало сладко и горько-весело. Мигом подогнали из конюшни патриаршью карету, распахнули дверцу, подставили приступку. Никон несговорчиво миновал лакированную карету, изнутри обитую червчатыми прохладными кожами, и отправился пеши прочь из Кремля. Прихожане обогнали Никона, заперли Спасские ворота. Никон сел в одну из печур в стене, непоколебимый, решительный. Стал ждать, когда откроют. Люди теснились возле, напирали друг на друга, каждому хотелось видеть патриарха в эти крайние минуты. Живой образ Христа, которому ежедень молились неустанно, покидал паству, и ей было до ужаса страшно оставаться в миру без Отца. Передние уливались слезами, более смелые, плача, подходили к руке, и Никон всех благословлял, не проранивая ни слова. Он как бы окаменел, лишился языка. Наконец-то явился спосыланный от государя боярин, велел отворить ворота и выпустить патриарха. Никон, прибавив шагу, пересек Красную площадь и Ильинским крестцем в окружении богомольников пошел на Воскресенское подворье. С крыльца он дал благословение ревностному народу и отпустил всех. Вскоре в келью к патриарху вновь прибыл послом князь Алексей Никитыч Трубецкой и передал от государя повеление, чтобы Никон из Москвы не сходил, пока не повидается с царем. Никон обещал ждать, а не дождавшись встречи, через три дня съехал. На Новодевичьем монастыре, чтобы не появляться более в Патриаршьем Дворе, он выпросил две плетеные киевские коляски, на одну сел с Иоанном Шушерой, на другую погрузили пожитки. И отправился патриарх в свою вотчину, в Воскресенский монастырь.

Так думая, что навсегда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ИЗ ХРОНОГРАФА:

"... Капитон проповедовал раскол более двадцати лет. Ему помогали ревностно: Прохор, Вавила, родом иноземец, лютерския веры, искусный в логике, философии и богословии, Леонид и др. Его последователь поселянин Подрешетников создал неподалеку от Костромы особое раскольническое общество. В Вязниках насаждал раскол священник Симеон. В Муроме при Оке — архимандрит Спасского монастыря Антоний. Во Владимире-Залесском — некто о. Иоанн, бывший наборщиком печатных книг при патриархе Иосифе, и первый писарь в канцелярии г. Владимира — Никита.

В Новгородских пределах — старец Варлаам, бывший протопоп Псковского собора, а потом постригшийся в монашество в Печерском м-ре. Вместе с Варлаамом — его ученики; Иоанн Дементьев, великолуцкий купец; дворянин Димитрий из рода Хвостовых с двумя родными сестрами; Василий Лисицын, поселя-

нин из села Крестецкого; Григорий, бывший казначей Антониева Новгородского м-ря; Сампсон попович; сын священника Крестецкого села Илия и брат его Кирилл; Лаврентий, купец, торговавший харчевыми припасами; Василий и Симеон псковские; Андрей и Ефимий, Евсевий Простой, о. Иосаф Чаплин и др..."

После утренницы эконом Ефимко Скобелев по обыкновению собрал всю монашествующую братию на сушиле, чтобы определить на послушание. Странно, но в кельях вторым человеком после настоятеля о. Александра Голубовского оказался мирянин, да и сам-то скит был такого неслыханного досель на Руси толка, когда наряду с Христом тут славили и Иуду. Это даже и не ересь жидовствующих, проклятая на века, а нечто совсем дерзкое и душепагубное, коли грех творимый принимается за славу, почесть и радость. Были всякие скрытни, когда за честь считалось близкого спровадить в могилу насильством, но чтобы душу испроказить, а мечтать о рае..?

Монашены и чернцы сидели на лавках друг против друга, и ежли послушницы были юны и свежи (мовницы, стряпухи, скотницы, прислужницы), то монахи большей частью преклонных лет. Эконом восседал в резном деревянном креслице с пуховой подушкой и с каким-то неутолимым странным свирепством озирал всех, открыто презирая и ненавидя. Хиония, дремотно-снулая, сама чистота и покорство, сидела с переднего краю лавки. Особая ей честь. Эконом придирчиво оглядел ее стати, ничего позорного не высмотрел и остался доволен собою. Эконом знал, как сеять, чтобы не всходило, и за то девки любили его. Настоятель привез секрет из Каффы от тамошних бесерменов. Рядом с Хионией сутулилась дочь Епистолия: как ни скрывала она, как ни горбилась, но из-под рясы упрямо выпирал живот. Изсиня бледное лицо ее уже принакрылось в подскульях ржавчинкой. Борясь с собою, эконом, однако, злобился на дочь, что вот принесла в подоле. Намедни он поймал ее на коровьем дворе, зажал в угол. Епистолию бил озноб. "Чего дрожишь? Не осина ведь", — спросил грубо. "Тебя боюся", — робко прошептала дочь. "Раньше надо было бояться, как по малину ходила. Не с медведкою же надула?" — спросил, сердцем прижаливая дочь и оттого еще пуще злобясь на нее. И вдруг спохватился, что не те речи поет: ведь радоваться надо, ибо любострастие — грех сладкий, особливо угодливый Богу. Настоятель так научал, а он, Христос наш, ведает небесные тайны. "Не бойся, — утешил, — батько отмолит. И тебе в счастие!.."

... На кого грешить? эконом переводил ревнивый взгляд по чернцам, для какой-то нужды иль скрытого пока смысла отыскивая задельщика. Он отчего-то вдруг обиделся за дочь. Быстро же сообразили, чего там. Но келейщики все больше грибы старые, обабки трухлявые, богатством своим не похвалятся, уже на две стороны оплыли; ветер дунет — и повалятся, сердешные, во гробы. Весь их грех нынче — наушничают друг на друга, да ежли кто оладью, иль хлебный каравашек упрет, изхитрясь, из кладовой, иль вместо канона, опершись на клюку, подремлет в моленной, пока не видит настоятель.

... Разве что скотник навел квашню, затворил колоба? Экий детина красномордый, губы — что тебе лещи, на щеках можно блины пекчи, раскалились, как два сковородника на угольях. Намедни угодил с ним в мыльню и невольно с пристрастностью выглядел хозяйство: корень — как боевая палица, а ядра — в пищаль крепостную заряжать. "Ну и орудье!" — невольно воскликнул с восхищением. "Вид один. Заржавело ономедни, не стреляет", — с улыбкою откровенно признался конюх, и в голосе монаха не послышалось ни тоски, ни жалобы. И тогда Ефимко поверил конюху, а сейчас, уставясь в его белобрысое, туго набитое лицо, решил: дурует, собака, надо мной смеется. Он... он, пакостник, кому боле? Поди, врет, скотина, что бессилый... не по коленкам же бить дадены колокола?

Конюх, пугаясь эконома, отвел взгляд на окно; зевнул, спохватясь перекрестил рот. А Ефимко уже позабыл про него. И мельник гож, — подумал,— еще не старик, чего там. Пусть и худ, как щепина, но кость да жила — гольна сила. Завалил на мешки и тряси, как грушу. Долго ли девку обсеменить?

Эконом давал послушание и тут же отпускал братию на работы. Лето в самой поре, нельзя годить, сена не ставлены, тут каждый час ухвати. Неурядливы, потны северные сена: по наволокам, по дальним чищенкам и лесным поженкам на десяток верст по реке до белых мух скреби по клоку, вей копны в осотах и

хвощах на стожары. А чуть припозднишься, уже сена не выставишь, а там по весне подвешивай скотину на ужища, иль пускай под нож. Черницы отправились выть стряпать, пироги с лещом заворачивать для страды; скотницы — коров обряжать; чернцы — косы отбивать да грабли ладить, волокуши вязать. Всем дело сыщется: и самый древний монах, что с лавки уж почитай год не встает, и тот ратовище скоблит топоришком от корья.

...И неуж настоятель промахнулся? — с улыбкою, загордясь собою, решил эконом. — Не Христосика ли ладит нам? А девку мою в Богородицы. Ну и славно, славно-то как.

Но тут мысль эконома перебил будильщик Исаф, кособокий, чахоточный, привязчивый и нудный до братии, недремное послушливое ухо и глаз Ефимки Скобелева.

— Вчерась опять Епифаний Виданьской у скита ошивался. Под стенами бродил. Все чего-то зыркает. Не стырить ли хочет? Ты бы, батюшко, его приструнил. Дай ты ему острастки, пужни хорошенько, чтобы не лазал. У нас, вот, и девки спелы. Пасти надо от черта такого. Он только наруже святой...

Глазки будильщика хитровато, привязчиво блестели, по животу засаленной ряски как-то странно елозила суховатенькая ручка. Эконом, брезгливо отстранясь, выпятил червленую нижнюю губу, слушал.

...А не он ли, сластун? — укололо. — Мало что с острова нейдет, так еще утянет мою девку в ересь.

— На чужой земле сидит, пузырь. А мы ему петуха пустим под гузно, верно? — подмигнул Ефимко будильщику.

— В нем осталось мозгу, сколько в белозерских снетках, в одной рыбочке их, — подсказал будильщик, притравливая эконома на Епифания. Островной отшельник жил по своему смыслу, сам себе господин; и то, что монах сумел выйти из-под воли будильщика, да еще и выгон, и рыбные ловли с собою оттяпал, особенно угнетало его, не давало спокойной жизни. — Он сам себя на вечную смерть обрек, потакая антихристу, и нас туда увлечь хочет. А ты с отцом Александром позволяешь ему блудить возле и ратиться. А с ним словом перемолвиться — хуже чем в антихристову церковь войти. — Будильщик разволновался, серое изможденное лицо покрылось пятнами, он закашлялся натужно, вытирая кровь рукавом рясы. На беспокойных печальных глазах проступили слезы.

— Ну полно, полно тебе... И монаха притыкают невзгоды, и он упадает в тоску. А ты его подтолкни, чтобы свалился, — переждав, когда чернец умирит кашель, сказал Ефимко и нагнал на себя многодумную пелену. И медведь вроде обликом, а ум лисий: вдруг скинется эконом в мыслях, и не сразу перехмешь ход его размышлений. — Он поодинке, он без дозору. Он грешит, блудодей, и грех свой покрывает и не кается. А нас точит. Вот, по его, дак и ты чертопоклонник. А ты святой. Не ведает он того, что каплями крови, исторгнутой из груди, ты не только себя помазываешь благодатью, но и нам помогаешь спастись... Вот, слышу про поклепы: де, ты пес мой. Не верь: ты побратим, ты мне ближе родного брата. Хочешь, я кровь свою в тебя источу, только чтобы ты подольше пожил? Дай Бог умереть мне раньше тебя! — Эконом удивился последним словам, поперхнулся, тугие щеки его побагровели, и смолевая борода обрела сизый отлив. — Трудно с братией, ой трудно. Как бы мне без тебя? Батько наш, тот на кресте виснет, он напереди нас ко Христу хочет набрести. А ведь на мне скит, на мне братия. Я пригрубый вроде, я лаюсь, но я и потаковщик, аль не видишь? — Ефимко заговорщицки понизил голос, рукою пригласил будильщика посидеть возле. — Я что для тебя открою: хочешь владеть народом, потворствуй ему, не тронь молодых, дерзящих старикам, терпи, если по возвращении найдешь их отпадение. Пусть грызут древних, молодой дракон всегда проглотит старого. Чем чаще отпустишь им прегрешение, тем сильнее они привяжутся к тебе и не пойдут в церкву: что им там делать, где дают одну жену, да и ту не смей кинуть. Отверзай вхождение и исхождение на ложе мужское женщинам и девкам, и тебя почтут мужи, и ты вознесешься. А пойдешь против — низринешься, падешь, полетишь на крылу ветрену...

Чую, что скоро оставлю вас. Мне тесно с вами. Тебя заместо себя оставлю. Но и ты старайся. Нынче же нехристя притужни, пугни еретика с острова...

Недолго и зажился юродивый у Епифания: еще до морозов сошел с Видань-

острова в Великий Устюг, вырыл на краю кладбища нору в земле и возложил на себя добровольную ношу страданий. А Епифаний долго стенал и клял себя за невоздержанность и супротивность, что своей поперечностью и прекословием отогнал Феодора от порога. Вдвоем-то ведь как ладно было коротать ночи! Коли ты занемог, пал духом, молитва на ум нейдет, так другой опять же на страже, вмиг взовопит, подаст голос: де, что без пути лень празднуешь и похоть веселишь? Только накоротке призамгнешь очи, и вновь по-за молитвами прольется внезапный ненатужный разговор без чина и порядка, но чего вдруг память схватит из божественного, иль над чем душа вскрикнет. В одну из таких ночей и запетушились монахи, запалились, вошли в прю, да в столь крутую, что юрод и утра не стал дожидаться, убрел в темень.

Тогда Епифаний, лежа на конике у порога, чтобы быть поближе к юродивому, вопрошал в приоткрытую дверь на волю: "Како имя древу тому, на нем же обесился Иуда?" — "Сирнахии..." — откликался Феодор; он забрался на полати у стены и, забросив руки за голову, что-то родное, отзывчивое выискивал в звездном небе. "Коего месяца сотвори Бог Адама?" — "Марта месяца в двадцать пятый день". — "Что суть Риза Господня?" — "Восходи исход". — "Что есть стихарь?" — "Седмь небес". — "Что суть патрахель?" — "Патрахель есть железное столпие, на нем же земля плавает". — "Что есть крест Христов?" — "Крест Христов есть чудо и благо", — ответил Феодор. "Нет, — возразил Епифаний, — крест — это путь из ига земного в благо. — Монах разговорился. Много через руки его прошло крестов — придорожных и оветных, часовенных и кладбищенских, до самых простеньких, нательных из липовой досточки. Ведь всяк покрестосовавшийся, принявший веру православную, тем самым водрузил на рамена свои крестную Христову ношу, чтобы повторить путь Спасителя. — Крест Христов трисоставный, от кипариса, певга и кедра устроен. А всего крестов четыре рода, ты можешь того и не знать. Крест Христов осьмиконечный, коему мы поклоняемся, крыж четырехконечный, крест разбойничь пятиконечный с подножием и Петров крест семиконечный без взглавия..."

Феодор затих в темени, затаился на матери-земле, как просяное зернышко, готовый легко, без страха скатиться с примоста в жирные травы и растечься меж кореньев. Его полые кости вдруг наполнились воздухом, а на спине отросли папарты; Феодор ощущал их перьевое ласковое касанье. Небо пело акафист, и, шаря счастливым взглядом по таким знакомым горним отрогам, где не однажды блуждал, сейчас густо осыпанным алмазными искрами, Феодор вновь ждал встречи с Господом. Юрод уже слышал его приближение, шелест сверкающих риз, таинственный шорох осыпающихся каменьев из-под босых ступней, теплое сладкое дыхание! Вот Он! — вскрикнула душа. Феодор торопливо вытянул из-под кабата тяжелый верижный крест, поцеловал, чуя губами кисловатую пряную терпкость литья, и протянул его встречь Христу, крепко ухватясь за древо. Сначала вроде бы невидимый привратник прошел со свешником, атласные изжелта блики света скользнули из вышин к земле. Потом отомкнулось, что-то стронулось в занебесье, оно как бы разъялось наполы, раздернулся тяжелый запон из золотного аксамита, и в неровном колышущемся проеме показался Господь: голова Его была слегка приоткинута, и отнесенные воздухом шелковистые волосы струились позади длинным косым крылом. Так Спаситель торопился на землю, чтобы успокоить, утешить его, Феодора. И монах заплакал счастливо, улыбаясь и глотая слезы...

И тут для озорства иль для насмешки самозвано явился соглядатай, сатанин угодник, и нарушил встречу; это Епифаний спросил в притвор двери, зажмурясь от внезапного ветрового порыва: "Монасе, а что есть образ Господев?" И голос Епифания спугнул Спасителя: Он наотмашь призакрылся плащом, скрывая лицо, и тут же аксамитовый запон с треском задернулся, и в том месте прошила небесную твердь голубая молонья.

"Ты что, похоть веселишь да шевелишь?" — Не слыша ответа с воли, Епифаний поднялся с коника и выбрел из келейки. Ему померещилось, что возле хижи кто-то стенает и горько, со всхлипами причитает. Темь гудела, таинственно пронизываемая сполохами, наискось на землю, осыпая каленые искры, летели звезды, распустив хвосты, серафимы играли на накрах торжественную песнь Пресветлой. Таращa глаза, монах вгляделся в пристенок, где были сбиты полати,

но никого не обнаружил и спросил с тревогой, навязчиво: — "Эй, братец! Ответь велегласно, что есть Образ?"

Рыдания оборвались, от стены грубо, с жесточью донеслось: "Это бесова проделка. Все иконы надобне сжечь! Вы не верите в Бога живого и поклоняетесь мертвому!"

"Бог невидим, и не нам его зреть. И для того даден образ Божий, и он так же живой, как и сам Господь, — не возмутясь, ровно ответил Епифаний.

"Это мертвый верит мертвому. Вы, еретики, заблудшие, и спасения вам нету, — лихорадочно бормотал Феодор. Он стучал кулаком о дощатый примост, будто забивал крышку гроба, и унывно так бренчали верижные цепи. — Всякому человеку можно Бога умными очами видеть. Ежли Бога не видеть,то закоим такой Бог? Сладчайший прост, как все мы, Он с ручками и ножками, Он бродит по земле, и видим истинным, кто не соступился в грех..."

"Пойдем давай, братец, да причастимся. Бог-то и помилует нас..."

"Причастие еретика есть пища бесов..."
Голос Феодора меркнул, истончался, утекал в землю, иссыхал, как плесень. Растопырив руки, Епифаний слепо, на ощупь двинулся к юроду, он хотел приобласкать скитальца, хотя бы утешающе прикоснуться к нему, снять боль, порвать тенета отчуждения, так скоро сплетенные бесами; но монах внезапно и больно ткнулся пальцами об угол житья, расшиб в кровь и понял, очнувшись, что заблудился. Он с великим трудом нашарил дверь в келью, а когда вернулся со свечником, Феодора Мезенца уже и след простыл.

...И неуж то был демон в обличьи ангела света? Он испугался света истинного, такого слабого и немощного в ночи, но истекающего от восковой монашей свечи. Ах, я... Ну как же так? — спохватился Епифаний, горюя и смутно страшась чего-то, что натекало извне; он боязливо, с тревогою обвел вокруг себя свечою, гражась ею от нечистой силы. Ровно, сыро, с натягом дуло с реки, тянуло знакомыми запахами воды, кострища, кошенины, рыбьих черев, земли, но весь обжитой родной мир, в который врос кореньем, сейчас был пронизан беспокойством. Иных сторонних звуков вроде бы еще и не было, но они уже надвигались незнаемо откуда. Не бес ли, что ушел без спросу на Вытегру, вернулся в обрат и привел с собой рати? И юрод тот был спосылан, как лазутчик. Заповедано же: не увлекайся виденным, но будь тяжелым на подъем. И вдруг под берегом скрипнула уключина, ударило веслом о нашву, кто-то зашикал, иль захрипел, будто душат его. Епифаний напряг слух, призатенил пригоршней тщедушный огонек, пристально вгляделся во мрак по-за реку. Но все так же мерно дышала вода, испуская в небо голубоватые сполохи. Нет, померещилось... Был подле Божий спосыланный, от самых северных льдов бредет он по земле наг и бос, проверяя нашу крепость, а мы вот ослабли, сами в себе поиструхли, так живо поддаемся чужим наущениям, живому Духу не верим. Да и то сказать: демоны не ищут Бога, но страшатся, бегут Его. Бедный, бедный! — Зажалел юрода Епифаний. Примнилось ему однажды, опутало, де, не верь образам писаным, и тем сомнением исподовольки вовсе расшатал Феодор себя. Иль укрепил? Он свое сомнение взял за веру от чистоты своей, видя вокруг, сколько православных пропадает на торжищах и в кабаках; и где торгуют хлебами и калачами, там торгуют и образами, а пишут их мужики, пьяные небрежением. Феодор мягкости своей боится и оттого буен; он плоти своей бежит и потому постоянно настороже, что уловят в слабости и надсмеются. Не будь талым, как воск, но смиренным, как древний инок, и тогда душа твоя оденется в броню.

...Ой, сколько путаников нынче на Руси, сколько доброго народу сбилось с панталыку, ища Бога своего, видя тщету мира сего. И ежли старшой извратом веры занялся пред очи государя, то дети его — развратом. Воистину, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Да разве бы стал сын, истинно верный и любящий, мать свою обличать пред иноземцем, да казить, как то творит Никон патриарх. Эх, батько-батько, вовсе с ума спятил.

...До времени покинул ты меня, Феодор. Как старца Кирилла на Суне-реке сжили со свету новые блудодеи, так и меня скоро усмирят. Как кость в горле, торчу, как заноза в пяте. Вроде бы и за веру стоят, и крест Христов исповедуют восьмиконечный, и образам православным кланяются, но чтят Иуду, и потому хуже жидов обрезанных, предавших Спасителя. Всяка плоть не похвалится перед

Господом, а они блудом и смешением дорогу в рай творят: запрягли в оглобли вавилонскую блудницу, взгромоздились на телегу всем скопом — и ну погонять, ну вопить, де, отворяй ворота! А тесны врата в рай: куда легче верблюду пролезть в игольное ушко.

...Горе тем, кто зло называют добром, а добро — злом, тьму почитают светом, а свет — тьмою. А коли таковская завелась прызь в народе, то и почнет томить и мучить, пока не выболит касть. Уведомил Господь через верных: "Ей, гряду скоро!" Скорей бы, што ли, Сладенький, ждать-то истомно!

...Блаженное чадо, убредшее в ночь, да пусть не коснется твоей головы Божья гроза, пусть умирится душа твоя, хватившая соблазна, ибо хмель пророчеств коварнее стоялых медов. — Так молился Епифаний за юродивого, что побрезговал совместным житьем из-за словесного сора. — Пусть бежит поперечная душа твоя напрасного надменного гнева, чтобы отличить Дары Духа Святого от мечтаний диавольских...

Тут мысль отшельника сметнулась, отпахнул он волочильную доску, присел на лавку подле оконца, подставил лицо утреннему влажному сквозняку. И так стоскнулось вдруг, вроде оковами по рукам-ногам, навеки приневолил к келейному углу. Захотелось слова дружеского, когда сердца согласно беседуют даже в великом молчании. И пришло на ум: что-то Афанасья Данилова долгонько нету, обещался еще с зимы навестить, передавал с попутьем, де, буду днями, да, знать, дело держит; смиреной мужик, безлукавный, глубоко Бога чтит, его бесам не восхитить, и Никоновы затеи сольют с него, как с гуся вода. Вот ведь в жизни-то как: веком не знавал человека, а после будто Христос наслал, да и уж шестой год, как чадо мое и брат любимый...

Однажды вот так же сидел в келии, занесенный снегами, боронился от бесов, и вдруг за стенкой скрип саней, лошадь заржала: мужик приехал, на дровнях брус свежетесаный. Приступил к оконцу, чужой, вовсе незнакомый, не из этих мест, не скитский трапезник. Сотворил молитву, я ответил "аминь", отдернул пуще доску волочильную. Спинастый мужик в нагольном тулупе, борода в куржаке, за красным кушаком топор, просит с поклоном: "Отче святый, прислан я к тебе Богом и привез тебе хлеба, да четверик ржи, и денег у меня запроси, сколько хочешь, а сделай мне, Бога ради, крест Христов". Впустил. Разговорились. Спрашиваю, де, каких мест и кто направил ко мне, грешному? Да вот, говорит, господине мой, зимним путем ежли, так сорок верст от тебя, а летом и того больше. За болотами живу, за порогами страшными, непроходимыми. Имею жену и чада, и деревню пашеную, и по лесам хожу, зверя бью и птицу. Да, знать, Господь круто пообиделся на меня, уж какое время не токмо уловить кого, но не видал ни оленя, ни лисы, ни куницы, ни зайца, ни тетерева. И напала на меня великая печаль: как пошел полесовать с младых ногтей, не случалось подобной беды. И пришло мне на ум. Есть у нас близ деревни остров, на нем поскотина, и многие однодеревенцы говорят, достойно тут быти пустыни, или монастырю и церкви. Иль хотя бы какой боголюбец крест там поставил, и то порато добро. И те слова запали мне на сердце, и решил я: поставлю-ка я на острове крест во славу Христа.

И было мне видение. Явился ко мне в избу муж светлолепен, весь бел, и ризы на нем белы, и говорит: "Иди на Суну-реку, на Виданьской остров. Там в пустыни живет соловецкий старец Епифаний, он тебе и сделает крест". И вот я бревно посушил, обрусил и привез к тебе в пустынь. Сотвори милость со мною, Христа ради, и любовь духовную! К тебе я послан Богом!

Да может, ты ошибся часом? — говорю. — Может, близ тебя другие грамотные люди есть и к ним ты послан. "Есть, отвечает, в шести верстах погост, и тамо живут поп да дьяк, но не к ним направлен я, но к тебе в пустыню ехал сорок верст".

Ну, делать нечего: взял у крестьянина хлеб, да четверик ржи, а денег не принял. Препоясался монашьим поясом, взял в руки топор и делал крест два дня. И титлу вырезал на кресте и покрыл его крышею, и расписал кровлю. И разобрав его, положил на дровни и с миром отпустил боголюбца.

Потом сказывал Афанасий: де, как поставил крест на острову, и в ту же зиму зверя много взял в угон и на привадах и птицы стреляной и давленой в сильях...

Нет-нет... Спаситель наш всегда обнадежит светлообразных, почестных и

боголюбивых, не кинет в печали и горести, но протянет спасительную десницу. О, Миленькой, явися! Невмочно уже!.. Заждалися!

Но вместо Афанасия Данилова привел Господь в пустынь старца Варлама, и тот принес весть, де, друг наш и брат, отец Ефросин преставился и ныне дивные чудеса творит. А Епифаний больше году укрывался у того Ефросина от никонианской ереси. И решил монах отправиться в путь, на могилке праведника поплакать. С неделю ходил на погост, а вернувшись, нашел свою келью как головню стоящую. И не доходя до пустыньки, пал Епифаний на колени и горько возроптал, уливаясь слезами: "О пресвятая Госпожа, Владычица и Богородица! Почто презрела бедное мое моление и прошение отринула, и приказу моего не послушала, келеицы моей и своей не сохранила, и образа своего не пощадила? Где мне ныне, бедному и грешному, работать и воздать славу Христу? Где мне милости просити у Христа и бремя греховное отрясати, что от юности моей накопилосе? Где безмолвию быти? Где рукоделию быти, я от того питаюся?" И унявши рыдания, поднялся горестный с колен, подступил к келии. А был возле лес приготовлен для сенишек, так весь пригорел, и клеть с кровлею истлела наруже, и возле пустыньки огонь дотла все полизал. И ступил Епифаний в обгорелую монашью хижину свою; и о чудо неизреченное! В кельи чисто, свежо и бело, все убережено, и огонь в келию не смел войти. И печаль монаха обратилась в радость. И воздавая благодарение Христу, пал Епифаний пред образом вольяшным на землю лицом и стал молиться.

Шли дни, и еще до осени подновил монах житьишко особное свое: заново верх нарубил, покрыл кровлю, сенечки пристроил, углы обгорелые досками обшил, печь из речных камней-голышей стяпал на глине. Слава Христу, опять жить можно благолепо!Да недолго и радовался спокою Епифаний. Однажды после трудов праведных прилег опочинути, и только сошел в сон тонкий, как дверь отворилась, и в сенях появился бес. Епифаний хотел его крестом оградить, а бес побежал, вихлявый такой хромоножка. Погнался монах за ним, как за разбойником, ухватил поперек тулова и давай о стену бить с воплями: "Господи, помози мне!" А бес вдруг утянулся из рук, как нитка, только и был. Очнулся Епифаний, слышит на воле шум и треск великий, в распахнутую дверь дым валит. Выскочил вон — и отшатнулся: наруже пламя в небо дышит сажен на шесть и приступает к келье, норовит слизнуть. А дрова, что на зиму были припасены, и карбас, и иного лесу немало — все уже пригорело. Кинулся Епифаний обратно в пустынь, упал пред образом медным вольяшным, воздел руки, взмолился: "О Пресвятая Богородица, помози мне! Сохрани келеицу мою и твою от огня!"

И о чудо! Огонь отступил...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Неодолима, велика, тайна, темна Сибиря, и нет ей предела. Ежели железо есть ржа, а камень одолевает стужа, рассыпая его в прах, то какому надобно уродиться человеку, чтобы укорениться в молчаливой, безотзывчивой земле и назвать ее тоже Русью, отчим домом. Войдя в Сибирю, Русь почуяла себя воистину великой.

Много попов, сосыланных патриархом за Тоболеск по самой малой провинности, угасло по Енисею и Лене, и даже вздоха малого не донеслось оттуда от терпеливцев. Но зато прибавилось по чумам и ярангам и берестяным хижам православного люду. Вот и опальный Аввакум как в воду канул. Да полноте, христовенькие, был ли на свете еретник, иль причудилось? Но вот редкие вестки со случайным попутьем погодно уведомляли Москву, де, жив еще попишко, не угаснул строптивец духом. В Братске с ползимы отсидел в острожной башне за несносимый норов, за прикиды и гиль. И под кнут клали походного священницу, и в плети, и батожьем потчивали батюшку пашковские казаки, и просто дрыном, иль что угодит под руку, чтобы утишить попа, но тому неймется однако, неустанно проповедует на всех росстанях, де, грядет, уже на запятках время антихристово, патриарх у сатаны за главного шиша, а воевода Пашков у того в пособниках. И еще еретник подговаривает, что не было воскресения Христова, и, де, Исус живьем сходил в ад и там все высмотрел, а вернувшись на землю, доложил народу...

Не гоже бы Афанасию Пашкову попа бить, грех великий Божьего трудника нудить всякой нужою и морить голодом, но душа порою не стерпит смуты, и тогда теряет воевода всякий ум. Да и то: в лютых нескончаемых путях по неведомым землям, в крайней тесноте, гладе и хладе, десятый год средь дикого народу, когда всякий разброд в отряде гибелен, надобно так ужиться, чтоб всякий из ратных стал друг дружке за сродника, за крестового брата. И ежли случаем заведется в отряде хотя бы один неслух и змий подколодный и давай мутить воду, строить козни, и тогда погибель всем, конец государеву промыслу и самой доброй затее. Самовластен и дуроват Пашков, железной рукою правит в походе, заглубившись в Даурию далече от государевых очей, но служивым за воеводою — как за верной надежею, за крепостным заплотом; в чужой-то земле на краю света это тебе не у тещи в гостях, и чтобы выжить, вернуться в Русь в родные домы, надо любую надсаду стерпеть и чужую волю. Оттого Аввакум служивым сплошная досада, ибо своей непокорливостью прямо в ямку ведет. Уж лучше бы ему одному помереть, чем всем разом, — жаловались казаки царю в челобитной, просили изволения покарать заводчика и смутьяна смертной казнию, иначе всем пропасть в Даурской земле, ибо шатания и трус в отряде, и уже не одного сотоварища сыскал себе в потаковники бывый московский протопоп. Тяжело Аввакуму в пути, чего говорить, но ведь и служивому под лямкою куда тяжельче.

Не место бы и не время дуровать священцу, лезть на рожон, изворачиваться из кулька да в рогожку, всяко выказывая свой норов. Мучимый воеводою, он сам меж тем нескончаемо мучил Пашкова сутырностью своей, поперечностью и несговорчивостью. Не мир он нес в многотрудное дело, но неутихающую свару. Мучили они друг друга, и загрязшая на сердце жесточь, казалось, была неодолима и грозила верной смертию одному из поединщиков. Десять лет, как бы прикованные цепью к одной дубовой стулке, они несли свой крест, не в силах разлучиться; они словно бы срослись в одно двуголовое тело, как бы давши обет пред Господом, де, ежли погинет один, то и другому на том свете будет вечный суд. Молясь на стану, иль в лесу, убредши по дрова, иль в подводе едучи, иль на одиноком правиле, отступя от людей под гору, многажды проклинал протопоп воеводу, сулился того постричь в монастырь, желал муки нестерпимой не в этой жизни, так в будущей. Везде бывал бит Аввакум через свою натуру, но там, в Руси, можно было сбежать под прислон московских друзей, а тут за кого притулишься? И в челобитных государю Аввакум так хитро жалился, так себя искручивал, чуя и свой грех в затяжном споре, так боялся выглядеть наушником и последним ябедником. Да и то правда, протопоп! Христос терпел и нам велел; страданием жизнь украшена, говаривали русские пустынники. Казалось бы, такое счастие пострадать вдруг выпало судьбою на долю твою, вот и радуйся, терпи, сердешный, не гнуси, не доноси в престольную на ближнего своего, не плакайся на служивых, что стерли в пути не одни подочвы, а нет людей неизносимых, вот и повалились некоторые под крест вдали от родимого погоста.

Но слаб порою и самый гордый человек, и муки телесные перемогают духовное терпение. О, Господи! — взмолится порою Аввакум, бияcь головой о землю, — дай мне сил отгрестись от сует! Не игрушка душа, чтобы плотским покоем ее подавлять.

Плач Аввакума достиг государева слуха на третье лето, как патриарх сошел со святительской стулки и осиротил церковь. Афанасия Пашкова позвали с воеводства, и он поехал в Россию со своими людьми. Спустя месяц отправился следом и Аввакум со своими чадами и домочадцами, немногими ранеными и хворыми. После изнурительного пути средь кочевых инородцев наконец приблизился обоз к Енисейску, и тут напала на протопопа кручина. И спросил он совета у Настасьи Марковны: "Жена, что мне делать? На дворе еретическая зима. Говорить мне или молчать? Ты и дети связали меня". И ответила верная супружница: "Я с детьми благословляю тебя. Дерзай проповедовать слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи. Силен Христос и нас не покинет! Иди и обличай еретическое заблуждение..."

Спеши, протопоп: тебя на Руси ждет слава.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Но ничто не предвещало в этот майский день дурна...

После утренницы, откушав с келейными старцами хлебца с тяпаной капусткой и запив монастырским квасом, Никон по обыкновению отправился на послушание. К монастырской броннице притянулись днями три насады с кирпичом, и, приладив к плечам козу, патриарх встал в череду наймитов-работных и приписных разгружать посудину. Он чуял каждой волотью громадного тела, как упруго прогибаются под его тяжестью дощатые сходни, вроде бы предательски похрустывают, готовые лопнуть, и от этого чувства Никону тоже было азартно и яро. После каждой ноши он утирал лицо скуфейкой и как-то радостно, с близкой слезою озирал людской рой, ладно облепивший Божье дело. Гость московский, дьяк Дементий Башмаков, собрался уезжать, но вот остоялся почто-то на взгорке возле штабелей, так хорошо ему показалось средь монахов. По-весеннему было стыло, торопливо сбегали к окоему белесые пуховые облачки, обнажая стеклянное небо, изнутри припорошенное изморосью. В Божьих владениях нынче студливо. Дьяк кутался в суконную на белках шубу и озирал с крутого берега Истры работное скопище, по-муравьиному кишащее средь завалов и исполинских, циклопических груд кирпича, щебня, бревен, извести, мрамора, вывернутой наружу земли и песка. Но из этой неразберихи, из странного всеобщего разора в рыжей от чавкающей глины, вымешенной сотнями ног чаще с рябыми водомоинами, из сутолоки и гомона неумолимо прорастала исполинская каменная гора, странная среди лесного, вспенившегося водополья. И деревянная церковка Воскресения Христова перед этой каменной варакой казалась игрушечной. Истра упруго проливалась, всклень налитая вешницей, насады, притянутые пеньковыми канатами, вихляли кормою, как уросливые калмыцкие кобылицы. Скрипели сходни, подгуживали волынки, в лад носильщикам бил вощагой юный тонкий монашек, зажав меж колен барабан. И дьяк вдруг позавидовал Никону, когда взгляды их однажды скрестились. Башмаков почувствовал, как бы со стороны озирая себя, что именно у него, царева спосыланного, холодный, окаменелый взгляд; испугавшись своей чужины, дьяк поспешил оттеплить водянистые глаза, нагнал на синюшные болезненные губы талую улыбку. У Никона же было заветренное, жаркое лицо с мелкими горошинами пота, и по западинам впалых морщиноватых щек разлился кирпичный румянец, и черные глаза тоже разбавило чем-то влажным, розовым, молодым. Вот в опале вроде бы человек, сам на себя нагнал такую смуту, сбежал из престольной, увлек на своих плечах груз неиссекновенных забот, и вроде бы вся Россия, лишь на миг замешкав, охотно потянулась вслед за патриархом, чтобы решительно впрячься в лямку церковных забот. Этому ладу на берегу Истры и позавидовал дьяк.

Там, в Москве, по приказам и службам, в дворцовых сенях и на Спальном крыльце, они меж собою охотно прижаливали патриарха, и мало кто нудел на него, позабывши прежние клеветы: и у себя в хоромах, иль гостюясь, за кубком стоялого меда перетирая Никону кости, они внезапно опомнивались, замолкали и неожиданно прилюбливали беглеца, с недоумением оборачиваясь на прежние лета, когда Никон своей непомерной заносчивостью, нетерпимым голосом и грубыми повадками постоянно раздражал их, возомнив из себя великого государя. И теперь в тех днях служивые вдруг отыскали особый надежный смысл, и сугреву, и спокой. Гос-по-ди!.. Осиротели... Отца не стало нынче, отца, и то, что Москва оказалась без батьки, без отеческого строгого призора, повергало многих православных в уныние. Да и как забыть теперь тот день, когда уходил Никон с престола: толпа богомольников, залившая Ивановскую площадь, согласно повалилась ниц, лежала у ног патриарха, а он, возвышаясь средь чад своих, слыша слезы и моления их, однако отошел прочь с Москвы, как когда-то апостол Павел покинул Милет...

Служивые видели, как по-прежнему тоскует царь, и это печалование, постоянные примолвки государя, де, нет ли вестей с Истры, передавались и приказным. С этим чувством тайного раскаянья попадал дьяк к патриарху, чтобы поднести от государя жалованье: вино церковное, муку пшеничную, мед и рыбу-белугу, а

нашел в пустыне безуньвного монаха, с охотою вросшего в заделье, как дубовый выскеть. И в кипящем муравлище Никон отчетливо виделся отовсюду, как бы обособленный в людской толчее: он выделялся своею статью, дородностью, горделивым выносом лохматой, растеребленной ветром головы, едва принакрытой грязной еломкой. Ах, чудо-великан! ну как тут не молиться на него! — сердце Дементия задрожало.

За спиною лошадь нетерпеливо вскинула голову, звякнули, пролились железные кольца повода. Пора ехать. Дьяк, неожиданно робея, приблизился к патриарху, попросил благословения, неловко встал на колени, сдирая с лысеющей зябкой головы лисий треух. Гроза приказа, пред кем заискивали дворцовые служки, вдруг собрался плакать, прикусил нижнюю губу. "Ну, будет тебе, будет. Подымися, Дементий, — прочувствованно сказал Никон, приобнял дьяка за плечи, неожиданно легонького, сухого, вроде бы шуба на белках облекала не человечью плоть, но полую, звенящую тростинку, поднял, поставил на ноги. — Скажи царю-батюшке, де, люблю и милую, и Марью Ильинишну, голубушку, такожде люблю, и детишек ихних, и сестрениц. Всех люблю и ежедень молюся за них. И благословение вчера спосылано. Ну, с Богом. Трогай!"

Подскочил подьячий, помог взобраться дьяку на лошадь. Башмаков долго нашаривал походное стремя, понурившись, низко сронив голову, словно бы неудержимая невидимая сила приневоливала остаться.

"Погодит-ка, Дементей, провожу. Как-никак гость дорогой, всамоделишный, не десятая вода с киселя!" — добавил Никон скороговоркой, неожиданно веселой, но и тревожной. Он сбежал к реке, ополоснул сапожишки, плеснул в лицо, утерся еломкой и скоро, оскальзываясь на глинистых покатях, с одышкою поднялся в гору. Дьяк понюгнул лошадь, следом тронулись пятеро стрельцов и подьячий; патриарх, не чинясь, взялся за повод, размашисто пошел возле. Попадали мимо в монастырь работные, и всяк низко кланялся, потупив взор, еще издали сдирая с головы колпак; тянулись разбитой дорогой телеги, тяжело груженные кладью, и возницы, завидев патриарха, спешили своротить, притормаживали возы. Ни панагии на широкой груди Никона, ни архирейского посоха, ни драгоценной митры, венчающей святителя, ни златоблещущих риз, ни долгополой услужливой свиты, ни спешащих попереди рынд, грозно рычащих встречным: пади-пади! Но отчего же в этом высоком, грузноватом чернце с рыжими разводами на рясе, в растоптанных сапожишках всеми с трепетом сердечным безо всякого сомнения узнавался Отец отцев?.. И снова дьяк позавидовал Никону, и с вышины седла приценился к вые патриарха, обметанной густой седеющей волосней.

Никон, как лесовой зверь, почуял опасливый, нехороший взгляд и быстро, по-волчьи оглянулся, вроде бы не поворотив шеи, и вдруг властно, с какой-то суровой переменою в голосе велел поручить лошадь стрельцу.

Они сошли с торной дороги в мелколесье, на хлюпающую мшистой водяниной тропу, спустились в лощину; снег уже слинял, и сквозь травяную ветошь проклюнули зазывные желтые первоцветы. "Крин измены, но мы рады ему, — с намеком сказал Никон и растоптал солнечный венчик из остроперых лепестков. Он с видимым отвращением вдавил цветок в жидкую дерновину и как-то странно перекинулся в разговоре: — С поляками замирились?"

"Нет... Под Конотопом проиграли. Ждем пана Выговского под Москвою", — ответил дьяк. Патриарх до черевной тоски уже томил его.

"Святая кровь христианская из-за пустяков проливается..."

Дьяк с торопливым испугом, словно бы чуял за кустами наустителей и подговорщиков, взметнул взгляд, стараясь прочитать мысли патриарха, но тот уже двинулся тропинкою вперед, размашисто, валко, и костяные четки, свисающие из горсти, хлестались о замаранный подол рясы.

"Как жеребец... Гордоус, надменный мужик. На нем бы лес возить, — пронеслось в голове, и дьяк противу желания с ненавистью воззрился в спину патриарха. Дьяк был мал, неказист и сух, и вот эта качающаяся спина, этот рогожный куль с солью, этот чувал, обтянутый рясою, казалось, заслонял весь мир, мешал идти. Дьяк жалконько суетился, с перебежкою норовил подравняться к Никону, но все не угадывал шаг, а отставая, соступал в корытце набитой тропы. Так семеня, он и передавал вести:

"Беда одна не ходит. Вот и в Москве шалят. Развелось шишиг с ножиками, и Бога не чтят. Жизнь человечья ломаного гроша не стоит. Худо стало без тебя, Никон. И царь за тебя боится... Просит съехать в безопасное место... Есть крепкий монастырь Макария Калязинского".

"Залучить меня хотите? Не проси, и не поеду, — отрезал Никон. — Лучше мне быть в Зачатьевском монастыре в тюрьме... Я ли вас, неслушников, намедни не упреждал, еще как на Москве сидел: скоро быть беде. Так и случилось. А вы на меня роптали, будто я Выговского чествовал. Но ведь при мне никакой неправды от него не было. а теперь он отошел от великого государя неведомо почему. И ты, Башмаков, приклепывал на меня, знаю; де, что я в государевы дела лезу, топорки строю да войско лажу; де, не монашье то дело. Все! Развязал вам руки. Радейте, стройте, ладьте, залучайте врагов во друзья, поманывайте гостинцем. Бог в помощь! А я молиться за вас стану..."

Никон швырял слова за спину, как каменья, не заботясь, слушают ли его, и не таясь чужих ушей. Вода-снежница прыскала из-под подочв на подол рясы. В плотной тишине пестрый дятел тряс червчатой гузкой, монотонно долбил сушину. С ближнего болотного прыска с шумом снялось гнездо чирят. Дьяк вздрогнул, разом вспотел, содрал лисий треух. Вспыхнул на последние слова. Остановился, осердясь, крикнул вослед уходящему Никону:

"Я на тебя не приклепывал, святитель! Напраслину молвишь!.."

"Не кричи, не глухой! Чего расщеперился, как глухарь на кочке! — окоротил Никон, дожидаясь дьяка. — Не говорил так, но думал. Не бойся слова сказанного, но умысленного. Знаю вас, чертово семя. Все из одной черниленки. Все с ножиками за голенищем. Ладно, ладно, не дуйся, проехали. Поди сюда. Я чего хотел сказать! С людьми ладить надо. Вы все "дай" да "подай", а никто не скажет "на". Мне нынче стоит лишь пару строчек написать Выговскому, и он будет по-прежнему служить великому государю и меня послушает. И прежде во всем добро меня слушивал, только надобно полячишек держать умеючи. Они люди рассыпчатые, оттого и с православия скинулись. Чуть зазевался — меж пальцей протекут, и не ухватишь. Но верное слово слышат и души православной дрожат, еретники... От Бога отстали и к сатане не прилепились, растеклись дижинью. Поперек батьки в пекло бегут..."

"Себя тетешкаешь, самохвал, гордыню тешишь... Ежли такой боевой, да вострый, да все в друзьях ходят, пошто тогда медлишь, государю не поноровишь?" — хотел спросить Дементей Башмаков, но вовремя осекся, прикусил язык. От грозовой молоньи кадушкой не прикроешься: и там ожгет.

Тропа вдруг вильнула вверх из лощины, выскочила на припек, обратно к Истре возле часовни Элеонской. Отсюда, с крутизны, весь мир открывался, как с гляденя: излука полной, блистающей серебряным телом реки, фиолетовые волнистые лесные увалы, рыжие нагие поля с белесыми прысками натекшей снежницы, серые чещуйчатые шатры церквей, там-сям прободающих купол распалившегося к полудню неба. И вся эта приглядистая сыновьему взгляду отчина была принакрыта легкой колышащей золотистой парчою, и всякий пуховый облак, сизый с исподу, ослеживался на пажитях и водах обманным, убегающим прочь существом. И от дальнего зубчатого окоема, похожего на крепостную стену, до ближнего речного откоса вся Русь округло, согласно и слитно вылепилась в гостевую братину, полную вешнего медового воздуху, коим опьянится и возрадуется самая заскорбевшая черствая душа... Царь любил ходить по Руси, он хорошо знал лесные засторонки и охотничьи ухожья, и не случайно вот здесь однажды палось ему на ум поставить обиталище Христово, Новый Иерусалим; в старом жиды распяли Сына Божьего, не поверив Ему, а в новом, по возвращении, Сладчайший будет с любовию царить веки вечные.

Вот и дьяк Башмаков, остоясь на круче, невольно захмелел, голова его вскружилась, и почуял он себя молодым, ладным и беззаботным.

С увлажненным блескучим взглядом дьяк благосклонно обернулся к Никону, стыдясь недавних темных мыслей, но увидел на лице патриарха усмешку и побагровел, как бы уловленный в грехе. И снова какая-то муха укусила дьяка. "Он презирает нас, а мы-то пошто любим его?.." — подумал он мстительно. Но патриарх скрылся в каменной Элеонской часовне, поставленной во дни духовной приязни, когда отыскано было место для монастыря. Дьяк вошел следом. Никон

знал, куда привести гостя. Они, крохоборы, там, при дворе, празднуют победу, уже похоронили и отпели патриарха, но не ведают того, что людей, залученных в нети любви, даже смерть не разлучит.

В часовне стоял высокий крест, светили лампадки по углам ее. Никон посторонился, пропустил дьяка вперед, заслонил собою проем двери, отнял путь назад. Ах, лукавец, ничто не сделает без простоты.

Вместе с Никоном дьяк послушно повторял путевую молитву, но глаза-то куда деть? и дьяк невольно читал свидетельство, вычеканенное на кресте, кое помнил всяк богомольник в окрестностях престольной: "Благоволением благочестивого царя Алексея Михайловича и светлейшего Никона патриарха в знамение их общей любви и совета, к начинанию святые обители и наименованию, еже есть Новый Иерусалим".

Вот тебе, дьяк, щелчок по носу: всяк сверчок знай свой шесток. Дьяк проглотил намек. Но Дементий Башмаков тертый калач, его всухомятку не прожуешь. Вышли из часовни, и, напяливая лисий треух на голову, дьяк вдруг искательно, между прочим, проронил: "Ваше святейшество, царь-государь просит, чтобы ты подал со мною благословение избрать нового патриарха".

Царь просил лишь выведать осторожно в разговоре; но дьяк на миг позабылся и позволил лишнего. Никон побледнел, загар схлынул с лица. И этой минуты дьяку было довольно.

"Но кто поставит патриарха без меня? — торопливо воскликнул Никон, мгновенно накаляясь. — Кто митру положит на него, а? Кто даст посох с патриаршего места? Я с престола сошел, то правда, но архирейства не оставливал и сак, и омфор взял с собою. Так и передай в Верху. Будет, великий государь изволит мне быть в Москве, я новоизбранного патриарха поставлю и, с архиреями простясь и подав всем благословение, затворюсь в монастырь..."

"Зря дуруешь! С огнем играешь, патриарх! Как бы опосля на воду не пришлось дуть!" — вдруг, не чинясь, остерег Дементий Башмаков и, приседая в коленках, споро пошел к дороге. За кустами у обочины его дожидались стрельцы.

"Рысь к капусте не привадишь", — с облегчением подумал дьяк, умащиваясь в седле.

Никон спохватился, что последнее слово осталось не за ним, закричал вослед, замахиваясь четками: "Знайте там!.. Днями на Белое море сойду закладывать Крестный монастырь. Так и скажи государю, де, съехал патриарх с Истры и долго не будет!"

2

...Вишь вот, многих ты, милосердый, спосылывал ко мне с милостию, а сам затаился, яко лис у курятни, — оскорбился гораздо Никон последними словами дьяка; и так у Никона защемило на сердце от обиды, так невмочно стало, что дух переняло. Патриарх опустился в затенье на дубовую лавку возле часовни и мрелым взглядом уставился в заречье, где бродили плотогоны и кокотами сталкивали замелившиеся бревна обратно в воду. — Давно ли стольник Афанасий Матюшкин привозил гостинцы, окольничий Федор Ртищев был, клялся в вечной любви, Алексей Никитыч Трубецкой приворачивал с похода, просил благословения, стольник Матвей Пушкин привозил государевы милости и обмолвился, де, Алексей Михайлович кручинится от размолвки и ждет святителя у себя в хоромах. Выходит, всё враки? Он вот что задумал: он меня к болотной павне подвел, да тихохонько сзади норовит спихнуть, де, поди, братец, уряженной дорогою, ступай, яко Христос хаживал по водам... Но я-то не Христос, меня, грешника, и земля-то едва носит; порою вроде бы и по твердому бреду, а будто по болоту. Оле! Один я нынче, как пест без мамки, как пес, лишен не только твоего заботного взгляда и медвяных слов, но и крох с богатой трапезы. Был я некогда во всяком богатстве и единотрапезен с тобою, не стыжусь этим похвалятися, и питан был, как телец на заколение, многими жирными пищами по обычаю вашему... А ныне всяко оболган злыми людьми, оклеветан проходимцами, испакощен злосоветчиками, и всем наветам ты, собинный друг мой, поверил и отворотился от меня, закрыл сердце от моих молитв неприступными бронями.

Ежли ты царь великий, от Бога ставленный для правды, то какая моя неправда пред тобою? Некоторые говорят, де, я много казны взял с собою. Но не себе взял, а для церковного строения, и что дано Воскресенскому казначею во время моего отьезда, и то дано не ради корысти, но чтобы не оставить братию в долгу, чтобы с работниками было чем расплатиться. А другие издержки сделаны на глазах всех людей: двор московский выстроен — стал тысяч десятка два и больше; насадный двор тысяч в десять стал; тебе, великий государь, поднес на подъем ратных людей тысяч с десять; прошлым летом лошадей куплено на три тысячи; шапка архирейская тысяч пять-шесть стала, а иного расхода нет. Святый Бог весть, сколько убогим, сиротам, вдовицам, нищим роздано, тому всему книги в казне... А сейчас пришла весть, что пересматривали в бумагах, лихоимца из меня хотите сделать. Через Афанасия Матюшкина присылывал ты свое милостивое прощение, а теперь поступаешь со мною, как с последним злодеем. Перерыты худые мои вещи, оставшиеся в келье, перечитаны письма, а в них много тайн, которых никому из мирских людей не следует знать, много писем от других людей, которые требовали у меня разрешения в грехах, а это никому не должно знать, даже тебе, государь. Дивлюсь, как ты скоро дошел до такого дерзновения. Прежде ты боялся произнести суд над простым церковным причетником, а теперь захотел видеть грехи и тайны того, кто был пастырем всего мира. Окружила тебя лжебратия и каждое слово мое переметывает; что было сказано мною со смирением, то передано гордо; что сказано благохвально, то передано хульно и такими лживыми словами возвеличен гнев твой на меня... Но и те клеветы не приму в обиду. Миленькой государь, друг сладимый, Господа ради прости, да сам прощен будешь!

Никон вернулся в часовню, припал к оветному кресту, облобызал сокровенные письмена, достойные небесного свитка, и, утихнув сердцем, смиренный, как тихомирный инок, излучая улыбку, потащился обратно в монастырь. Солнце стояло над головою, пора трапезовать. Без чужого догляда Никон охотно опадал, вянул телом, разом дряхлел, словно бы земля обетованная тяжко поманывала его поприжухлую, рано коченеющую плоть.

3

...А в монастыре возле южных ворот бранились. Завидев патриарха, братия расступилась, затихла. Никон взошел на первую приступку лестницы, ведущей в надвратную церковь. Легче крошна с кирпичом носить с насада, чем рассудить мужицкую голку, когда сутырятся, дерзят, бестолково гоношатся селяне, норовя переорать друг друга, надавить глоткой, будто в силе горла и таится вся истина. Эх, дети мои, дети! Никон переждал гам, в сутолоке слов ловя правду. Пятеро чужих мужиков, притиснутые командой стрельцов к стене, однако, посматривали на патриарха без опаски, и даже с некоторой дерзостью, или с вызовом, нарочито ухмыляясь; простоволосые, с порванными рубахами, без опоясок, холопы были туго опутаны сетным полотном в один тугой слитный ком и походили на многоголовую гидру. Тут подступил Александр Лускин, сын боярский из иноземцев, монастырский служивый, наймованный патриархом в охрану, и доложился, что холопишки из поместья Ивана Сытина, уж кой год творят бесчинство и вот сей раз пойманы при воровстве: на монастырском озере втай ловили рыбу для своих нужд. Для пущей острастки, чтоб не повадно было, биты на берегу озера батогами, но не повинились, мерзавцы, а грозились монастырь сжечь. Вот и приведены пред очи: пусть патриарх рассудит своим словом.

"Не ваша рыба... Рыба Божья! Всем дадена! — взовопил крайний смутитель; он возвышался над сотоварищами на целую голову и, видно по всему, шел за атамана. Дерзостник нехорошо осклабился, выказав оскал слитных белых резцов: они сверкнули, как ножи, в огненно-рыжем окладе бороды. Такой ненароком и горло порвать может. — Скоро дышать запретите, Бога забывши! Петлю затянули! Как вас земля только носит!"

"А ведь воровать тяжкий грех, — без гнева, но сумрачно напомнил Никон, помышляя отпустить православных с миром. Изведали науку — и довольно. — Знать, забыли, детки мои, отеческие заповеди. Пришли бы, спросились хозяев, де, рыбки хотим".

"Окромя ямки ничего у вас не выпросишь! Расселись на нашей земле, как окаянные клещи в мошне, — не унимался смутьян. Раскаляя сотоварищей, подговорщик подтыкивал их под ребра свободным локтем. — Вам только бы вино пить, баб блудить да деньги в подголовнике считать!"

"Уймися, лиходей! Иль мало нагрели? — подскочил Лускин, сын боярский, оголовком плети решительно пихнул сутырщика в уже намятый батогами бок. — Не дерзи, ворина. Сумей ответить, пакостник. Патриарх пред тобою!"

"Не отец он мне-ка, самоставленник! — сожигал за собою мосты мужик; он побледнел лицом, но взгляд его, несмотря на бешенину, был мертв, хвачен изнутри морозом. — Последний кусок из горла вынял... Расселись на наших отчинах... Вот ужо пустим петуха под гузно, поджарим мошну, больно хорошо! Побежите с Истры прочь, как мыши, только и видали вас... А вы-то, миряне, что языки проглотили? Режьте их ножиками! Славное дело! Иль за правду боитесь стать?"

...Совсем изгалился человек; червием изнутра выпотрошен. Никон съедал подговорщика взглядом, словно бы взывал: опомнись, пока земля держит. Но тот не унимался, и в груди Никона заклубилось нехорошо, изтиха, душно накатило на сердце. Сам мертв, негодяй, уже при жизни сей, и других тянет в пещи вааловы, бес. Он Господа Отца поминает всуе, а сам хочет дом Сына Его Исуса пустить в распыл. Страшнее-то ничего не мог измыслить? Боже, Ты рождаешь таких извергов всем нам в поучение, чтобы мы воистину знали в обличье, кто есть шиш антихристов...

"Ты товарищей своих не науськивай! — закричал Никон грозно. — Сам упадаешь в бездну и других к чертям на расправу тянешь. Думаешь, там пироги да перепечи? Мало тебя били, разбойник. Он дом Господень жечь... Я тебя помаслю батогами по ягодам, чтоб не сесть. Валите его наземь, да еще поучите хорошенько. И братовьев его, изгильников, пока совсем не испропали".

Атамана сронили на кирпичное крошево, живо содрали порты; ветхий зипунишко из крашенины, обычный рыбацкий сряд, натянули на голову, и двое стрельцов, расстегнув кафтаны, принялись охаживать строптивца, но лениво, без натяга, прижаливая сердешного. Прочие мужики сутулились возле стены, исподлобья глядя на патриарха. Никон замедлил на приступке, что-то неволило его остаться на миру. Может, покаяния ждал? Синие жгуты проступили на белой сухомясой спине, но атаманец не просил пощады. Его лишь подымало, корчило, как рыбу. Боже, — подумал Никон, — как глубоко угнездился в супротивнике дьявол. Ведь не рыбы жаль, но изнывающей понапрасну души человечей... Ну, повинися же, черт полосатый! Ну, повинися! — все воззвало в патриархе. Он, казалось, прожигал взглядом безвольно растекшееся тело, оседланное с ног и головы дюжими приказными.

Никон вдруг спустился с приступка, подошел вплотную к вору. Сказал, принаклонясь, с досадою:

"Эх, сан не велит. А то бы снял скуфью, вызвал бы тебя на кулачки и наволтузил, снял кислу шерсть. Бейте его, робятки, пуще!"

"Палач ты, — донеслось с земли глухо. Шея холопа побагровела, казалось, сейчас изойдет рудою, если хорошенько надавить коленями. Стрелец, сидящий на голове христовенького, пуще вдавил ее в землю. — Не отец ты, самоставленник..." — упрямился непокорник.

"Это ты плохой отец, коли отпрысков не учишь, и худой сын был, ежли родителевым словам не внял. Аль запамятовал, как в Домострое? Лупите его, робятки, пока не вспомнит, а я стану в лад вам наставление ему нудить... "Казни сына своего от юности его... и покоит тя на старость твою... даст красоту души твоея..." Чего не вопишь, неук? Причитывай жалобней, вопи; де, пощади, батько, дай послабки, дурак был. Господь и помилует..."

Надсмехался патриарх, тешил сердце, иль вправду прижаливал гордеца, узнавая в нем себя? Но атаманец, впившись зубами в заскорузлую, смешанную с кирпичным крошевом землю, лишь монотонно мычал, и этот протяжный на низах вой, перемежаемый зубовным скрежетом, впечатлительней всего говорил о той злобе, что пожирала сердце мужика.

"Ну и ярись, дурень. Себе станет дороже. Вместо хлебов житенных ествяных кусай колачи глиняны. Тогда слушай дальше. — Палки ударяли мерно, шлепали

глухо, будто выбивали перьевую перину, а патриарх, тоже войдя наперекосяк, вспоминал поучение из Домостроя, почасту запинаясь на полуслове: — "И не ослабей, бия младенца: аще то жезлом бьеши его, не умрет, но здравие будет... ты бо бил его по телу... душу его избавишь от смерти". Вот, злодей, как я радею, пекусь о тебе. Плачу по душе, испакощенной грехами, от гибели отвращаю, а ты мне конца молишь, неблагодарный... А вы чего? Эк разошлись чужие ребра сосчитывать! Помолотили — и хватит!"

Никон взмахнул четками, остановил порку, размашистым крестом осенил столпившуюся вокруг безмолвную монастырскую братию и трудников, сошедшихся на выть, и, понурясь, загребая сапожишками грязь, ушел к себе в келию трапезовать с совсельниками, ближними монахами-старцами. Он даже не узнал имени сытинского мужика и сразу позабыл холопа, так дерзко сетовавшего на патриарха. Но досада в груди остоялась, она горчила еще от слов московского дьяка, а сытинский холоп лишь приумножил печалей. Так помнилось Никону, что и сосед-дворянин, с коим некогда и не лаялись, лишь с царева извола стал потаковником, научил крестьян лазать в чужие сады. Разве ж сам-от Иван Сытин посмел бы тягатися с патриархом, ежли бы не дворцовые наустители, что сеют плевелы во все земли.

Мрачный Никон сел за обед; куда и подевалось то утреннее азартное чувство, с которым творил послушание. Трудники, уработавшись, нынче кормлены в трапезной капустой квашеной со свининой, а патриарху и его келейным четырем монахам черный дьякон Феодосий, новый любимец Никона, принес брашно: севрюжью ушицу в медных росольниках, по горшочку гороха-зобанца и киселю грушевого. Помолились, как водится, испросили у Господа ублагостить плоть, авось и душа плотнее заживет.

Дьякону Феодосию, сбежавшему на Истру от крутицкого митрополита Питирима, Никон всяко потакал. И тут усаживал с собою за еству, трижды приглашал за стол, а дьякон отнекался, сказался, что преизлиха удоволен святительскими молитвами. Застыл около чулана, опершись о косяк; лицо бледное, какой-то мучнистой рыхлой белизны, обметано непролазной черной порослою, и из этой шерсти нос, будто дуля, выпирал мясистым торчком. Никон не раз обернулся, томимый предчувствием, не донеся ложки до рта, щупал взглядом присадистую фигуру дьякона.

"Ты бы уважил нас, Феодосий, присел. Молитвою сыт не будешь. Чего сторожишь, как вратарь у двери? Будто бедный родственник. Сам патриарх зовет. Ись-то коли не хочешь, так посидел бы с нами", — вновь напомнил один из старцев, уловив беспокойство патриарха. Дьякон не ответил, лишь хмыкнул. А Никон вдруг сказал невпопад; знать, мысль в голове сидела гвоздем:

"Чую, Москва меня известь хощет..."

"Полно тебе, святитель. Напраслину думаешь..."

"Нет и нет. Я им поперек горла. Будто ерш стогодовалый. И Башмаков намедни с умыслом навещал. Велит ехать в монастырь Макария Калязинского. Царев наказ, де..."

"А с какой это стати?"

"И я говорю: чего там забыл? Я лучше в зачатьевскую тюрьму сяду. Так и велел передать государю... Они там спят и видят, мои враги, как бы я помер поскорее да место освободил. Питирима я за уши из болота вытащил. Аль не помните? А ему нынь не терпится сесть на патриаршью стулку. Так высоко возомнил о себе, дурак. В архипастыри метит, а сам даже и того не знает, пошто он человек". — Никон, обжегшись ухою, бросил ложку на стол, оглянулся к диакону; дескать, чего молчишь, поддакни. Феодосий лишь на миг странно замешкался. Иль почудилось святителю?

"Подавятся... Не едать щуке ерша с хвоста", — пробасил диакон и вышел из кельи, не испросясь.

"Кабыть, уха нынче не сладит, — вдруг вопрошающе пожаловался тщедушный старец Феофил, отвлекая Никона от горестных мыслей. — Кабыть, рыба худо чищена. Не с желчью ли сварена, а?"

"Блазнит... Это у тебя в роте горько. В твоих летах ныне все видится горько".

"И мне незанравилось, — поддержал Никон, решительно отодвинул медную глубокую мису и с прищуркою, низко наклонясь, вгляделся в уху, мерцающую золотистой, с искрами пленкою, в край севрюжьего разварного звена с пер-.

ламутрово-желтоватым мясом. — Может, жир горчит? Не обрезали, бездельники, с брюшка, вот и горчит. Я им потрафляю, мягкосердый, а они дело забыли. — Никон звякнул в колокольчик, позвал служку. — Изведут когда ли великого государя ино не по умыслу, но лишь из лености. Не узнаешь, отчего и помер".

И как в воду глядел Никон. Старец Феофил при этих словах сорвался из-за стола и, сложившись вдвое, затыкая рот кулачком, скрылся в дверях. И других сотрапезников запозывало на волю: бледные, как полотно, они, шатаясь, приползли в келью, завалились на лавки и с охотою приготовились умирать. Патриарх крепился до сутемок, борол недуг молитвою и святою водою. Потом причастился. Но зато свалило Никона круто и с шумом, как вековой дуб под бурею, и давай катать и корчить.

Монастырь всполошился, разыскали дьякона Феодосия, сразу заподозрив того в чаровстве. Нашелся у него и подручник, портной мастер Тимошка Гаврилов. И пока патриарха и иноков-старцев отваживали от смерти безуем-камнем и индроговым песком, приказной дворянин Василий Поскочин уже вел расспросы подозреваемых...

* * *

Изведав девять плетей, дьякон Феодосий более не запирался и подал собственную челобитную, в которой поведал, де, послал его в монастырь отравить патриарха крутицкий митрополит Питирим и чудовский архимандрит Павел, посулив за то черному дьякону новгородскую митрополию. Тимошка же сказывал, де, Феодосий учил его делать какое-то изводное зелье из кореньев в монастырской бане.

Двух татебщиков-чаровников отвезли в Москву в разбойный приказ. Государь приказал подвести дьякона и портного мастера под пытку. И Тимошка вдруг заперся; и когда его трижды подымали на дыбу, и жгли огнем, и били плетьми, повторял одно: что прежде клеветал на дьякона, что последний никак не учил его делать никакого состава из злого корения и что он якобы на себя и на Феодосия наговорил от мук, не стерпя побоев. А принудил так показать на диакона поляк Николай Ольшевский, по наущению патриарха...

(Продолжение следует)

ЛЕВ КОТЮКОВ

И НЕ ПРОСТИМСЯ НИКОГДА...

* * *

Кругом товарный мир, — сплошная продразверстка...
И оторопь берет, что всюду свет живой.
Железные леса. Замазка да известка.
Да розовый кирпич с пробитой головой.

И нет ни в ком души — и всюду наши души.
И ненависть любви скрывает страх любви.
И в голове стучит: "А SOS все глуше, глуше!.."
И сердце, как сирень, омытая в крови.

Как тяжко быть судьей себе в свой век жестокий!
Как тяжко упреждать гнев Божьего Суда!..
Как тяжело мечтать о жизни одинокой,
Как тяжко не мечтать о жизни никогда...

СИРИУС

В оврагах блистает вода,
И темень за рощей таится.
И Сириус — волчья звезда —
Двоится, двоится, двоится.

И я, будто чей-то двойник,
Стою на пустом косогоре.
И слышу свой собственный крик
В бездомном весеннем просторе.

И тень моя тает во тьме,
В овраге мерцающем тает.
И то, что неведомо мне,
Вовек мой двойник не узнает.

И то, что не ведает он,—
Навеки останется тайной.
И звездный, несбывшийся сон
Встает над равниной бескрайной.

Два неба. Две волчьих звезды.
Две тени. Две лунных воронки.
И меркнут живые следы,
И тени двоятся, как волки.

В ПОЛДЕНЬ У СЕЛЬСКОГО ХРАМА

Дверь Храма на замке. Далеко до вечери.
Убогий на траве считает медяки.
В час полдня видят сны в обжитых норах звери,
И мирятся во льдах две северных реки.

И тайны родников хранят дневные звезды,
И ветер шелестит листвой иных времен.
Мы опоздали в Храм!.. И все ж еще не поздно —
Убогому подать — и жизнь забыть, как сон.

Мы — общники навек! Мы — дети Тьмы и Слова!..
Нас разум соблазнил, не ведая стыда.
Грядет иная жизнь, но времени иного
Для нас уже вовек не будет никогда.

Незримые Земле, горят дневные звезды
И смотрят нам в глаза, пытая — кто мы есть?..
Мы опоздали в Храм!.. И все ж еще не поздно —
Убогому подать — и рядом с ним присесть.

* * *

Усталый костер озаряет траву
В последней ночи соловьиной.
И держится ночь у небес на плаву
Бескрайней воздушною льдиной.

И, может быть, вечность до срока прошла
В пределах Земли побежденной.
И душу живую не слышит душа
В полночной траве обожженной.

О, Господи, что ж Ты не слышишь меня?!
Любовь упаси от неволи!..
И горькие корни в земле у огня
Кричат, задыхаясь от боли.

Любовь побежденная душу простит
В последней ночи соловьиной.
И ночь соловьиная — пеплом летит
И тает мерцающей льдиной.

* * *

На Землю упадет дорога световая, —
И в зеркале игла сама себя пронзит.
И в памяти всплывет подробность бытовая, —
И будущую жизнь навек преобразит.

Себя преобразит нетленное в нетленном,
Сама в себе омоется вода.
И встретимся мы вновь в час гибели Вселенной, —
И не простимся никогда...

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

ТАЙНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

ЕВРОЦЕНТРИЗМ В РОССИИ: ОТ МИФА СВОБОДЫ К НОВОМУ ВИТКУ ТОТАЛИТАРИЗМА

В России сегодня установлен политический режим, в котором *евроцентризм* является доминирующей идеологией. Поскольку речь идет о режиме радикальном, который пришел к власти через революционный разрыв с прошлым, эта идеология внедряется во все сферы общественной жизни жесткими методами. Проект переделки России предполагает демонтаж культурных норм традиционного общества, то есть норм, воспринятых не через рациональный анализ социальных интересов, а укорененных в традиции, в предании и предрассудках и потому лежащих в глубоких слоях культуры. Это — несравненно более болезненная операция, чем, например, перераспределение собственности (и более опасная). Всему обществу и каждому человеку предъявляется ряд требований культурного и мировоззренческого характера: он должен изжить ряд "пережитков" и "предрассудков", чтобы соответствовать правильной модели цивилизации[1].

Важнейшим постулатом "культурной революции" под знаменем либерализма был тезис о неразвитости в русских чувства свободы. Этот постулат оправдывал любые, самые разрушительные действия. Парадоксальным образом он неизбежно вел к тоталитаризму.

Демократическая революция: "тоталитаризм на время" — ради будущего царства свободы

Что же практически означает для России превращение евроцентристского "мифа свободы" в реальную политику? Означает вхождение в новый и, похоже, длительный период тоталитаризма. Прежде всего потому, что изменения с самого начала предполагалось проводить через революцию, а любая революция, какими бы свободолюбивыми лозунгами она ни сопровождалась, означает установление более или менее длительной (и более или менее кровавой) диктатуры. Все выступления как отечественных, так и западных либералов основывались на требовании немедленно разрушить все "тоталитарные структуры". Это и выдает тоталитарное мышление — ведь обозвать противника можно по-всякому, важна именно

[1] Вообще говоря, это — общее требование евроцентризма к "отставшим" или "уклонившимся" народам. Арабский историк Самир Амин пишет: "Капитализм в его западной модели превратился в высший образец общественной организации, который якобы может быть воспроизведен в других обществах — при условии, что эти общества освободятся от препятствий, воздвигнутых их культурными особенностями и объясняющих их отсталость".

Продолжение. Начало в №1 за 1994 год.

нетерпимость к его существованию. Причем тоталитаризм наших либералов доведен до крайности, до *некрофилии* (в смысле Эриха Фромма) — получения наслаждения от вида разрушения любых структур, в пределе — наслаждения от саморазрушения[2].

Вчитайтесь в эту сентенцию демократки Валерии Новодворской, которая является, несмотря на всю ее гротескность, важной частью демократического истеблишмента: "Свобода — это гибель. Свобода — это риск. Свобода — это моральное превосходство... Может быть, мы сожжем наконец проклятую тоталитарную Спарту? Даже если при этом все сгорит дотла, в том числе и мы сами".

Но ту же самую безжалостность по отношению к российским структурам, и отнюдь не только политическим, мы видим и у самых уважаемых интеллектуалов Запада. Видный идеолог социал-демократии (бывший видный коммунист) Фернандо Клаудин утверждал, что речь в СССР должна идти не о реформе, а о *"ликвидации путем разрушения всей экономико-политико-идеологической системы... о настоящей революции"*. Он говорил, что в стране сложились факторы, которые "толкают к революционным преобразованиям". Называл и социальную базу этой революции: "Среди этих социальных групп первое место занимают ученые и инженеры, экономисты и представители других общественных наук, писатели, самые различные группировки интеллигенции, а также наиболее просвещенные слои рабочих. Так называемые диссиденты были видимой верхушкой этого большого айсберга".

Ф. Клаудин признавал, что важную роль в формировании революционного сознания этого социального айсберга (весьма, впрочем, небольшого) сыграло "растущее притяжение Запада, привлекательность его экономического развития, его культуры, его образа жизни" — идеология евроцентризма. То есть очарованные манящим западным образом жизни радикальные интеллигенты должны были добиться разрушения экономической системы СССР (это мы уже пережили), слома его политической системы (кровь уже льется, хотя еще не реками, а ручьями). А что будет с этими радикалами потом? Примет ли их Запад, как когда-то обманутых русских белых офицеров, хотя бы таксистами? Пока что молодые поляки с университетским образованием вытесняют в Испании более дорогих служанок-филиппинок.

Как же предлагали западные демократы осуществить столь разрушительную революцию? Может быть, путем политической работы в массах, просвещением "темных" слоев рабочих, крестьян, да и части интеллигенции? Нет, для этого не было времени. Виднейший экономист, управляющий Банком Испании Луис Анхель Рохо признает, что недоверие и страх перед рыночной экономикой испытывало большинство населения СССР, и соглашается с радикалами в том, что "трансформация системы в этом направлении может быть лишь результатом "революции сверху". Но абсолютно очевидно, что "революция сверху" в условиях, когда большинство населения ее не поддерживает, возможна лишь путем обмана, насилия и установления диктатуры. Ф. Клаудин, призывая радикализовать перестройку на последнем этапе существования СССР, прямо говорил, что "фундаментальным козырем Горбачева является международный фактор", который "открывает ему более широкое пространство для маневра, допуская даже возможность применения силы для пресечения действий консерваторов и других крупных конфликтов". Таким образом, либеральный Запад вполне сознательно давал советскому президенту карт-бланш для репрессий. Сменился президент — и такой карт-бланш получил Ельцин, что и показал 1 мая

---

[2]Эта некрофилия, явно проявившаяся в начале века и ставшая, по мнению Фромма, предвестником фашизма, сегодня лишь нарастает. Это видно по кино и индустрии развлечений. В 30-е годы в американских комедиях было почти обязательным мерзкое для "отсталого" человека зрелище разрушения дорогого угощения ("тортом — по морде"). Потом стали снимать столкновения автомобилей и самолетов. Сегодня гвоздь фильмов — зрелище катастроф, взрывов и пожаров. Модными стали гонки на огромных тракторах, давящих десятки автомобилей. Хруст, треск, разлетаются куски. Фромм задается вопросом: "Является ли некрофилия действительно характерной для человека второй половины XX века в Соединенных Штатах и других столь же развитых обществах? Этот новый тип человека, конечно, не интересуется ни фекалиями, ни трупами; на деле, он даже чувствует такое отвращение к трупам, что делает их более похожими на живых, чем покойники были при жизни... Он делает нечто более важное. Он переключает свой интерес с жизни, с людей, с природы, с идей... одним словом, со всего живого; он превращает всю жизнь в вещи, включая себя самого и проявления своих человеческих способностей думать, видеть, слышать, желать, любить".

1993 года. Возмутился ли европейский демократ? Ни в коем случае. Более того, по реакции западной прессы было видно: если на улицах Москвы начнут расстреливать демонстрации "консерваторов", Запад посмотрит на это сквозь пальцы. Что и выяснилось 3—4 октября. Конечно, гораздо приятнее получить удар дубинкой или пулю, зная, что это не произвол собственного режима, что на это получена виза западной демократии. Сегодня русские обязаны быть послушными, и русская интеллигенция уже не требует от нас "выдавливать раба по капле".

Разве подавление недочеловеков — тоталитаризм?

То наполненное поистине "религиозным" смыслом понятие свободы, которому следуют радикальные "перестройщики", не оставляет русскому народу никакого шанса приобщиться к лику не только свободного человека, но и вообще человека. Ибо в голове у наших радикалов — уже культ сверхчеловека, убогая имитация Ницше. Та антропологическая модель, которая взята евроцентристами-радикалами за исходную базу их идеологического похода, неизбежно ведет к тоталитаризму наихудшего толка, — их диктатуре ничтожного меньшинства, уверенного, что оно призвано командовать стадом, недочеловеками. Один из духовных лидеров демократической интеллигенции России Н. Амосов дает такую трактовку человека:

"Человек есть стадное животное с развитым разумом, способным к творчеству... За коллектив и равенство стоит слабое большинство человеческой популяции. За личность и свободу — ее сильное меньшинство. Но прогресс общества определяют сильные, эксплуатирующие слабых".

Таким образом, здесь дана жесткая формула российского либерализма конца XX века: человечество делится на подвиды; меньшинство ("сильные") подавляет и эксплуатирует большинство ("слабых"); носителем свободы и прогресса является меньшинство, эксплуатирующее "человеческое стадо". Может быть, это — карикатура на идею свободы или плод невежества хирурга-демократа? Но ведь это напечатано в самом престижном журнале "Вопросы философии", а газета Академии наук "Поиск" представляет Амосова пророком, способным дать человечеству рецепт выживания[3].

Советские либералы, не всегда о том зная, почти буквально воспроизводят основные положения мальтузианства — идеологии, призванной оправдать жестокость раннего капитализма в Англии. Эта идеология, заложенная в основу либерального порядка в экономике (Мальтус стал заведующим первой в мире кафедры политэкономии), была *тоталитарной* в том смысле, что, приписывая бедности и страданиям трудящихся характер закона природы, "запрещала" борьбу рабочих за улучшение своего положения. С тех пор лишь Бурбулис использует подобные аргументы для "запрещения пропаганды социальной вражды". Всегда полезно освежить в памяти тех классиков, у которых учатся нынешние правители. Мальтус писал, что его задачей было убедить "каждого человека из менее привилегированных классов общества переносить с максимальным терпением тяготы, которые ему досталось нести в жизни, меньше раздражаться и меньше быть недовольным правительством и привилегированными классами общества из-за своей бедности... больше любить мир и порядок, не склоняться к насильственным действиям в голодные времена и никогда не попадать под влияние подстрекающих публикаций".

Конечно, Мальтус обращался к буржуазии, убеждая ее в правомерности существующего социального порядка и жестокостей репрессивной системы — ведь "менее привилегированные" классы не читали книг Мальтуса, да и в боль-

---

[3] И что интересно: наши "демократы" излагают в газетах совершенно дикие мальтузианские идеи, но не приходилось слышать, чтобы они говорили это лично в аудитории, *глядя людям в глаза*. Стесняются. Как мальчик, который пишет мелом на заборе неприличное слово, а возьми его за шиворот и попроси прочесть вслух — захнычет: "Стыдно, дяденька". Что же ты пишешь то, что тебе самому стыдно сказать вслух? Но мальчик таким путем изживает свои комплексы, вырастает нормальным человеком, хоть и портит заборы. А в кого вырастет академик Амосов, которому пошел девятый десяток?

шинстве своем еще не умели читать. Когда они обучились грамоте, идеологам пришлось сменить язык. В России сегодня неомальтузианцы обращаются к грамотным людям и находят поддержку именно у интеллигенции. Вот парадокс.

Свойственное евроцентризму разделение человечества на подвиды приложено ныне к населению России. Никогда ранее элита не осмеливалась декларировать такого презрения к народу своей страны, противопоставляя его меньшинству. Новодворская просто выходит из себя: "Холопы и бандиты — вот из кого состоял народ. Какой контраст между нашими самыми зажиточными крестьянами и американскими фермерами, у которых никогда не было хозяина!"

Мы видим, что в этом гаме все сильнее звучит тема солидарности нашей "элиты" с цивилизованным Западом в ее конфронтации с народом России[4]. Это говорит о том, что наша новая элита всерьез намерена превратиться в класс эксплуататоров — уже Маркс показал (и это было подтверждено современными исследователями), что этос буржуазии в ходе промышленной революции имел в качестве культурного основания этос колонизаторов. Иными словами, оправдать перед самим собой жестокую эксплуатацию своего соотечественника в период первоначального накопления капиталист мог только рассматривая рабочих как колонизованный народ, который не в полной мере относится к человеческому роду. Другими словами, социальное разделение включает в себя компонент расизма[5].

Но сегодня мы наблюдаем еще одно важное явление: новая элита, как будто чувствуя себя загнанной в угол, проявляет большую агрессивность по отношению к массе (это, кстати, отражено в воспоминаниях "защитников Белого дома" в августе 1991 года — они морально были готовы стрелять, стрелять и стрелять, хотя поведение военных, казалось бы, к этому не побуждало). Одновременно проявляется романтическая, почти болезненная солидарность между представителями "своего клана", что очень красноречиво выражают пропагандируемые телевидением "их" праздники, вечеринки, все эти "возьмемся за руки, друзья". Вот лирическое признание той же Новодворской: "Верочка Засулич стреляла в Трепова? Ее оправдали? Этой минутой я буду гордиться даже в акульих зубах. Трепов приказал высечь политзаключенного, студента, неформала. Я бы тоже стреляла в него..."

Прекрасно, что в драматический момент пережевывания ее акулой Новодворская будет думать именно о Верочке Засулич (хотя такую самоотверженную акулу еще надо поискать). Но ведь не в гордости за Верочку дело. И не в идеалах Верочки — в своих идеалах Новодворская солидарна именно с Треповым и сегодня требует давить, как бешеных собак, именно тех, кто поверил Верочке. Мы видим оправдание терроризма, причем не как средства политической борьбы, а как орудия клановой мести элиты. Разумеется, не стала бы наша демократка стрелять в министра, приказавшего высечь простого обывателя. Но студента! Да еще неформала! Наших бьют! Однако такое перенесение приемов клановой мести и клановой солидарности в современное, "демократическое" общество — это и есть верный признак фашизма.

Новый мессианизм элиты

Соучаствующее с нынешним режимом в "реформировании" России культурное течение интеллигенции склоняется к тоталитаризму и в силу своего болезненно мессианского мироощущения. Эти люди настолько искренне верят в свою избранность, в свое интеллектуальное и моральное превосходство над массой

---

[4]Здесь мадам Новодворская ради красного словца переписывает историю, даже противореча основным мифам евроцентризма. Американские фермеры — согнанные с земли крестьяне Англии, прошедшие "нормальные" этапы рабства и длительного феодального периода. Русские крестьяне, напротив, так и остались "недоразвитыми", ибо не знали рабства и пережили (и то не во всей России) очень короткий период позднего, уже вырожденного феодализма, не успевшего разрушить коммуну. Именно у них не было хозяина.

[5]Об этом анализе Маркса Леви-Стросс пишет: "Из него вытекает, во-первых, что колонизация предшествует капитализму исторически и логически и, далее, что капиталистический порядок заключается в обращении с народами Запада так же, как прежде Запад обращался с местным населением колоний. Для Маркса отношение между капиталистом и пролетарием есть не что иное, как частный случай отношений между колонизатором и колонизуемым".

сограждан, что теряют чувство меры. Вот Николай Петров, *народный* артист России, вздыхает о "грузе ответственности" цивилизованного человека: "Прекрасно понимаю, что заставило моего великого друга Мстислава Леопольдовича Ростроповича в том знаменитом августе написать завещание и прилететь в Москву. Какое-то очень острое ощущение, что не на кого страну оставить... Не оставлять же, в конце концов, мою страну вороватым чиновникам и бестолковым люмпенам?"

Не будем говорить о том, в какое состояние уже привели страну соратники Мстислава Леопольдовича и насколько "невороватыми" оказались чиновники-демократы. Заметим лишь, что пианист слово в слово повторяет доводы радикальных социал-дарвинистов, которых довел почти до истерики кризис 30-х годов. Тогда в Англии видный ученый сэр Джулиан Хаксли (внук "бульдога Дарвина" Томаса Хаксли) тоже предупреждал о необходимости мер, не допускающих, чтобы "землю унаследовали глупцы, лентяи, неосторожные и никчемные люди". Чтобы сократить рождаемость в среде рабочих, Хаксли предложил обусловить выдачу пособий по безработице обязательством не иметь больше детей. "Нарушение этого приказа, — писал ученый, — могло бы быть наказано коротким периодом изоляции в трудовом лагере. После трех или шести месяцев разлуки с женой нарушитель, быть может, в будущем будет более осмотрительным". Ну разве это отличается от отношения к аборигенам колонизаторов, организующих кампании стерилизации? И не с этой ли целью внедряется в общественное сознание "биологическая" аргументация в доказательство того, что у нас якобы произошло генетическое вырождение населения и оно в ницшеанской классификации уже не поднимается выше категории "человек биологический"? И не имел ли это в виду Н. Амосов, обосновывая необходимость, в целях "научного" управления обществом, "крупномасштабного психосоциологического изучения граждан, принадлежащих к разным социальным группам" с целью распределения их на два классических типа: "сильных" и "слабых"?[6]

Разумеется, этот приступ элитарности, овладевший частью интеллигенции, направляется в нужное идеологическое русло идеологами. Исаак Фридберг в "Независимой газете", вздыхая о таланте, тут же увязывает его с частной собственностью — без нее, дескать, какой же талант. Мол, во все времена в "правильных" странах, но не в России, действовал "*универсальный механизм защиты таланта*, определенный коротким словом "успех"... Во всем мире этот механизм успешно действует, имя ему — *буржуазная частная собственность*. Это универсальный механизм защиты таланта, если хотите, генетической элиты нации".

Так буржуазное (то есть историческое, преходящее) становится универсальным, обладатели частной собственности — *генетической* элитой нации, а страны рыночной экономики — *всем миром*. Россия в него, разумеется, не включена, и таланты у нас если и были, то лишь как ростки Запада на местной антиинтеллектуальной и нетворческой почве[7].

Прогноз поведения этой занимающей все более четкую антинациональную позицию и овладевшей собственностью элиты неблагоприятен еще и потому, что она представляет собой культурный продукт (пусть и побочный, но важный) именно тоталитарной компоненты советского строя. Это — люди, лишенные корней и ставшие в духовном плане марионетками номенклатурной системы. При этом неважно, думали ли они и чувствовали так, как требовала эта система — или, наоборот, были ее диссидентами, ее "зеркальным" продуктом. Важно, что их чувства и мысли были *функцией системы*. Николай Петров, преуспевающий музыкант, делает поистине страшное признание (сам того, разумеется, не замечая):

---

[6]Примечательно, что важный психосоциальный эксперимент — организацию фанатичной секты "Белое братство" осуществил научный сотрудник института, которым руководит Н. Амосов.

[7]Вот Виталий Коротич поучает из какого-то американского университета: "Я уже говорил как-то, что никак не привыкну, когда в число народных добродетелей включают способность утопить персидскую княжну в Волге или пройтись вдоль по Питерской с пьяной бабой. Что же до машины, которая может работе помочь, так это уж, извините, "англичанин-мудрец". Надо же, никак не привыкнет, когда... А зачем ему, шестерке идеологических служб — то советских, то антисоветских — привыкать к русским песням? И ведь как недоволен: "я уже говорил как-то", и приходится еще раз повторять — отвыкайте от этих гадких песен.

“Когда-то, лет тридцать назад, в начале артистической карьеры, мне очень нравилось ощущать себя эдаким гражданином мира, для которого качество рояля и реакция зрителей на твою игру, в какой бы точке планеты это ни происходило, были куда важней пресловутых березок и осточертевшей трескотни о "советском" патриотизме. Во время чемпионатов мира по хоккею я с каким-то мазохистским удовольствием болел за шведов и канадцев, лишь бы внутренне остаться в стороне от всей этой квасной и лживой истерии, превращавшей все, будь то спорт или искусство, в гигантское пропагандистское шоу”.

Просто не верится, что человек может быть настолько манипулируем[8]. Болеть за шведских хоккеистов только для того, чтобы показывать в кармане фигу системе! Не любить “пресловутые березки” не потому, что они тебе не нравятся, а чтобы “внутренне” быть независимым от официальной идеологии. Но это и значит быть активным участником “квасной и лживой истерии”, ибо держать фигу в кармане, да еще ощущая себя мазохистом (прямо герой, Верочка Засулич),— было одной из ключевых и весьма неплохо оплачиваемых ролей в этой истерии. Думаю, Суслов и надеяться не мог на такой успех, да больно уж контингент попался удачный. Ибо подавляющее большинство нашего “человеческого стада”, которое к номенклатуре не липло, было от этого влияния свободно. И люди любили или не любили березки, болели за наших или за шведов потому, что *им* так хотелось.

Люди, обладающие такими комплексами и так болезненно воспринимающие свои отношения с родной страной (чего стоит одно название статьи Н. Петрова: “К унижениям в своем отечестве нам не привыкать” — это ему-то), конечно, несчастны. Они, оказавшиеся духовно незащищенными, действительно являются жертвами системы. Но они же, придя к власти, более других склонны к тоталитаризму. Ибо они — *пролетарии*, не связанные этической ответственностью перед презираемыми ими массами сограждан. Они, начиная с разночинной интеллигенции прошлого века, несут в себе мироощущение пролетария в гораздо большей степени, чем рабочий класс России, вышедший из деревни, а в ходе индустриализации восстановивший общину в виде “трудовых коллективов”. И тут никакая, тем более захваченная в “революции сверху”, частная собственность не поможет. Жизнь показала правильность наблюдения Тойнби: “Пролетарий — это скорее состояние души, чем нечто обусловленное чисто внешними обстоятельствами. Истинным признаком пролетария является не бедность и не низкое происхождение, а постоянное чувство неудовлетворенности, подогреваемое отсутствием законно унаследованного места в обществе и отторжением от своей общины”.

Интеллигент-пролетарий не отвечает ни за что

Те страдания, которые несет большому числу людей тоталитаризм (а иначе и пусть бы его), во многом связаны с удивительной атрофией чувства ответственности в людях, проникнутых этим мироощущением. Леви-Стросс писал о разрушениях, которые произвел европеец-колонизатор в иных культурах, как о создании того перегноя, на котором взросла сама современная западная цивилизация. Но не менее важно и искреннее чувство безответственности. Оно просто лишает человека Запада ощущения святости и хрупкости тех природных и чело-

[8]Вероятно, культурологи будут еще изучать этот уникальный феномен — тоталитаризм мышления наших интеллигентов-“шестидесятников”. Ведь он даже не зависит от их политических предпочтений. Вот правозащитник Сергей Ковалев, почти как манихейский священник, вещает: “*Все* действия КПСС были преступными”. А вот страдающий за Россию, возненавидевший ее разрушителей и растлителей, необольшевиков-“демократов”, — Владимир Максимов. Тоже максималист, выносящий тоталитарный приговор: “Прощай, Россия! Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Но пусть уж лучше тебя не будет совсем, чем видеть тебя такую — раздавленную, униженную, слепую”. Ничего себе, патриотизм. А все дело в том, что и для него Россия — не березки, не дети на речке и не старики, с непокрытой головой идущие под дубинки ОМОНа, а *система* со всем копошащимся около нее клубком прихлебателей. Раз система опять нехорошая, так уж лучше пусть не будет России.

веческих образований, в которые он вторгается, лишает *страха перед непоправимым.* И это — не злая воля, а наивное, почти детское ощущение, что ты ни в чем не виноват. Инфантилизм, ставший важной частью культуры[9].

То же мы наблюдаем и в России. Видим ли мы хоть следы ответственности, сомнений, попыток выявить истоки собственных ошибок у политиков типа Горбачева, Гайдара, Бурбулиса? Пытаются ли как-то объясниться с обществом "буревестники революции", уже принесшей неимоверные страдания, — академики Заславская, Аганбегян и т. д.? Даже мысли такой у них, похоже, не возникает. Сегодня сильные мира сего говорят о своей безответственности с небывалым, демонстративным цинизмом. Вот деятель ООН, принимавший очень активное участие в балканском вопросе, заявляет: "В Югославии были совершены все ошибки, которые только можно совершить". Но ведь это чудовищное заявление. Из-за ваших ошибок разрушена цветущая страна, но и мысли нет *исправлять* ошибки, как-то *поправить* дело, все сводится к маниакальному стремлению начать бомбардировку сербов. Предположим, заявление дипломата неискренне. Если напряженно работающие над вопросом ведущие политики и эксперты стран, вершащих мировые дела, люди заведомо умные, "совершают все вообразимые ошибки", то это значит, что они просто преследуют цель, которую стесняются обнародовать. Но ведь даже неискреннее заявление такого рода должно сопровождаться какими-то "самокритичными" выводами.

Разумеется, политики, которые хладнокровно шли на расчленение Югославии и создание условий для ее нынешней трагедии, рассчитали выгоды и потери и решили (быть может, ошибочно — но кто не ошибается), что для тех, на кого они работают, баланс положительный. Другое дело — интеллигенция, все эти политологи, социологи и т. п., которые работают на публику и формируют ее мышление. В "демократических" обществах это — важный фактор политики. Зачем нарываться на неприятности, если можно с гарантированным результатом сформировать общественное мнение. Надо, чтобы бомбардировки Багдада поддержало 70% американцев? Пожалуйста, но тогда ракеты пускать можно только дней через 10—12. Достаточно 60%? Значит, дня на два раньше. И преступная безответственность этих работающих за хорошую зарплату интеллигентов состоит в том, что они сформировали у среднего образованного человека Запада такие структуры мышления, которые ставят под угрозу само существование человечества. При той разрушительной силе, которой обладает сегодня Запад, влияние на необратимые решения оказывает элита, превратившаяся в коллективного идиота.

Как случайно оказавшийся поблизости человек из "демократической России", попал я на совещание видных интеллектуалов и экспертов по Югославии. Это собрание, организованное известным культурным центром ордена иезуитов, резко отличалось в лучшую сторону от подобных и типичных "круглых столов", которые можно постоянно видеть на Западе по телевидению. Организаторы — люди исключительно образованные, с глубоким религиозным и социальным чувством. И что же услышали участники от приглашенных из Брюсселя экспертов? Что надо немедленно бомбить сербов и начинать сухопутные действия. Приглашенные натовские военные просто взмолились: "Но, господа, это будет кровавая баня!" (имелась в виду, естественно, не кровь сербов). Ответом было, — трудно поверить — что налогоплательщик отрывает от своего семейного бюджета трудовые (чуть не написал рубли) франки, песеты и т. д., чтобы содержать армию, и армия обязана удовлетворить желание налогоплательщика. "Но НАТО не имеет технологии для войны на Балканах. Мы готовились к большим танковым операциям на европейской равнине", — военные все пытались повернуть к здравому смыслу. "Технологию можно быстро адаптировать", — уверенно возразил эксперт по международному праву. Генерал козырнул и умолк.

---

[9]Специфика "формулы свободы" в евроцентризме связана прежде всего с механистической картиной мира и детерминизмом, который создает иллюзию возможности точно предсказать последствия твоих действий. Это устраняет этическую компоненту из проблемы ответственности, заменяет проблему задачей рационального расчета. Перед машиной ответственности не существует. И если мир — машина, человек — механический атом, общество — идеальный газ из "человеческой пыли", то ответственность вообще исчезает. Детерминированная и количественно описываемая система лишена всякой святости (как сказал философ, "не может быть ничего святого в том, что может иметь цену").

Тогда я обратился к этому интеллектуалу (как выражаются некоторые реакционеры, "с бородкой клинышком"; когда он вошел, я даже подумал, что это депутат Шейнис, которого я видел по телевизору. Оказалось, ошибся, но сходство такое, будто этим экспертам, говорящим везде одно и то же, на каком-то складе выдают лица.) Я спросил, каков будет, по расчетам экспертов, ответ крайне радикальных группировок в Югославии на вторжение войск НАТО. Он хохотнул: они будут недовольны (меня все еще принимали за демократа и вопрос был понят как шутка). Я уточнил вопрос: какие ответные *действия* могут быть предприняты этими радикальными силами? Эксперт ответил довольно напыщенно: "Они, видимо, окажут сопротивление, но, по нашим расчетам, оно будет довольно быстро подавлено. Хотя, видимо, предполагаемого контингента в 200 тысяч окажется недостаточно". Тогда я, чтобы определить диапазон современных возможностей тотального мщения, спросил: "А как насчет взрыва небольшого ядерного устройства в небольшом уютном европейском городке — так, для демонстрации?" Что тут было с экспертом. На глазах превратился в испуганного старичка: "Вы думаете, это возможно?" — "Я не эксперт, я вас хочу спросить как эксперта: вы *знаете, что это невозможно*? " — "Но мы об этом никогда не думали". Вот тебе на! Собираются устроить войну на уничтожение против православного народа в центре Европы — и не подумали, как будут реагировать экстремисты из гибнущего этноса. Они будут недовольны — дальше мысль не идет. Я немного смягчил вопрос: "Можно ничего не взрывать, можно рассыпать над Бонном полкилограмма цезия-137. Это-то уж совсем нетрудно. Вы знаете, кто заказал крупную партию цезия, которую провезли в Германию прошлым летом?" — "Но мы об этом никогда не думали". Просто не верится, что судьба народов решается на таком интеллектуальном и духовном уровне. Может быть, Горбачев заразил каким-то вирусом всю мировую верхушку?

И вот еще один поучительный случай — точно такой же по структуре, но непосредственно приложимый к мышлению наших интеллигентов-демократов, далеких от Брюсселя. В очень неформальной обстановке был у меня разговор с одним университетским профессором в Барселоне, прогрессивным гуманистом. В свое время, как и полагается такому интеллигенту, был влюблен в кубинскую революцию — прямо как наш Евгений Евтушенко. Аплодировал и подзуживал маленькую героическую Кубу влепить еще одну оплеуху империалистическому монстру. Сегодня ему Кастро, само собой, разонравился. "Это что же такое, — сердится профессор. — Десять миллионов человек находятся на уровне биологического выживания. Надо любыми средствами устранить режим Кастро". Опять *любыми средствами* — ну нет у демократа в мозгу никаких ограничений.

"Как же, — говорю, — ведь, по всем оценкам, подавляющее большинство кубинцев поддерживает этот режим, даже зная все его дефекты". Но просвещенный интеллигент, как всегда, вынужден решать за темные массы: "Международное сообщество, Россия должны оказать давление. Есть же методы". Против демократии не попрешь, и я подошел с другой стороны: "Вот вы говорите, при карточной системе на Кубе все население находится на грани выживания. Какие изменения в социальной области немедленно произойдут после устранения режима Кастро?" — "Либерализация экономики, ликвидация плановой системы и уравниловки" — "Произойдет ли перераспределение дохода между социальными группами?" — "Разумеется, и очень существенное". И просто не веришь своим ушам. Ведь это говорит профессор, по должности приученный к логическому мышлению. Или он не понимает, что говорит? "Но ведь это означает, — мягко указываю я, — что большинство населения опустится ниже грани выживания и должно будет умереть". "Да? Почему же?" — удивление собеседника неподдельно. И это, пожалуй, самое удивительное. Объясняю: "Если при уравнительном распределении в нынешнем состоянии все люди находятся на грани выживания, то при изъятии значительной доли средств к существованию у части населения эта часть необходимого для выживания минимума не получит. Как вы предполагали решить эту проблему при смене режима?" И слышу невинный ответ: "А я об этой стороне дела никогда не думал". Подпрыгнешь на стуле от таких слов. Как не думал? А о чем же ты думал? И ведь мы говорили об идеализированной ситуации. На деле либерализация экономики, как мы уже убедились, *во всех случаях* ведет к катастрофическому спаду производства. Ну

можно же немного напрячь воображение и представить себе последствия такой "демократизации" Кубы. "А как вы думаете, — завершаю я беседу, — при такой либерализации в реальных условиях Кубы легко будет охранить новый социальный порядок? Не будет ли лишенная необходимого для выживания часть общества слишком шуметь? То есть станет ли политический режим более свободным, как в Швеции или Франции, — или вынужден будет действовать, как в Сальвадоре и Гватемале?" Подумал, подумал радетель за права человека, и признал: "Да, пожалуй, будет, скорее, как в Гватемале. Но я никогда об этой стороне дела не думал".

Тут весь тоталитаризм безответственного мышления гуманиста, чья голова набита мифами европоцентризма. Ради совершенно пустых идеологических фантомов он готов любыми средствами внедрить свои мифические "ценности" в чужую, часто совершенно непонятную ему реальность, не задумываясь о той крови и страданиях, которых это будет стоить. Но разве не то же мы видели дома? Вот советник президента, директор Центра этнополитических исследований Эмиль Паин рассуждает: "Ждет ли Россию судьба СССР?" Надо послушать нашему интеллигенту, на волю которого ссылается "этнополитик". Пора и внутри страны признать то, чем хвастаются за рубежом перед строгим хозяином: "либеральная интеллигенция" сознательно разрушала СССР ради своих идеологических целей. Паин пишет: "Когда большинство в Москве и Ленинграде проголосовало против сохранения Советского Союза на референдуме 1991 года, оно выступало не против единства страны, а против политического режима, который был в тот момент. *Считалось невозможным ликвидировать коммунизм, не разрушив империю*".

Что же это за коммунизм надо было ликвидировать, ради чего не жалко было пойти на такую жертву? Коммунизм Сталина? Мао Цзе-дуна? Нет — коммунизм Горбачева и Яковлева. Но ведь это полный абсурд. Слова и дела этих правителей показывают: они не тянут даже на звание социал-демократов (типа шведского премьера Улофа Пальме или канцлера ФРГ Вилли Брандта). Они ближе к неолибералам типа Тэтчер — к правому крылу буржуазных партий. От коммунизма у "политического режима" оставалось пустое название, которое "реформаторы" и так бы через пару лет сменили. И вот ради этой идеологической шелухи либеральная интеллигенция обрекла десятки народов на страдания, которых только идиот мог не предвидеть. И ведь то же самое были готовы сделать с РСФСР (и будут готовы сделать с РФ, изменись чуть-чуть конъюнктура). Э. Паин признает: "Я внимательно слежу за публикациями моих коллег, которые всего год назад (это в июне 1992 года!) считали распад России неизбежным *и даже желательным*".

Бывает, в условиях глубокого кризиса люди теряют ориентиры, мечутся, наносят раны своей стране и своему народу. Но в момент отрезвления их охватывает горе и раскаяние. Когда Григорий Мелехов понял, что проливал кровь братьев, а не врагов, он катался по земле и кричал: "Зарубите меня!" Видим ли мы сегодня что-либо подобное в среде нашей "либеральной интеллигенции"? Можем ли представить себе, что Нуйкин выйдет перед сиротами и беженцами, рванет на себе рубаху и крикнет: "Я разжигал национальные конфликты. Нет мне, мерзавцу, прощения!" Нет, такого представить себе нельзя. Не только ни тени раскаяния нет за содеянное — продолжают хвастаться и шумно праздновать день "независимости" в память о принятии фатальной декларации о "суверенитете", которая, по признанию Паина, "ускорила процесс разрушения СССР"[10].

[10]Либеральная интеллигенция декларировала свою приверженность к демократии и ненависть к тоталитаризму. Но относительно СССР волеизъявление народа было совершенно ясным: подавляющее большинство требовало сохранить Союз. Против была лишь часть "западных" народов Прибалтики и сама либеральная интеллигенция, прежде всего в Москве и Ленинграде. Уважила эта "просвещенная" элита волю большинства? Ни в коем случае — она стала использовать все средства, чтобы эту волю нарушить. К кому же она обратилась за помощью? К тоталитарному режиму, который обладал армией, МВД, КГБ и средствами массовой информации. Только опираясь на эти силы режим Ельцина мог открыто игнорировать волю народа и ликвидировать СССР. Случай ясный, и невозможно понять, как наша интеллигенция может искренне считать себя демократической. Это уже похоже на групповую шизофрению.

Восприятие культурных стереотипов США — путь к демократии?

Тоталитаризм запрограммирован в проекте наших демократов-западников и потому, что внутри концепции евроцентризма, все же не вполне однородной, ими сделан определенный выбор — быть сателлитами именно США. Это для России наиболее деформирующий ее культурные стереотипы выбор. Во-первых, США, став колыбелью современного *протестантского* капитализма, явились и генератором *культуры тоталитаризма*. Все эти политические свободы, права, плюрализм и инициатива — вещь второстепенная по сравнению с мироощущением. Рабство вплоть до середины прошлого века было органично оправдано этим мироощущением — так же, как сегодняшние бомбардировки Ирака, от которых морщатся европейские союзники. Да по сути, рабство и сегодня могло бы быть легко восстановлено в США после очень небольшой культурной обработки.

В 60-х годах в Йельском университете были проведены важные психологические эксперименты ("эксперименты Мильграма"). Суть опытов в том, что группа нормальных белых мужчин из среднего класса, игравшая роль "учителей", наказывала сидевших в другой комнате "учеников" за каждую ошибку разрядом электричества все более высокого напряжения. Разумеется, на деле ученик не получал никакого разряда, и цель эксперимента заключалась не в исследовании влияния наказания на запоминание, как говорилось испытуемым, а в изучении поведения "учителя", подчиняющегося столь бесчеловечным указаниям руководителя эксперимента. При этом руководитель не угрожал сомневающимся, а лишь говорил безразличным тоном, что следует продолжать эксперимент.

Перед опытами, по просьбе Мильграма, эксперты-психиатры дали прогноз, согласно которому не более 20% испытуемых продолжат эксперимент до половины (до 225 в) и лишь один из тысячи нажмет последнюю кнопку. Результаты оказались поразительными. В действительности почти 80% испытуемых дошли до половины и более 60% нажали последнюю кнопку, приложив разряд в 450 в. То есть, вопреки всем прогнозам, огромное большинство испытуемых подчинились указаниям руководившего экспериментом ученого и наказывали ученика электрошоком даже после того, как он переставал кричать и бить в стенку ногами (звуки, естественно, имитировались).

В одной серии опытов из сорока испытуемых ни один не остановился до уровня 300 в. Пять отказались подчиняться лишь после этого уровня, четыре — после 315 в., два — после 330, один — после 345, один — после 360 и один — после 375. Большинство было готово замучить человека чуть не до смерти, буквально слепо подчиняясь совершенно эфемерной, фиктивной власти руководителя экспериментов. При этом каждый прекрасно понимал, что он делает. Включая рубильник, люди приходили в такое возбуждение, какого, по словам Мильграма, не приходилось видеть в социально-психологических экспериментах[11]. Дело доходило до конвульсий. И все после опытов в сильном эмоциональном возбуждении пытались объяснить, что они не садисты, и их истерический хохот не означал, что им нравится пытать человека. Эрих Фромм, подробно обсуждая эти эксперименты, обращает внимание как раз на тот факт, что люди, подчиняясь власти, все же не становятся садистами — они подчиняются, но страдают. А некоторые даже не вполне подчиняются — вот что удивляет Фромма в американской действительности. Но потом, уже в 70-х годах, были проведены не менее впечатляющие эксперименты (П. Зимбардо), в которых часть испытуемых играла роль заключенных, а другая — роль тюремных надзирателей. Об этих опытах просто страшно читать. И аргумент Фромма — что человек все же остается человеком даже в условиях, когда всеми средствами воспитания ему в подсознание *имплантируется* тоталитаризм, здесь нас не может утешать. Ибо этот аргумент одновременно многое говорит о культуре, которой нас обязывают подчиниться.

---

[11] В журнале экспериментатора записано: "Один из испытуемых пришел в лабораторию уверенный в себе, улыбающийся — солидный деловой человек. Через 20 мин. он превратился в тряпку — бормочущий, судорожно дергающийся, быстро приближающийся к нервному припадку. Он все время дергал себя за мочку уха и заламывал руки. В один из моментов он закрыл лицо руками и простонал: "Боже мой, когда же это кончится!" Но продолжал подчиняться каждому слову экспериментатора и так дошел до конца шкалы напряжения".

Насколько легко сформированный американской культурой человек скатывается к тотальному ответу на возникающие проблемы, видно буквально на всех уровнях — от бомбардировок Ирака до семейных ссор. Вот телерепортаж из США. Приличный белый человек среднего возраста, предприниматель. Что-то не так ему сделали в страховой компании. Он не стал жаловаться по начальству, пытаться "уговорить девушек" и т.д. Сходил домой за оружием и боеприпасами, вернулся и перестрелял всех, кто был в конторе (а заодно и тех, кого встретил на лестнице). "Война всех против всех" в чистом виде[12].

Адорно и Хоркаймер в "Диалектике Просвещения" представили организацию всей жизни в США как "индустрию культуры, являющуюся, возможно, наиболее изощренной и злокачественной формой тоталитаризма". У нас же в России о глубоком изучении культуры США и всего американского образа жизни и речи быть не может — либеральная интеллигенция увлечена созданием одного из самых постыдных мифов, оскорбительного для самой американской культуры. А ведь машина формирования среднего американца набрала такие обороты, что, похоже, перестала, как Голем, подчиняться своим создателям. И эта машина культурной индустрии США осуществляет мировую экспансию, подчиняясь своим уже коммерческим законам. От нее пока что в какой-то степени защищены страны, закрытые языковым и культурным "железным занавесом" (Япония, Китай, мусульманский мир), или часть населения, "защищенная" бедностью. Но есть признаки того, что второй барьер падает благодаря удешевлению электроники и ее рекламе как важного социального стандарта (фавелы наполнены телевизорами и видеомагнитофонами, хотя бы и ворованными — обладание ими создает иллюзию "достойной жизни"). Страны же "европейской культуры" оказались полностью открытыми для американской идеологической машины[13]. А в России эта экспансия рассматривается либералами как важное условие реализации всего их проекта реформ.

Тоталитаризм укоренен и в реальной социально-политической практике США. Просто здесь он не бросается в глаза потому, что государство-Левиафан имеет достаточно денег, чтобы маскировать его. В Беркли я видел, как у пустыря, где ночуют бродяги-хиппи, круглые сутки дежурит оснащенная, как космический корабль, полицейская машина. А более бедный тоталитаризм просто разогнал бы этих бродяг к чертовой матери. Однажды, гуляя по городку, я несколько раз натыкался на удивительную пару: бредет престарелый бездомный, уже почти падая от усталости, волоча развязавшийся спальный мешок, а за ним в двадцати метрах такой же усталый полицейский. Весь взмок от жары, но бредет, ожидая, когда же проклятый старик изнеможет, расстелет свой мешок на газоне и ляжет — только тогда его можно будет арестовать.

Тоталитаризм, имеющий деньги на такое количество полицейских, может соблюдать права человека. А о том, под каким колпаком находятся все подозрительные в компьютеризированной Америке, и говорить не приходится. И никакого якобы нейтрализующего государственную машину "влияния рынка" не заметно. Эрик Лаурент, который исследовал деятельность Национального агентства безопасности США, пишет, что в начале 80-х годов в этой организации с бюджетом 8 млрд. долларов 100 тыс. сотрудников занимались перехватом и

---

[12]Сегодня эти стереотипы пытаются внедрить в России. Принимают закон, разрешающий иметь оружие — и хоть бы одного культуролога или историка спросили, что это означает в нашей конкретной культуре. Нет, выступают эксперты из милиции и обезумевшие от демократии политики. А ведь речь идет о разрушении одной из культурных основ традиционного общества. Оружие — часть священного образа Государства. Лишь оно имеет полную монополию на владение и использование оружия (а вне государства им владеет его антипод — разбойник). Символически оружие носят лишь члены служащего Государству сословия (дворяне). Государство, уступившее эту страшную монополию, является предателем, оно рассыпается, и все становятся разбойниками. Вот — символический смысл этого закона. Потому-то даже при беззубом режиме Брежнева в Москве было 14—16 выстрелов за год, а сегодня 4—6 за ночь.

[13]В течение восьми лет я имел возможность наблюдать, как эта машина "переваривает" испанскую прессу и телевидение — в последние три года с большим ускорением. И глубина оболванивания человека достигает уровня, немыслимого еще пять-шесть лет назад. Вот пример тотальной идеологизации прессы. 29 июля 1993 года в Боснии погиб испанский солдат, добровольцем записавшийся в легион войск ООН. Погиб бессмысленно — в расположение легиона залетело два снаряда, даже неизвестно откуда. Отец заявил репортерам: "Я очень рад, несмотря на то, что потерял сына. Я очень горд за него и буду гордиться им всегда". Ну чему здесь можно радоваться и чем гордиться? Ведь никто в Испании даже не знает, из-за чего идет война в Югославии — и не хочет знать.

расшифровкой передаваемых по телефону или через спутники сообщений, в том числе коммерческих и личных. Уже в те годы ежедневно записывалось 400 тыс. разговоров в США и в других странах. Как пишет автор, "когда видишь все шестерни НАБ, возникает ошеломляющая картина соучастия мира бизнеса, военных штабов и научных кругов".

Сейчас "научные круги" дали и государству, и миру бизнеса США новое средство вмешательства и деформации личной жизни людей — дешевую технологию определения "генетического профиля" человека. Страховые компании снимают этот профиль, чтобы повысить цену страхования людей, "предрасположенных к ранней смерти". Сама эта квалификация, в сущности, означает покушение на свободу человека, меняет всю его жизнь (она, кстати, непосредственно влияет и на здоровье человека, ибо, как знают медики, объявленный неблагоприятный прогноз имеет повышенную вероятность сбыться — так реагирует на него организм). Полиция проявляет большой интерес к этой технологии, чтобы с детского возраста выявлять и брать под контроль всех "предрасположенных к антисоциальному поведению". Органы просвещения надеются сэкономить средства на детях, "генетически предрасположенных к неуспеваемости". Возникает, как говорят американские социологи, новый класс — "биологически угнетенных". Где же мы видим эту деформацию самого естественного понятия свободы? В стране Запада с неискаженной рыночной экономикой, где у власти неолибералы. В стране, все стороны жизни которой российские либералы считают за счастье копировать.

Наконец, США — типичное имперское государство, к тому же сегодня испытывающее детскую радость оттого, что повержен его геополитический соперник и оно назначено жандармом всего мира. Каковы же стереотипы поведения США в отношениях с его сателлитами? Вся история показывает, что США стремились к установлению в таких странах *тоталитарных и коррумпированных режимов.* При этом либеральные деятели США нисколько не обманывались относительно природы этих режимов (и лично их даже презирали, а то и ненавидели: "Сомоса, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын"). Практически все офицеры репрессивных органов и карательных батальонов латиноамериканских диктатур, совершавшие и совершающие сегодня самые жестокие преступления против прав человека, прошли подготовку в американских школах в Атланте и в зоне Панамского канала. Речь идет о десятках, а то и сотнях тысяч офицеров. А ведь эти школы — часть культуры США, а не какая-то маргинальная полуподпольная организация. Из чего же видно, что российских офицеров-демократов будут обучать чему-то иному? Это в принципе невозможно — да и зачем.

Какую же политику будут проводить по отношению к России эти воспитанные, контролируемые и премируемые "мировым жандармом" офицеры? Ту же, что проводит ОМОН, контролируемый и премируемый Лужковым. Будут, конечно, истерики, конвульсии, будут диссиденты и перебежчики — но все это мелочи. Все это было и в Бразилии, и в Белоруссии при немцах. Это — точно вычисляемый "брак", на который делается поправка. А дергающие за ниточки американские либералы будут искренне уверены, что несут добро и свет русскому народу, исправляя его предрассудки и заблуждения. Точно так же интеллектуалы из американской армии в 1946—1948 годах вполне серьезно и гордясь своим благородством подготовили и начали уже было внедрять в Японии реформу письменности — переводить ее с иероглифов на латинский алфавит. Причина — стремление демократизировать японскую культуру, ибо латинский алфавит гораздо доступнее широким народным массам. И ведь нашлись тогда в Японии люмпен-интеллигенты, которые помогали оккупантам в этой реформе. Спасла японцев, как это ни парадоксально, победа коммунистов в Китае — американцам в Японии стало не до культурных реформ. А России на кого надеяться? Ведь жалости ждать не приходится. Арабский историк Самир Амин пишет, основываясь на богатом опыте третьего мира:

"Современная господствующая культура выражает претензии на то, что основой ее является гуманистический универсализм. Но евроцентризм несет в самом себе разрушение народов и цивилизаций, сопротивляющихся экспансии западной модели. В этом смысле нацизм, будучи далеко не частной аберрацией, всегда присутствует в латентной форме. Ибо он — лишь крайнее выражение

евроцентристских тезисов. Если и существует тупик, то это тот, в который загоняет современное человечество евроцентризм".

В настоящий момент опасность скольжения к тоталитаризму в результате альянса с державой, движимой мессианским чувством мирового рыцаря евроцентризма, усиливается из-за нарастания на Западе нового психоза — ощущения "угрозы с Востока". И Россию опять призывают в боевые порядки, и никакой душевной слякоти в ней быть не должно. Ни о каком "евразийстве" или "особом пути" не может быть и речи. И усилиями наших либералов срочно дополняется мифология евроцентризма. Исаак Фридберг в своей статье "Драматургия истории: опасность всегда исходила только с Востока" сурово предупреждает: "Думаю, не будет преувеличением сказать, что *задержка с реформами сегодня губит все* — и в первую очередь зарождающиеся новые отношения с Соединенными Штатами, способные изменить баланс сил на мировой арене... Являясь наивысшим достижением европейской цивилизации, США не могут себе позволить погибнуть в экологической катастрофе, вызванной случайным столкновением на Азиатском континенте".

Кажется, абракадабра — очень уж туманно выражается г-н Фридберг. В какую сторону надо менять баланс сил? От кого должна спасать США Россия — а если задержится с реформами, то и не успеет спасти? Какая случайная экологическая катастрофа в Азии может погубить лидера всего мирового сообщества? А на деле все просто. Фридберг надеется, что реформы в России приведут к появлению у США огромного резервуара пушечного мяса. Ведь янки, это "высшее достижение цивилизации", не могут себе позволить погибать. Против какого же потенциального врага ищут США способ "изменить баланс сил на мировой арене"? Естественно, против "Востока" — ибо Исаака Фридберга "беспокоит вопрос: является ли жизненное пространство Китая достаточным для его полноценного развития?" Демократ уже мыслит в нацистских терминах "жизненного пространства". Непонятно только, почему же речь идет о "*случайном* столкновении в Азии", если Запад лихорадочно старается изменить баланс сил. Ведь терминология Фридберга уже сегодня военная.

И еще одна особенность тоталитарного режима, который проектируется для России, выявляется при сравнении подходов учителя и наших способных учеников. В тех случаях, когда не было возможности установить, как в банановых республиках, подконтрольную диктатуру, США, чтобы ослабить потенциального противника или ослушника, не гнушались поддерживать самые радикальные, тоталитарные и кровавые движения. Даже если эти движения декларировали свою враждебность к самим США или доставляли им реальные неприятности. Все решал баланс неприятностей для США и для его потенциального противника или конкурента. Так насаждались радикальные "коммунистические" движения в Европе (вроде "красных бригад"). Так поддерживается в Анголе кровавый освободитель Савимби. Так не дали мирно эволюционировать буржуазной революции в Афганистане, вооружив исламских фундаменталистов. А ведь сколько шума исходит от идеологов евроцентризма при одном упоминании об исламе. Одной рукой стучат в гневе по трибуне, а другой проворачивают "ирангейт". Самир Амин пишет о тайном альянсе с исламскими фундаменталистами: "Как можно объяснить поддержку (лицемерно отрицаемую), которую Запад оказывает враждебному ему движению, кроме как тем колоссальным ослаблением арабского мира, к которому оно ведет, взрывом внутренних конфликтов (особенно конфессиональных конфликтов между сектами и между организациями)".

Но разве не то же самое мы видели на протяжении всех лет перестройки, когда наши просвещенные демократы поддерживали фашиствующих националистов, разрушающих СССР, или натравливали фундаменталистов на "прокоммунистическое" правительство Таджикистана? Да есть и опасность, что ученики пойдут дальше учителей. Во всяком случае, если в США и использовали мафию в политических и геополитических целях, то это тщательно скрывалось от общества. Наша же демократическая печать старается все больше и больше примирить общественное мнение с организованным преступным миром. Вот "Аргументы и факты" предоставляют свою рубрику "Разговор с интересным человеком" своему спецкору В. Перушкину — он "встретился с человеком, которого среди руководителей мафиозных группировок величают "Святым"... Всем

хороша для “АиФ” мафия: экономику поддерживает, единственным в обществе хранителем этических норм выступает, обещает технологическое развитие России обеспечить — как в передовых странах. Одно плохо — разборки крутые, и поэтому, видишь ли, “благополучие мафии зиждется на чьих-то слезах, а то и крови”. Кто платит за такие репортажи? Вряд ли Перушкин такой простак, каким прикидывается. При чем здесь слезы вдов мафиози, которых прищемили в разборках (не говоря уже о том, что благополучие мафии зиждется не на этих слезах — какой от них прок, — а на труде обкрадываемой ею нации)? Главное — слезы матерей сотен миллионов мальчиков и девочек в мире, которых мафия делает наркоманами. То же самое она начинает делать в России. Не знают этого “Аргументы и факты”? Прекрасно знают — и готовы этому помогать. Думаю, что без всякого удовольствия — как тот бизнесмен, который заламывал руки в экспериментах Мильграма.

В конце концов, разве само безумие экономической реформы не служит симптомом того, что в нас собираются подавить человеческое “я”? Известно, что одним из важных средств тоталитаризма является обеднение больших масс населения с созданием в субкультуре бедняков комплекса неполноценности, подавляющего всякое стремление сопротивляться. В приложении как к России, так и ко всем бывшим “соцстранам”, это средство используется даже в преувеличенных масштабах. Недавно еще вполне зажиточные и самодовольные чехи, венгры и поляки, убедившие себя, что “социализм им недоплачивает”, наконец-то сорвали железный занавес, открыли свою экономику Западу и продали свои лучшие предприятия транснациональным корпорациям. Сегодня они низведены на уровень самых бесправных сезонных рабочих из “третьего мира”. На уровень, никак разумно не выводимый из состояния национальной экономики, а спроектированный политическими средствами. И с какой-то странной радостью печатают западные газеты сводки о котировке рабочей силы в этих странах. Вот такая сводка за июль 1993 года (цена рабочей силы, доллары в час):

ФРГ	13,96	Венгрия	1,86	Марокко	1,70
США	8,28	Чехо-Словакия	1,86	Тунис	2,54
Франция	9,31	Польша	0,85	Таиланд	0,93
Испания	7,93	Румыния	0,42	Филиппины	0,68

И это при том, что национальный доход на душу населения в “последний год социализма” был в ЧССР примерно таким же, как в Испании, а квалификация рабочих пока еще чуть-чуть выше. Но Испанию после смерти Франко “невидимая комиссия” решила принять в Цивилизацию — а чехов принять пока не решила. Этот вопрос еще обсуждается (но вездесущие журналисты конфиденциально сообщают, что чехов и венгров примут, румын и болгар — нет, а насчет поляков неясно; о России и речи быть не может).

Россия находится все-таки лишь в начале этого пути. Национальные архетипы и культурные стереотипы наших народов еще не сломаны, кровь еще только начинает пролегать между нами. Люди пока добровольно разрешили, чтобы над ними властвовали — народ присматривается, экспериментирует, внимательно слушает Фридберга и Амосова. Но эксперименты эти очень опасны. Как бы не стать России тем богатырем, который для пробы улегся в гроб.

(Продолжение следует)

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

НА ПЕРЕПУТЬЕ

ВЫБОРНОЕ ШОУ И ГЛУБИННАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ

Долгое время после октября мне казалось, что мы — участники русского патриотического движения — уцелели лишь по недосмотру победителей. "Потопить ли нас шведы забыли..." —по слову поэта. Или хуже — с нами играют, как кошка с пойманной мышкой: ну, подергайтесь еще, даже интересно, что вы такое попытаетесь предпринять... Не исключался и самый гнусный вариант: полузадушенная "мышка" могла быть использована в качестве наживки — рано или поздно вокруг нее соберутся сочувствующие, и тогда... тогда можно покончить со всеми разом.

Невесело ощущать себя то ли живой мишенью, то ли живой приманкой. И я решил последовать совету классика: проездиться по России. Побывал в нескольких областях Черноземья. На землях богатых, коренных, испокон века кормивших страну хлебом, дававших ей людей для заселения бескрайних просторов, обогащавших великими художественными традициями. Заглядывал и в областные города, и в районы, откуда не только в столицу, но и в свои маленькие митрополии ехать и ехать.

Там я понял многое. В частности, почему мы, московские патриоты, до сих пор свободно ходим по земле. А потому, что земля эта за пределами окружной дороги, ну, может быть, за границами столичной области принадлежит отнюдь не кремлевским властителям. Живут на ней нормальные русские люди. И "володеют и правят" тоже русские. Московским приказам не прекословят, а просто их не слушают. А заставят прочесть, — перетолкуют по-своему, на благо, а не во вред родному (поистине родному для них!) краю.

С этой глубинной Россией до сих пор ничего не могут поделать Чубайсы, Гайдары и прочие "иноплеменные" (чужие по образу мыслей, по жизненным установкам люди). Что ни придумывали, какие разорительные указы ни принимали — жива страна и все тут. Поэтому устраивать "русский погром" в столице бессмысленно. И даже опасно.

Случилось так, что одна поездка пришлась на предвыборную кампанию, другая совпала с подведением итогов голосования. Я получил редкую для столичного литератора возможность взглянуть на наши баталии издалека.

Надуманными, бессмысленными представлялись расхожие стереотипы центральной прессы: "реформаторы" — "консерваторы", "демократы" — "фашисты". Фиглярством отдавали патетические декларации известных политиков и журналистов. Могучий контекст повседневной жизни страны выявлял истинный масштаб московской политической сцены. И отнюдь не выборное шоу, не ярмарочная шумиха, поднятая вокруг него — внимание привлекало то Главное, Сущностное, что определяло драматические события конца минувшего года.

I

Несколько недель после выборов пресса гудела, как растревоженное осиное гнездо: победил Жириновский! Обвинения в адрес "одуревшей" России чередовались с мрачными констатациями: демократия погибла.

Поздно же вы спохватились, господа! Разве радикализация массового сознания, приведшая партию Жириновского в Думу, — плод персональных усилий лидера ЛДПР? Разве речи, даже самые истеричные (хотя Жириновский на этот раз высказывался относительно сдержанно и веско) способны резко качнуть общество к одному из политических полюсов?

То, что не под силу ораторам, сделали танки. Они говорят куда громче политиков! Это ваши танки, господа "демократы"! Это ваши наемники день за днем избивали людей только за то, что они выходили на московские улицы защитить Конституцию, принципы парламентаризма.

Вы расстреляли демократию 4 октября и попытались избавиться от мертвого тела. Но 12 декабря труп всплыл на поверхность. Только тогда вы завели заунывные песни.

В одном соглашусь с вами — демократия умерла. Молодая, взбалмошная, говорливая. Даже на исходе сентября, когда кольцо милиции почти намертво схватило Дом Советов, парламентарии часами спорили о повестке дня. Кулаки сжимались:

всех передавят, пока вы отшумите у микрофонов... И все-таки, как сказал Иона Андронов, 600 депутатов, собравшихся на десятый, расстрелянный, съезд, — самый честный и самый лучший парламент в мире!

Да, русская демократия была говорлива не в меру и некстати. Да, она беспомощно отступала перед задачами государственного строительства. Но она была, и была прекрасна! Хотя бы сейчас, на тризне, воздадим ей должное.

Она утверждалась не на ассамблеях и не в затхлых коридорах Кремля. Ее лик ничего общего не имел с "лицом Ростроповича". Юная, она царила там, где кипение жизненных сил, — на площадях.

Я помню дни ее торжества — сам воздух в Москве становился другим. И не только потому, что прекращалось движение автомобилей. Духовный порыв, объединяющий десятки тысяч людей, менял состав загрязненной столичной атмосферы. Свобода, братство, достоинство — привычные абстракции философских трактатов, обретая лицо и плоть, вливались в праздничное шествие.

У нас не было демократической власти. Все самозваные паладины народоправства (политики, журналисты, правозащитники) предали высокую идею, едва дорвались до правительственной кормушки. Отметьте в своих анналах, если вам достанет честности и смелости: это не вы, это патриоты, те, кому вы приклеили ярлыки "красно-коричневые", "фашисты", "враги демократии", поддержали ее в роковое время.

Демократической власти в России не было, но демократия была! Ее устанавливали явочным порядком во время митингов оппозиции, на многолюдных вечерах патриотических изданий, на заседаниях съездов народных депутатов, начиная с памятного седьмого.

Теперь все в прошлом. И я испытываю разноречивые чувства. Понимаю, в моменты, когда великая держава круто меняет курс, демократия не слишком жизнеспособна. А подчас и губительна. Недаром выдающиеся русские умы (и среди них Иван Ильин) мечтали о "просвещенной диктатуре", властной рукой определяющей путь России в переходный период.

Но "просвещенная", тем более, патриотическая диктатура — благая мечта. Тот порядок, что утверждается на октябрьском пепелище, не дает основания для радужных прогнозов.

Дело не в выборах, не в процентах, полученных партиями, не в закулисных интригах, союзах, заключаемых за спиной избирателей, призрачно встающих, словно ядовитые грибы на заброшенных могилах. Отъедешь километров на семьсот от Москвы, оглянешься на эту возню, и ясно станет — ерунда. А вот повсеместная утрата веры в то, что народ может самостоятельно решить свои проблемы, — это серьезно.

Помните всенародные веча на Манежной? Открытые университеты, где люди стремительно познавали науку демократии, воскрешали забытые традиции. Тот вольный дух, ту раскрепощенную, карнавальную стихию, которая, начиная со времен Новгорода Великого, неотделима от русского представления о демократии. Пусть на площади нас выводила общая беда — мы и из этого умели делать праздник!

Ныне дух свободы отлетел. Казалось бы, с точки зрения формальной оппозиция не так много потеряла. После октября мы говорили: пусть хотя бы десяток оппозиционеров пройдут в Думу — все возродится вновь. Через год те же тысячные толпы будут собираться у думского балкона. И вот сотни противников режима избраны в парламент. Прошли первые манифестации. А прежнего ощущения свободы нет.

Это выяснилось уже на сороковой день после расстрела, на панихиде по убиенным. Нет, люди не утратили мужества: тысячи пришли, не имея никаких гарантий безопасности (если бы оружие было применено вновь, узкий проход, ведущий к Белому дому мимо стены стадиона, стал бы гигантской ловушкой). Но это были уже другие люди. Они и не могли остаться прежними. Восторг веры в прямое народовластие — вот что утрачено.

Конечно, мы и раньше не обольщались относительно возможностей нашей демократии. Каждую уступку приходилось брать с боя. Но они были, эти маленькие драгоценные победы — на VII съезде (мы на Васильевском спуске поддерживали боевой дух депутатов), 21 марта, когда сорвалась попытка навязать стране пресловутый ОПУС. В конце концов победой было каждое патриотическое шествие. Шаг за шагом, метр за метром освобождали родную землю. Хотя бы на несколько часов утверждали на ней власть народа.

Свободный порыв уперся в расчехленные автоматы. Куцые метры огороженных гетто — вот вся территория, отведенная ныне народной стихии. Чтобы она не вздумала бунтовать, неподалеку выставили урны — нет, не для мусора, для избирательных бюллетеней. Однако манипуляции во время избирательной кампании были столь цинично обнажены, что десятки миллионов людей просто проигнорировали выборы. Только 55% избирателей пришли на участки. Небывало низкая цифра.

События в Москве — лишь часть глобального процесса. Сумерки демократии — вот реальность конца XX века, что бы ни кричали наемные клакеры о ее всемирном торжестве. Недаром октябрьским выстрелам вторил дипломатический салют во всех "демократических" столицах. "Демократы" приветствовали расстрел

п а р л а м е н т а! Какие еще свидетельства крушения великой идеи нужны после этого!

Впрочем, за свидетельствами дело не станет. Сошлюсь лишь на одно из них — публичное выступление видного американского интеллектуала Ноама Хомски. В конце 1992 года этот профессор привилегированного Массачусетского технологического института прочитал лекцию, озаглавленную "Демократия и власть". С непримиримостью еврейского бунтаря он подверг жесткой критике наиболее лелеемый миф Запада, повествующий о "реальной демократии" в Америке и Европе. "Можно с полной уверенностью сказать, — заявил Хомски, — что... в богатых западных обществах демократия и свободные рынки приходят в упадок по мере того, как власть все больше концентрируется в руках привилегированных элит..."

Следуя классическому правилу полемиста, исследователь предлагает уточнить понятия. Он указывает, что слово "демократия" помимо и с т и н н о г о значения используется и в п р я м о п р о т и в о п о л о ж н о м. "В обычном смысле люди считают систему демократичной, если она дает возможность широкой публике играть значительную роль в управлении государственными делами. В смысле "демократии" (употребляя термин в противоположном значении, Хомски берет его в кавычки. — А. К.), которая используется для идеологического контроля, общество является демократическим, если деловые круги правят без какого-либо вмешательства со стороны беспокойной толпы".

Ситуация, описанная Хомски, живо напоминает не только нашу действительность, но и сюжеты античных драм, где убийцы присваивают себе наследство и атрибуты своей жертвы... Ссылаясь на авторитетных американских социологов, Хомски констатирует, что в современном западном обществе действуют две социальные группы — "ответственные люди" и "бестолковое стадо", как "демократы" именуют простой народ. "... В демократическом обществе, — повествует ученый, — эти два класса граждан имеют две различные функции. Функция ответственных людей, конечно, управлять. Поскольку это демократия, а не тоталитарное государство, бестолковое стадо тоже выполняет какую-то функцию. Эта функция быть "наблюдателями, а не участниками событий", но все-таки этим людям дали сыграть хоть какую-то роль. Время от времени им позволяют "поддерживать того или иного члена класса ответственных людей". Это то, что называют выборами. После этого предполагается, что они разойдутся по домам и будут сидеть смирно".

Завершая язвительную характеристику западного общества, Хомски отмечает, что в нынешних условиях "контролировать толпу силой становится труднее и поэтому приходится все больше полагаться на пропаганду". Далее следует блистательное описание различных методов промывания мозгов. Оно заслуживает того, чтобы быть процитированным полностью: "Индустрия Паблик Рилейшнз тратит огромные суммы денег. Огромные деньги, огромные усилия, которые распространяются на весь широкий спектр коммуникаций и идеологической обработки. В современный период наибольшую роль играет телевидение, которое преподносит картину жизни человека такой, какой она должна быть с точки зрения правительства. Каждый человек должен быть счастливым потребителем, потребляя как можно больше. Многочисленные рекламные объявления пытаются убедить вас, в особенности молодых людей, что лучше потратить все деньги до последнего цента на сникерсы и что-нибудь подобное, потому что именно таким должен быть образ жизни, так нужно жить.

Еще один аспект системы контроля над мыслями — это просто отвлекать. Заставьте людей обращать внимание на что-нибудь другое, а не на государственные дела, это не их дело. Пусть они смотрят по телевидению спортивные состязания, секс или насилие, все что угодно, но не то, что может помочь им самим управлять своей жизнью. Каждый член семьи смотрит его и таким образом люди действительно изолированы друг от друга. Шансы на то, что они обменяются мыслями с соседями, невелики. И если вам удастся изолировать людей в достаточной мере, не имеет значения, что они думают. То есть каждый человек может иметь свои собственные мысли в своей собственной гостиной, но это ни на что не влияет".

Что же, следует признать: сегодняшняя Россия хоть в чем-то догнала Запад. Индустрия промывания мозгов находится у нас на уровне самых развитых стран мира. Чего мы только не насмотрелись в последнее время — и насилия и секса. Разве что спорта не было (видимо, в планы наших хозяев не входит поддержание хотя бы физического здоровья нации).

А за всей этой круговертью Марий, Мейсонов и прочих киноперсонажей, поселившихся в русских домах, шла серьезная работа. Невидимая глазу, ибо от простых смертных ее отгораживали толстые стены кабинетов "ответственных людей". Случайно на миг мне приоткрылось действие одного из периферийных колесиков огромного предвыборного механизма.

Три партии внесли мое имя в федеральные списки кандидатов — РОС, кадеты и народные республиканцы. Причем в списке республиканцев я оказался одним из первых. А было известно (просочились слухи), что сведения о первой десятке каждого списка кладут на стол самому Бурбулису. Но я еще не знал, насколько подробны эти сведения и какой характер имеют.

Как-то раз в моем кабинете зазвонил телефон. Дама, представившаяся сотрудницей одного из ведущих социологических институтов, нащебетав множество комплиментов, попросила позволения прийти и задать вопросы о моем отношении к происходящему в стране. Как выяснилось при встрече, "мое отношение" интересовало ее меньше всего (составители досье могли легко узнать о нем из статей и выступлений). Вопросы касались биографии. Не только моей — всех родственников до третьего колена. То же по линии жены. Причем вопросы весьма своеобразные. Работал ли я (кто-либо из родственников) в кооперативе. Или — владели ли мои (жены) предки землей. Был в списке и классический вопрос о родственниках за границей. Его дополняла новая серия: о родственниках в органах власти, в разогнанном парламенте и даже о друзьях в диссидентском движении. Наверное, ни одна кагэбэшная анкета минувших лет не могла сравниться с этой по дотошности.

Отвечая на вопросы, я прямо-таки физически ощущал, как тренькают невидимые нити, прицепленные к каждому из них. Скажи я, например, что кто-то из близких работал в кооперативе, тут же были бы подняты соответствующие документы. В случае необходимости (если бы я прошел в Думу) меня бы тихонько отвели в уголок и сказали: а не вспомните ли, в таком-то году в вашем кооперативе была крупная растрата... Или — вариант "пряника" — окажись среди родственников владелец поместья, мне могли бы сказать: сейчас обсуждается вопрос о возвращении земель, почему бы не вернуться к вашему случаю. К счастью, я без труда обходил хитроумные тенета, с чистой совестью отвечая на большинство вопросов: нет, нет, нет.

Как известно, Центризбирком "зарубил" списки всех трех "моих" партий. В Думу я не попал, и считаю теперь: слава Богу! Жернова закулисных механизмов только зацепили меня краешком одного колесика и выбросили вон. А ведь на этих выборах кому-то пришлось заплатить кровью, собственной жизнью за неосторожное согласие участвовать в грязной игре.

Я имею в виду Владимира Марина, председателя избирательной комиссии 597-го участка в Москве. Газеты сообщили, что накануне голосования он покончил с собой, оставив записку: "Милые мои, я так сильно обманул людей, что нет мне прощения. Дальше жить не могу" ("Новая ежедневная газета". 14.12.93).

И все — больше никакой информации. Хотя это для нас скандал покрупнее американского Уотергейта! Что имел в виду несчастный председатель? Мелкие манипуляции вроде тех, о которых сообщила та же "Новая ежедневная газета", — приписки "мертвых душ" и даже целых отселенных домов? Или что-то посерьезнее, пострашнее заставило расстаться с жизнью? Не упоминаю о справедливости, но хотя бы профессиональное стремление добыть сенсационную информацию должно было бы побудить журналистов попытаться найти ответ на эти вопросы. Но нет, с советских времен у нас самая дисциплинированная пресса. Она даже не спрашивает приказа промолчать, *сама знает*, когда нужно попридержать язык.

Имея такую прессу, можно уже до начала подсчета голосов провозгласить: Конституция принята! Кого, в самом деле, заинтересует, откуда у г. Костикова такие провидческие таланты. Да и разнобой данных, сообщаемых 12 декабря по ТВ, не привлек ничьего внимания. Еще в 19 часов обозреватель Кива бил тревогу в спецвыпуске РТВ — в Москве проголосовало всего 26% избирателей, в Питере — и того меньше — 15,7%, то есть выборы и конституционный референдум провалились. Но уже через полчаса в 19 ч. 30 м. петербургская программа новостей бодро отрапортовала: проголосовало 40%. Одно из двух: либо российское телевидение пользовалось устарелой информацией (что трудно предположить — ведь правительственные каналы стремились превратить голосование в апофеоз казенной "демократии"), либо после семи вечера в Санкт-Петербурге был зарегистрирован абсолютный рекорд скорости голосования — 25% избирателей (сотни тысяч людей) за полчаса!

Схожая картина наблюдалась по всей стране. В газете "Континент" (1993, № 50) проскользнуло сообщение, что "ранним вечером" "на избирательных участках побывало лишь тридцать восемь процентов граждан, и все эксперты предсказывали конституционный крах". Тем не менее поздним вечером, когда люди не то что на избирательный участок — за спичками из дома выйти не решаются, по комиссиям наскребли необходимые проценты, даже с небольшим превышением — 55.

Какие только рекорды не поставишь, если решается вопрос о Конституции. О судьбе страны и ее правительства (в случае провала конституционных усилий оно — как минимум! — должно было уйти в отставку).

II

Конституцию решили принять во что бы то ни стало. А вот данные парламентского голосования скорее всего корректировке (во всяком случае, значительной) не подвергались. Результаты позволяют выявить истинное отношение народа к центральной власти. За правительственный блок "Выбор России" проголосовало 7% от общего числа избирателей. Девять из десяти граждан, имеющих право голоса, находятся в активной или пассивной оппозиции к власти. Такова реальная расстановка сил. Использо-

вать итоги конституционного референдума как показатель поддержки правительственного курса по меньшей мере некорректно. Основной закон был принят благодаря поддержке Жириновского, находившегося в оппозиции.

Результаты выборов вызвали истерическую реакцию министров из "Выбора России" и прессы. Между тем они не могли быть иными, если учесть ситуацию в стране (то есть оппозиция могла поделить голоса и по-другому, но правительство рассчитывать на поддержку населения просто не имело права).

Сразу после голосования в печати появилось несколько любопытных публикаций! В них систематизированы основные характеристики внутреннего (экономического) и внешнеполитического положения России. Примечателен источник информации. Ее предоставили Г. Арбатов и Е. Примаков.

Даже если не верны циркулировавшие одно время слухи о том, что именно эти люди вместе с А. Яковлевым возглавляют структуры мирового масонства в России, их колоссальное влияние в коридорах власти неоспоримо. Бессменные советники всех кремлевских владык, они и сейчас возглавляют важнейшие государственные ведомства. Тем большее значение приобретают предоставленные ими документы. Я имею в виду Специальный доклад Института США и Канады, составленный под редакцией Г. Арбатова, и доклад Службы внешней разведки, подготовленный под руководством Е. Примакова.

Материал Г. Арбатова, выдержки из которого опубликовал элитарный еженедельник "Век" (1993, №49), дает впечатляющую картину краха экономических реформ Ельцина — Гайдара. За период 1992—1993 годов уровень жизни 120 миллионов человек (4/5 населения страны) упал на 60—80%. Для них стали недоступными потребительские товары длительного пользования (холодильники, телевизоры, стиральные машины и пр.). Существенно снизилось потребление продуктов питания — мяса на 21% (по сравнению с 1989 годом), молочных продуктов на 34%, фруктов на 32%.

По состоянию на весну 1993 года более половины населения имело доходы ниже прожиточного минимум, 14% — ниже минимума физиологического. Причем численность этой категории людей стремительно возрастает (троекратно за один квартал 1993 года).

Обнищание нижних социальных слоев шло на фоне сверхобогащения высших. Соотношение дохода 10% самых бедных и самых богатых частей населения равнялось 1:50 (для сравнения: в 1989 году в СССР оно составляло 1:5, в ФРГ — 1:7, в США — 1:14).

Катастрофична ситуация в промышленности. За три последних года объем производства упал на 40—45%. "Особенно тяжелое положение с инвестициями, — отмечается в докладе. — Их общий объем сократился на 11% в 1991 году, 53% в 1992 году и на 15% в 1993 году, т. е. упал за эти годы почти в 3 раза. Учитывая темпы выбытия основных фондов, значительно превосходящие темпы их обновления и ввода, можно сказать, что Россия в настоящее время интенсивно "проедает" свой основной капитал".

Во внешнеполитической сфере доклад ставит вопрос о "сохранении национальной идентичности России". Резкой критике подвергается политика МИДа и даже самого Козырева — главного представителя атлантизма в Москве. Любопытна причина, вызывающая протест. Она позволяет понять специфическую заинтересованность Г. Арбатова, которая, видимо, и побудила его выступить с публичным осуждением нынешнего курса. "На первом месте в этом смысле (имеются в виду негативные последствия линии МИДа. — А. К.) — дезориентация внешних партнеров России в понимании происходящих в стране событий и процессов".

Опытный и сравнительно независимый Г. Арбатов сурово корректирует поведение не в меру усердствующего А. Козырева — выдавая желаемое за действительное, глава МИДа невольно обманывает мощные мировые силы. Это недопустимо — предупреждает академик. (То, что эта полемика начата в открытой прессе, указывает, видимо, на неоднородную позицию внутри самого атлантистского сообщества, вот и приходится служащему не за страх, а за совесть старому эксперту, минуя обычные каналы, обращаться к заокеанским руководителям.)

Г. Арбатов предостерегает и от слишком явной оглядки на внешние силы. По его мнению, это провоцирует антизападные настроения у населения. "Накопленная неудовлетворенность части общества реформами в их радикальной версии неизбежно примет, если этому не помешать, форму антизападных выступлений и ксенофобии", — таков итог анализа положения в стране.

Вероятно, те же опасения побудили Е. Примакова, шефа внешней разведки, протестовать против чересчур уже явного игнорирования внешнеполитических интересов России. "Даже самые верные друзья и союзники, — излагает его точку зрения газета "24" (14.12.1993), — еще вчера клявшиеся в верности, находят нужным обвинить Российскую Федерацию в имперских замашках и агрессивной экспансивности". Далее следует поразительный, даже если учесть, что он намеренно драматизирован журналистом, пассаж: "О реальности ее (внешней опасности. — А. К.), набравшись смелости, как и в июньские дни 1941 года, открыто сказали мужественные разведчики".

Право, неладно что-то в Датском королевстве, то бишь в РФ, если Евгению Примакову приходится выступать в роли Рихарда Зорге. Сокрушительной критике подвергается в

докладе военная доктрина, которая является предметом особой гордости президента Ельцина и генерала Грачева как их личный вклад в безопасность государства. "Военная доктрина России, — излагает документ газета "24", — составленная в спешке и без учета новых европейских факторов, не отвечает актуальным проблемам в обеспечении безопасности..." Служба Примакова предупреждает: "... Пока идут споры, стратеги НАТО времени зря не теряют. Их авангардные силы разворачиваются для движения на Восток. Сегодня путь им свободен, а как будет завтра — зависит от каждого из нас, всех, кто любит Россию, желает видеть ее независимой и сильной".

Ведущие аналитики, придерживающиеся отнюдь не патриотических позиций, констатировали полный провал внешней и внутренней политики президента и правительства. Какие цели они преследовали при этом, какие игры разворачиваются сейчас — в который раз! — за картонным задником помпезной кремлевской сцены — другой вопрос. Отметим очевидное: з а к л ю ч е н и я э к с п е р т о в с о в п а л и с н а с т р о е н и я м и п р о с т ы х л ю д е й, в ы р а ж е н н ы м и н а в ы б о р а х. Т е и д р у г и е в д о в е р и и п р а в и т е л ь с т в у о т к а з а л и.

III

На фоне всеобщего разочарования политикой властей особенно скандальной выглядит позиция прессы. Выборы выявили не только несостоятельность правительства, но и позорную ангажированность средств массовой информации, претенциозно именующих себя "демократическими". Пожалуй, это их главный результат.

Разгребать потоки густой брани, пролившейся со страниц десятков изданий, — занятие малоплодотворное. Куда интереснее типологическое исследование: портрет разгневанной демпрессы постсоветского периода. Составить его не представляет большого труда. Всякое слово характеризует не только предмет высказывания, но и того, кто его написал. В обличительном раже, охватившем ее после выборов, столичная печать беззастенчиво обнажала ту изнанку самосознания, тот душевный испод, который в приличном обществе принято прикрывать стыдливо.

Показательны публикации неизменного официоза — газеты "Известия". Откроем номер от 16 декабря — полоса "Россия после выборов". Здесь помещено четыре материала. Три написаны журналистами, один сотрудником аппарата Совмина. Аппаратчик сразу указывает на причину победы Жириновского — название статьи объясняет все: "Инфляция бросает избирателей в объятия политических авантюристов". Оставим на совести автора бранный эпитет (профессионалу он вроде бы не к лицу). Но по крайней мере с очевидностями автор умеет разобраться. Обнищание; общественное недовольство; голоса, отданные за наиболее напористого оппозиционера, — причинно-следственная цепочка выстраивается легко.

Не то у тружеников пера. Катастрофическое снижение жизненного уровня 80% населения — та бытовая реалия, замечать которую им строго-настрого запрещено. Или они сами себе запрещают. Не знаю. Во всяком случае, ищут причины поражения Гайдара совсем в другой стороне.

Где же? А там, где положено искать причину всякой неудачи сотруднику официоза еще с брежневских времен. В чрезмерной... гласности! В недостатке партийной дисциплины.

Лев Тимофеев с обворожительной откровенностью сетует: "... Умели же между собой договориться в рабочем порядке и Шохин, и Чубайс, и Шахрай, н е в ы н о с я с в о и н е с о г л а с и я д р у г с д р у г о м н а н а р о д н ы й с у д" (разрядка моя. — А. К.). Вообще-то между лидерами разных партий, пусть и вскормленных одной властью, какие-то несогласия — хотя бы для проформы — должны быть! Это — азбука демократии. Так же как и то, что именно "несогласия" — различные варианты политического курса — партии выносят на "народный суд". В чем и состоит смысл выборов. Однако журналисту, охваченному верноподданническим рвением, не до азов демократии. Лучше бы никаких споров не было — мечтает он. И "народного суда" — тоже. А если президент повелел, то пусть бы все выступали заодно, единогласно за существующее правительство.

Я ничуть не окарикатуриваю. Л. Тимофеев искренне изумлен: как же так, "реформы... отвергаются и критикуются уже не Верховным Советом, а теми людьми, которые и ассоциировались... с реформами". Мир постсоветского журналиста (так же как и его советского коллеги) статичен и немногоцветен — есть силы черные и белые. Их функции неизменны. Верховному Совету — олицетворению зла для обозревателя "Известий" — п о л о ж е н о критиковать. А членам правительства, в какой бы партии они ни состояли, н е п о л о ж е н о. Вопрос о п р о д у к т и в н о с т и реформ, об их ценности — социальной, экономической и т. д. — просто не ставится. Соответственно и мысли не возникает о том, что даже у рьяных реформаторов отношение к делу рук своих может меняться. Что на него может повлиять жизненный опыт, да и сам ход эксперимента.

Реформы объявляются такой же а б с о л ю т н о й ц е н н о с т ь ю, как 30 лет назад строительство коммунистического общества. Все, кто противится им, зачисля-

ются во враги. У Тимофеева отрицательные черты столь знакомой советскому читателю фигуры Врага концентрируются почему-то в образе философа А. Ципко. Впрочем — "почему" выясняется тут же. Неслыханное дело: он подал руку Жириновскому! Помните, как в былое время читателей учили сторониться классовых врагов, а при случае демонстрировать им праведное презрение. А тут — вежливое рукопожатие! Известинец не в силах сдержать гнев: "Мерзко было видеть во время ночной трансляции из Кремлевского Дворца съездов, как бывший философ-демократ г. Ципко ручкается с Жириновским, торопясь поздравить того с победой. Лично мне уже никогда не захочется подать руку и самому г. Ципко, с которым прежде мы были знакомы..."

Прямо-таки мемориальный жест из забытых агитпроповских кинолент доброго старого времени: изменнику руки не подам. Кстати, обратите внимание на многозначительное уточнение: "бывший философ-демократ". Журналист "Известий" соблюдает трогательную верность традициям газеты. И в роковые тридцатые, и в более близкие шестидесятые она (как и вся почти советская пресса) была верна железному закону: человек, оказавшийся Врагом, автоматически лишается регалий, профессии, достоинства. Философом он слыл до совершения проступка, теперь он "бывший философ".

А Станислав Говорухин, провинившийся перед властью покрупнее, чем Ципко, даже не "бывший режиссер", а просто "архиреакционер". Со времен ленинских работ это определение свидетельствовало о крайней степени осуждения. Тут уже никаких пояснений не надо: "Чего стоит одно только включение в избирательный список ДПР архиреакционера Станислава Говорухина". Конечно, т а к и х следовало бы включить в иной список...

Но я отвлекся — приведенная цитата принадлежит не сотруднику "Известий", а политологу А. Киве, выступающему в соавторстве с Ю. Александровым на страницах другого официоза "Российской газеты" (11.12.1993). Не правда ли, похоже на Л. Тимофеева? Один стиль, одни приемы. Они и в "Известиях" соседствуют — Л. Тимофеев и А. Кива. Здесь политолог столь же яростно обличает несогласных с генеральной линией: "Позиция Явлинского порой просто потрясает"; "когда о некой возможности альтернативной политике шоковой терапии (так в газете. — А. К.) заявляет Гавриил Попов... то это вызывает просто недоумение". Какое мастерское владение словом! Какое разнообразие полемических приемов. Какая лексика, наконец: "Наши интеллектуалы и находящиеся в их руках или под их влиянием СМИ развязали оголтелую кампанию против президента... " Сам автор бессмертного Постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград" не мог бы написать лучше.

Скажут: стоит ли уделять много места текстам такого рода? Несомненно. Это не просто текст — образчик, характерный экземпляр из Коллекции. Помните:

Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну, что за пестрая семья!
За ними где не рылся я!
Зато какая сортировка!

И мне пришлось немало порыться в кипе изданий. Приведенные цитаты взяты из органов, достаточно респектабельных. Можно представить себе творческий портрет журналиста более разухабистых постсоветских листков. Хотя зачем же фантазировать. Лучше предоставить ему слово. Опять о выборах: "Хотелось бы мне взглянуть и плюнуть в глаза тому горе-руководителю, демопартии, крату, который придумал такие "теледебаты". На бедную Россию потоком изливались ложь, ненависть к людям, призывы к гражданской войне... Да, приняли, кажется, с огромным трудом, конституцию. Но никто демократам не даст повторно расстрелять парламент и пересажать новых депутатов по тюрьмам". П. Гусев — главный редактор "Московского комсомольца" (14.12.1993).

Тирада позабористее, чем у Кивы или Тимофеева. Но суть та же. За что распекает Гусев безымянного "крата" (кстати, можно и фамилию назвать, скажем, Брагин): а за то, что недоглядел, позволил противникам режима "изливать ложь". Надо было, видимо, устроить такие "дебаты", чтобы звучали одни похвалы реформам. А теперь поздно — пропустили смутьянов в Думу, расстрелять бы, да никто не даст.

Государственным рвением охвачен и некий Богомолов. Он сетует — где же? — в оплоте либерализма "Московских новостях": "В продолжении всей предвыборной кампании журналисты кол на головах тесали у руководителей государственных телекомпаний по поводу возможных последствий неконтролируемой социальной демагогии" (1993, №51).

Представьте, какие у нас бдительные журналисты. Правительственные чиновники, недосмотрели, не проконтролировали, а труженики пера, радея о власти, изнемогали, требуя ввести к о н т р о л ь, то есть политическую цензуру в эфире. Между прочим, это тоже славная традиция — журналисты у нас бдительнее чиновников. Как-то мне пришлось познакомиться со стенограммой одного партийного собрания, проведенного в редакции газеты "Правда" в 1937 году. В работе принял участие сам т. Жданов. Пришел

и обьявил: в газете работает NN, враг народа. Так правдисты дерзнули не согласиться с высоким товарищем. Почему только NN, у нас еще X, Y, Z работают — тоже классовые враги. Всех посадить следует...

В декабрьской горячке говорили много, не стесняясь. Потом, наверное, кое-что из сказанного и напечатанного хотели бы взять назад. Ну, например, прозвучавший в Доме российской прессы и с восторгом растиражированный газетами призыв создать "свою ("демократическую". — А. К.) разведку и контрразведку, законспирированные (так!) типографии и радиостанции, отряды самообороны" ("Коммерсантъ-Daily". 16.12.1993). Своеобразное представление о демократии у наших мастеров слова. Не поймешь, то ли Антифашистский фронт создают, то ли подпольную террористическую организацию. Зачем? Вроде бы власть и так в их руках. Или светочи "демократии" из отрядов самообороны будут, подобно "эскадронам смерти" в Латинской Америке, выполнять самую грязную работу, о которую не захотят пачкать руки государственные спецслужбы.

В те дни было затронуто много опасных, обычно скрытых от широкой публики тем. В том числе и национальная. "Полуеврей", "выкрест" — эти слова то и дело мелькали на страницах демпрессы в бранном контексте. Метили в Жириновского. Быть может, так — с досады. Быть может, выводя из истории, что самые яростные антисемиты выходят из двенадцати колен Израилевых, поэтому "сына юриста" следует опасаться всерьез (тогда еще он был загадкой для большинства журналистов).

Не знаю, о чем они думали. "Меня не касается трепет его иудейских забот", как выразился Осип Мандельштам. Знаю только, что либеральная общественная цензура, столь чутко реагирующая на каждое непочтительное упоминание об этой национальности, на сей раз равнодушно молчала. Значит, им дозволено ругать "полуевреев" (а может, и евреев?), если нужно для дела...

Ну, а русских позволено ругать всем, кому не лень. Хоть Минкину, хоть Гуревичу, хоть Карякину — каждому, кто пожелает. Их и бранили больше всего. "Россия, одумайся! Ты — одурела" — аршинными буквами взывал "Московский комсомолец" (14.12.1993). Мадам Боннэр со страниц "Курантов" разочарованно признавала, что "демократы" "не смогли из народа воспитать гражданское общество" (14.12.1993).

В том же номере мэрский листок с радостью отмечал: в Москве "Выбор России" в 2—3 раза опережает ЛДПР и коммунистов. "Но столица — это еще не вся Россия, — вздыхали журналисты и с невинным кокетством, кстати вполне провинциальным, замечали, — там, в глубинке, не читают такие газеты, как "Куранты".

Там и свои такие издаются — засвидетельствую, проездившись по России. В городе Старый Оскол, где оказалось много сторонников Жириновского, местная газета вышла под шапкой "Звериная харя Старого Оскола" (18.12.1993). Журналист в самозабвенном раже утверждал: "... В нашем городе живет фашистов почти 40 процентов активных избирателей. А в районе их вообще большинство от проголосовавших — 50,2 процента".

Наверное, скромный поборник местного прогресса сморозил такое в полном отчаянии от победы ЛДПР. В небольшом городе делать подобные заявления весьма рискованно. Если он и отличается от столицы, то не отсутствием собственных "Курантов", а тем, что сотрудникам газеты приходится ежедневно встречаться со столь ненавистными горожанами, которые могут в один прекрасный день поинтересоваться, какой оскал бывает у слегка помятой "демократической" хари.

И чем чаще этим людям приходится встречаться со своими соотечественниками, тем больше, тем безумнее они боятся. Именно потому что русских в РФ большинство. Не 50,2, а 82%. И в критические моменты, когда натянутые нервы сдают окончательно, "демократы" кричат, переходя на петушиный фальцет, что-нибудь о "звериной харе". И еще откровеннее — в роковые октябрьские дни один из участников телепередачи "Тема" (5.10.1993) воскликнул с неподдельным ужасом: "О какой победе можно говорить, если десятки тысяч человек, которые поддерживали бывший Верховный Совет в Москве, ходят по улицам, они не убиты!"

Впрочем, стоит ли так волноваться? Если "демократам" не повезло с коренным народом, не проще ли отбыть к людям, более близким по менталитету? Или хотя бы заменить правительство, не устраивающее народ. Как не без остроумия заметил обозреватель "Независимой газеты": "Легче сменить десяток министров, чем многомиллионный электорат" (15.12.1993). К несчастью, "демократы" никак не додумаются до такого простого решения вопроса.

IV

А что же главный виновник всего этого шума, Владимир Жириновский, спросит нетерпеливый читатель. Сомневаюсь, чтобы он был главным — у "демократов" главный виновник всегда народ. Их пресса так и раздавала тычки — побольше русским, а остальное "сыну юриста". Западные газеты и вовсе предпочитали разграничивать "интересную личность" лидера ЛДПР и "косный консервативный народ", отдавший ему свои голоса.

Спустя некоторое время их примеру последовала отечественная пресса. Уже 15 декабря бранчливый тон "Курантов" изменился: "В смокинге, в галстуке-бабочке поя-

вился вчера на пресс-конференции лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. Перед журналистами предстал совсем другой человек..." Если простодушные "Куранты" судят по "одежке", то информированный "Деловой мир" сразу схватывает суть: "... В кассе ЛДПР имеется в настоящий момент более миллиарда рублей..." Газета отзывается о лидере партии не без иронии, но в целом благосклонно: "... Безусловно высоко эрудированный человек, прекрасный оратор" (16.12.1993).

Жириновский интересен прежде всего окружением. Кто стоит за ним, как, какими методами делают из него общенационального лидера — вот что составляет интригу.

Методы проследить поучительно. Не только для того чтобы понять феномен Жириновского. Мы получаем редкую возможность разобраться в работе пропагандистской машины, увидеть ее тайный механизм.

Все повторяют — сейчас нет лидера! И тут же, кто с восторгом, кто с ненавистью, а большинство пока что с иронией называют Жириновского в качестве единственного кандидата на вакантное место. А давно ли он выдвинулся? Даже не вспомнить — где-то прямо перед выборами, а уж после о нем говорили все. Удивительно своевременное превращение гадкого утенка в лебедя!

Если вдуматься, оно просто поражает. Либо у человека есть обаяние, талант, харизма — все то, что делает из простого смертного руководителя масс, вождя, либо эти качества отсутствуют. Но чтобы они проявились на пятом десятке, прямо к назначенному впопыхах сроку, как по команде...

В том-то и дело, что п о к о м а н д е. В наших специфических условиях лидерами не становятся, их д е л а ю т. Телевидение, радио, пресса. В разноголосице мнений, вызванной триумфом Жириновского, утверждения, что СМИ боролись против него и что они создали ему победительный имидж, причудливо переплелись. Тем интереснее попытаться установить, что же происходило на самом деле.

Жириновского часто показывали по телевизору — это отметили все. Пять часов эфирного времени непосредственно перед выборами — подсчитали дотошные наблюдатели. И тут же обвинили Брагина в том, что он играл против "демократов". Помилуйте, Гайдар восседал на экране четыре часа пятьдесят две минуты — практически столько же, сколько лидер ЛДПР. И это не считая официальной хроники, где он царил безраздельно.

Значит, дело не в том, чтобы просто попасть на экран. Министрам, с которыми народ связывает гибельные реформы, уже и телевидение не может помочь. Эффект выхода Жириновского к зрителю в том, что в "Останкино" прорвался представитель оппозиции. То, что не удалось сделать Руцкому с Макашовым 3 октября, за что десятки людей заплатили жизнью.

Но эфир предоставляли не одному Жириновскому. Правда, другим лидерам оппозиции, в том числе Геннадию Зюганову, обладающему своеобразным мужественным обаянием (что отмечают даже его противники), времени выделялось в два-три раза меньше. И все-таки они часто мелькали в информационных и иных программах. Почему же общественное внимание фокусировалось на Жириновском?

Именно потому, что они в основном м е л ь к а л и в качестве безгласного изображения с дикторским текстом за кадром (подчас саркастическим, если не прямо враждебным), а Жириновскому была предоставлена уникальная для представителя оппозиции возможность г о в о р и т ь с н а р о д о м.

Кроме того, каждое его выступление обрастало комментариями, обретало резонанс. Я давно заметил, что в перенасыщенном информацией социопространстве недостаточно высказать какое-либо мнение, идею. Обязательно нужен партнер-комментатор, который тут же воскликнет: посмотрите, какая оригинальная идея! Тогда и только тогда она получает шанс на внимание.

Правда, комментаторы (особенно газетные), как правило, поносили Жириновского. Причем вполне искренне. Я не согласен с теми патриотическими аналитиками, которые видят в кампании поношений Владимира Вольфовича примитивный спектакль. Это сценическое действо было организовано гораздо более изобретательно, чем может показаться на первый взгляд. Именно участие ничего не подозревающих профанов из числа пишущей братии придавало ему особую достоверность. Никакого информационного заговора. Достаточно джентльменского соглашения маленькой компании "ответственных людей". Они задают тон, а там чем больше непосвященных включается в игру, тем лучше: они возмущаются, кричат, раскапывают "убийственные" подробности и — работают на сценарий.

Более того, даже противники сценария из числа информированных (такие, как П. Гусев, И. Голембиовский, чьи л и ч н ы е интересы не совпадали с устремлениями организаторов шоу) ничего не могли изменить в разворачивающейся игре. Все их публичные демарши только усиливали шум вокруг лидера ЛДПР, что и требовалось режиссерам предвыборного спектакля.

Однако ругали не только Жириновского — всех лидеров оппозиции. Почему же ему одному это шло на пользу? Ответить на этот вопрос — значит разгадать фирменный фокус наших средств массовой информации.

Смотрите, еще Горбачев, стремясь раздавить Ельцина, приказал развязать против него пропагандистскую войну. Каждый шаг опального политика освещался, казалось

бы, максимально придирчиво. А он выходил сухим из воды (в буквальном и переносном смысле). "Травля" в прессе не уменьшала, а увеличивала его популярность.

Встав во главе государства, Ельцин, подобно своему предшественнику, воспользовался мощью СМИ. Пресса последовательно сокрушала авторитеты Руцкого, Хасбулатова, Бабурина, Зюганова, Анпилова — и каждый раз с неизменным (хотя, быть может, лишь частичным) успехом. Чем объяснить, что одно и то же средство дает совершенно разный эффект?

Именно анализ работы СМИ с имиджем Жириновского позволяет найти ответ. Средство во всех случаях было одно (резкая критика), но отпускали его по разным рецептам. Приглядитесь и обнаружите, что кампания против Жириновского проводилась совсем по иным законам, чем против лидеров "непримиримой" оппозиции. Однако разительно напоминала давнюю кампанию "дискредитации" Ельцина!

И надо отметить — "рецептура" составлялась на основании блестящего знания общественной психологии. Рядовой гражданин стремится открыть в политике прежде всего ч е л о в е к а. Программы, графики, цифры, даже партийные лозунги (кроме простейших) ему скучны и малопонятны. И это отнюдь не от недостатка ума, напротив, здравый смысл подсказывает простому человеку, что весь этот пропагандистский ширпотреб сразу же после выборов превратится в обычную макулатуру. Заманчивые обещания, как правило, трудновыполнимы. Поэтому избиратель не обращает на них большого внимания. Ему важно другое: м о ж н о л и п о л о ж и т ь с я н а ч е л о в е к а, с т о я щ е г о в о г л а в е д в и ж е н и я. Обманет он или нет, испугается трудностей или решительно двинется вперед. Короче, что он за мужик.

Так вот, формально компрометируя Жириновского (как в свое время Ельцина), СМИ говорили о нем прежде всего как о человеке, об индивидуальности, личности. Мы узнавали о Владимире Вольфовиче все — как несладко пришлось ему в детстве (абсолютная аналогия с созданием имиджа Е. Б. Н.), как он преодолевал бесчисленные препятствия на пути к признанию. Все это сопровождалось ворохом мелких подробностей, милых сердцу обывателей, вплоть до того, в какой костюм был одет лидер ЛДПР.

Вот по таким рецептам и создан Жириновский. Надо отдать ему должное: СМИ нашли в его лице яркого и талантливого партнера. Совместными усилиями он был подан как личность — крупным планом. Причем индивидуальный образ умело совместили с тем западным идеалом, который уже несколько лет насаждается у нас всей мощью отечественной и зарубежной пропаганды, — Ч е л о в е к а, с д е л а в ш е г о с а м о г о с е б я. Почитайте многочисленные журналистские вариации на тему, заданную книгой Жириновского: как скромному студенту престижного вуза нелегко было пробиться в компании сыновей высокопоставленных особ — и вы своими глазами увидите технологию создания имиджа. И почти наверняка ощутите солидарность с бедным пасынком мидовского истэблишмента.

А что вы знаете об индивидуальных чертах Зюганова, Бабурина, Анпилова? Что вам п о з в о л е н о было узнать о них? Только общие сведения: "непримиримые", "красно-коричневые", "консерваторы". Это не лица — маски! Но ведь должны же они различаться? С позиции здравого смысла — да. С точки зрения пропаганды — нет. И пропаганда умеет подавить здравый смысл, заставить его замолчать.

С Руцким было труднее — его образ, хотя бы эскизно, создавался еще в эпоху тандема Ельцин — Руцкой. Несколько привлекательных индивидуальных черт (боевой летчик, прямой и решительный человек) успели запасть в сознание людей. Ну так правительственной пропаганде впоследствии так и не удалось до конца сокрушить его рейтинг. Зато индивидуализация черт Хасбулатова поощрялась: его нервный характер, его язвительность и прежде всего чеченское происхождение позволяли мастерам политической косметики поупражняться в создании образа коварного восточного деспота.

Все это объясняет, к а к с о з д а л и Жириновского. Но д л я ч е г о? Полагаю, непосвященные репортеры не лукавили, связывая с лидером ЛДПР опасения за судьбу "демократии". Более того, если они имели в виду персоналии, казенных "демократов" в правительстве, то были правы — для лидеров "Выбора России" Жириновский представляет серьезную угрозу. И все же думаю, прав был обозреватель влиятельного "Века", озаглавивший статью "Успех ЛДПР — победа демократов. Положение Бориса Ельцина и его окружения, скорее всего, укрепится" (1993, №49).

"Веку" вторит "Megapolis-express" — еще одно осведомленное издание для деловых людей. Комментарий, помещенный здесь, озаглавлен: "Владимир Вольфович как выбор Кремля" (1993, №50). "Оглушительная цифра собранных партией голосов получена искусственным путем в результате политических махинаций правящей элиты", — считает политолог В. Пастухов. Со знанием дела он показывает, как обеспечивался режим наибольшего благоприятствования: беспрепятственный доступ к эфиру, насильственное исключение из предвыборной борьбы конкурентов, обладающих наибольшим влиянием на патриотически настроенных избирателей.

Впрочем, автор, на мой взгляд, упрощает проблему. Закулисными манипуляциями можно создать привлекательный образ политика. Чтобы обеспечить его победу, требуется большее — подготовленная социальная среда, тот самый электорат, о котором вскользь

упоминает В. Пастухов. Полагаю, электорат Жириновского был несколько иным, чем круг традиционных сторонников Бабурина и других лидеров патриотической оппозиции. Убежденные патриоты вряд ли дали основной процент полученных им голосов. Они не могли простить лидеру ЛДПР ни восседания в ельциновской Конституционной комиссии, ни одобрения октябрьского расстрела. Голоса активных участников патриотического движения распылились в основном между тремя партиями — коммунистов, аграриев и ДПР (включившей С. Говорухина в свой список). Значительная часть вообще бойкотировала выборы, считая их незаконными и нечестными (после исключения из борьбы РОСа, кадетов и других партий).

Жириновский собрал голоса рядовых избирателей, тех самых, далеких от всякой идеологии простых людей, которые в любой стране составляют "молчаливое большинство". То, что они отдали голоса ЛДПР, показывает — молчание начинает тяготить этих людей, их переполняют эмоции, и в Жириновском они надеются обрести свой голос.

Нетрудно понять, что за эмоции клокочут здесь: гнев обманутых и обобранных. Именно простой человек, обыватель, представитель среднего класса стал главной жертвой двух важнейших правительственных программ: "шоковой терапии" и дезинтеграции страны. Одним махом он потерял все — скромные сбережения, заработанные многолетним трудом, привычное жизненное пространство, заполненное деловыми и семейными связями, смысл жизни и горделивое (пусть и пассивное) сознание причастности к государственной мощи.

За Жириновского голосовал не убежденный оппозиционер, а стихийный государственник, честный служака с натруженными руками, униженный нынешним порядком вещей. И лидер ЛДПР гениально (признаю!) нашел тон, безотказно действующий на таких людей. Он критиковал режим как лидер оппозиции, но говорил не как маргинал, а как *властьимеющий*. Не спорил — утверждал: я сделаю, пошлю, запрещу. Люди, которые могли бы инстинктивно дистанцироваться от маргинала, доверчиво откликались на властное слово — с тем большей готовностью, что всю жизнь они честно служили государству и получали от него защиту. И вот теперь Власть, персонифицированная в образе Владимира Вольфовича, спускалась к ним по гранитным ступеням, чтобы решительными мерами обеспечить им (и их стране) достойное место в мире.

Жириновский ни у кого не "уводил" голоса. Он получил ровно столько, сколько дала ему политика руководства РФ. Голоса униженных, ограбленных, выбитых из колеи. Злая насмешка судьбы заключается в том, что в перипетиях политической борьбы голоса этих людей могут помочь части руководителей удержаться у власти до конца отмеренного срока!

Здесь мы подходим к тому, что я называю *президентским вариантом сценария* Жириновского. Обозреватели, намекая, что этот "сокол" нужен Ельцину, предпочитают не уточнять: зачем? Только Т. Корягина в "Советской России" отважилась высказать версию: "Западом... списывается в "архив" фигура Ельцина. Этому может способствовать и состояние здоровья Б. Ельцина, и не всегда адекватное командам Запада его поведение" (14.12.1993).

Что касается своеволия Е. Б. Н., думаю, Т. Корягина сильно преувеличивает. Так же как в случае определения очередного западного фаворита, которым она считает М. Горбачева (хотя критический залп по правительству, произведенный давними соратниками бывшего генсека — Г. Арбатовым и Е. Примаковым, показывает, что подспудная работа ведется и в этом направлении). Но главное Корягина уловила: Ельцин утрачивает поддержку закулисных сил.

После всех официальных одобрений расстрела Белого дома это может показаться невероятным. Но в том-то и дело, что сам расстрел был страшной подставкой, недопустимой в отношении лидера, которого собираются сохранить. Руками Ельцина убирался Верховный Совет, все более осознанно становившийся на защиту государственных интересов России, а затем... Двойные выборы должны были дать измученной стране новый парламент и нового президента, не замешанного в междоусобную бойню.

Быть может, не столько сам Запад (которому наши персоналии не так уж важны, лишь бы обеспечивались интересы), сколько ориентированные на Запад "демократы" в правительстве Ельцина явно подставляли своего шефа. Поэтому и события, начиная с 21 сентября, развивались сумбурно, скачкообразно, словно бы несколько сценариев наложились один на другой.

Когда ОМОН начал избивать дубинками не только российских граждан, но — о ужас! — иностранных корреспондентов (другие беспрепятственно снимали все это), когда центр Москвы опутали колючей проволокой, — возникла мысль: дни политической карьеры президента сочтены. Признаюсь, я сделал из этого ошибочный вывод, что где-то за рубежом решили отдать победу Верховному Совету. А замысел оказался хитрее — сначала одних, потом другого...

Почувствовав, куда поворачивают события, Ельцин стал форсировать силовое решение вопроса и одновременно попытался дистанцироваться от неизбежной крови, уехав в подмосковную резиденцию. Грязную работу, по-видимому, должны были сде-

лать помощники (президент "ничего не знал"?). Однако "третья сила" с железной последовательностью проводила свой сценарий: без Ельцина в Москве никто не пошевельнул и пальцем, более того, ему пришлось л и ч н о подписать приказ об использовании армии. Кто-то был очень заинтересован в том, чтобы копоть от московского пожара осела на пиджаке президента.

Тогда-то Жириновский и был извлечен из небытия. Стал тайным оружием президента. Против кого? Против тех, кто расчетливо компрометировал Ельцина в октябре, готовя его провал на досрочных выборах в июне. После успеха Жириновского, увенчавшего закулисные усилия, Ельцин поспешил отменить досрочные президентские выборы (обратили внимание, кто громче всех сокрушался по этому поводу? а также на то, как отличалась спокойная реакция президента на победу ЛДПР от истерических выкриков министров "Выбора России" и близкой им прессы?).

После выборов можно с большой долей уверенности сказать, что интересы Б. Ельцина и его окружения далеко не во всем совпадают с устремлениями политиков из "Выбора России". Президент, добившийся единоличной власти, заинтересован в сохранении статус-кво (в принципе — момент положительный). Это отличает его от радикальных "демократов", которые еще в середине восьмидесятых провозгласили стратегию нестабильности и до сих пор действуют в соответствии с ней. После резких заявлений Г. Бурбулиса, Л. Пономарева и Г. Якунина раскол в правящем лагере стал очевиден. В то же время неоднородность как президентской, так и "демократической" группировок, а также зависимость обеих сторон от Запада в значительной мере лишают их возможности вести резко выраженную собственную игру.

На спринтерской дистанции в три месяца Ельцин "сделал" радикальных "демократов". Жириновский — идеальное средство давления. В случае обострения борьбы его используют для того, чтобы выдавить из правительства команду "Выбора России" — поодиночке или целиком. "Я был бы счастлив работать с вами, но ради сотрудничества с Думой придется пожертвовать лучшими друзьями" — такую или примерно такую тираду может произнести президент в нужный момент. Но скорее всего, крайние меры не потребуются. Угроза Жириновского будет удерживать "демократов" от активного противоборства с Ельциным[1].

Президентский вариант, по замыслу его разработчиков, имел еще один чрезвычайно выгодный для Е. Б. Н. аспект. Он призван был обеспечить Ельцину долговременную поддержку Запада как гаранту "русской демократии" от наступления "фашизма"[2].

В газете "Век" читаем еще об одном важном аспекте сценария. Жириновский призван скомпрометировать патриотическое движение, предельно окарикатурив его лозунги: "Жириновский как бы выполнял функцию "самоотрицания" патриотического движения... "Патриотическая трагедия" переведена в комедийный жанр, а в этом колоссальная победа демократов в "знаковой войне", в войне имиджей и социальных стереотипов" (1993, №49).

Помимо президентского варианта, по-видимому, существует и ряд других, связанных с успехом Жириновского. В частности, "атлантистский". О нем писали газеты, наиболее подробно "Правда". "... Воинственная риторика лидера ЛДПР пока воспринимается Западом как бенгальский огонь... Но и фейерверк поджигательских фраз делает свое дело. Он очень удобен и выгоден для Запада. Исчез жупел "советской угрозы", "империи зла", но можно ссылаться на непредсказуемый и тревожный "синдром Жириновского"... Проведя обстоятельный анализ, правдист-международник заключает: "Не знаю, откуда появился миллиард, истраченный, по некоторым оценкам, на рекламную предвыборную кампанию Жириновского, но на месте военно-промышленных кругов Запада я бы не пожалел денег. Они окупятся сторицей" (17.12.1993).

Добавлю, "синдром Жириновского" пригоден не только для оправдания продолжающейся гонки вооружений и окружения России "санитарным кордоном". Воинственные тирады могут быть использованы как предлог для агрессии против ослабленной России. Хотя, скорее всего, Запад не решится послать к нам войска. Для него предпочтительнее другой вариант: истребление славянских народов руками самих славян. Это сулит

---

[1]Когда статья была сверстана, выяснилось, что "демократы" подготовили эффектный контрход в этой политической игре. Обнаружив, что им не удастся оказывать р е ш а ю щ е е воздействие на политику кабинета, они сами ушли из правительства (Гайдар, Федоров), оставив, впрочем, своих людей на постах, имеющих ключевое значение для "Выбора России": в МИДе и в Госкомимуществе (Козырев, Чубайс). Ловкий маневр, позволяющий сбежать от ответственности за провал реформ, зарезервировав при этом (перед не такими уж далекими президентскими выборами) выигрышное место критиков правительства.

[2]Между прочим, легализация термина в ходе полемики вокруг партии Жириновского крайне опасна. В общественном сознании формируется образ "русского фашизма" как р е а л ь н о й политической силы. Непонятно, почему лидер ЛДПР (как известно, фашистом себя не считающий) не прибегает к защите закона, чтобы пресечь далеко идущие терминологические манипуляции.

максимальную выгоду без всякого риска и издержек. Достаточно разжечь конфликт между Россией и республиками ближнего зарубежья. Вероятнее всего, с Украиной (только она может оказать серьезное сопротивление и нанести нам существенный ущерб). Риторика Жириновского и в данном случае незаменимое горючее[3].

Наряду с "атлантистским" вариантом, программирующим самоистребление России (за ним, несомненно, стоят определенные круги США) существует, вероятно, и другой — германский. По слухам, распространившимся в Москве, часть денег на избирательную кампанию пришла к Жириновскому из ФРГ. Разумеется, такие слухи не подтверждаются документально. Однако сразу после победы Владимир Вольфович сделал ряд шагов, которые можно рассматривать как косвенные подтверждения этой версии. Он призвал возобновить "старую традиционную дружбу" между Германией и Россией ("Срочно в номер". 1993, №96). Германия стала первой страной, куда он отправился в новом качестве устанавливать международные контакты.

Очевидно, какие-то силы в ФРГ (не связанные с нынешним правительством) считают, что их стране пора отказаться от роли младшего партнера США, безропотно следующего в фарватере Вашингтона. В борьбе за влияние в однополюсном мире Германии естественнее всего опереться на дружбу с Россией, также униженной неравноправными и невыгодными отношениями с Америкой. Кстати, наш журнал первым призвал к установлению такого союза. Если эти планы осуществятся, соотношение сил в мире значительно изменится и "мировое сообщество" будет избавлено от диктата США.

Возможно, Жириновский согласился играть сразу все варианты сценария. Использовал поддержку их разработчиков для своей победы. В таком случае сейчас он стоит перед нелегким выбором. Если до 12 декабря он мог быть слугой трех (и более) господ, не ущемляя ничьих интересов, так как никакой властью не обладал, то теперь ему придется определиться. Быть полезным всем вряд ли удастся даже при его фантастической активности. Значит, надо отказаться от какого-то варианта (и поддержки заинтересованных в нем лиц). Или же попытаться учитывать чужие интересы лишь частично, постольку поскольку они поддаются взаимному согласованию и соответствуют интересам самого Жириновского. Это означает проведение собственной линии.

Один раз Жириновский уже приподнес сюрприз своим опекунам. Продвигая его к успеху на выборах, они, кажется, не рассчитывали на такую оглушительную победу. Скорее всего, в нем видели только *инструмент* политики, а не самостоятельного политика, которому народная поддержка придала реальный вес.

Возможно, и на новом этапе карьеры Владимир Вольфович удивит породивших его мастеров политической интриги. Каждый его *самостоятельный шаг* заведомо плодотворнее игры по чужим сценариям (хотя бы потому, что эти шаги с необходимостью будут увязаны с ожиданиями простых избирателей). Отважится ли лидер ЛДПР на проведение самостоятельной политики — и дадут ли ему проводить ее, — окончательно выяснится в ближайшем будущем[4].

V

А за несколько сот километров от Москвы идет совсем другая жизнь. Отсутствие ожесточенности, взвинченности — первое, на что обращаешь внимание, выходя на улицу какого-нибудь далекого городка, выступая на заводах, разговаривая с районным начальством. Потом понимаешь, что у спокойствия, разлитого в общественной атмосфере, единый источник. В Москве сам воздух пронизан интригами, закрученными вокруг Кремлевского Двора, — в провинции на Кремль не обращают внимания. *Тут своя власть.*

Я понял это после выступления в первом же районном центре. Стоял ноябрь, столица еще не оправилась после недавнего ужаса. Люди были скованны, подозрительны. Приехав в небольшой город на юге России, я решил выступать сдержаннее, чем обычно. Не хотелось сразу отпугнуть слушателей, да и подвести пригласивших меня литераторов я опасался. После встречи на заводе ко мне подошел заместитель главы районной администрации: "Хорошо выступали, хотелось бы только порезче". На следующем вечере я говорил все, что думал, без оглядки. Когда спустился в зал, меня представили главе администрации. Он пожал руку и попросил: "Завтра я соберу районный актив, так вы, пожалуйста, выступите так же, как сегодня".

Мало того, что высшие чины администрации относились к власти критически (ее

---

[3] Кстати, недавнее решение Украины отказаться от ядерных ракет (принятое под давлением США) *увеличивает* вероятность конфликта. Отпадает решающий фактор сдерживания. Да и Запад уже не рискует взлететь на воздух вместе с перессорившимися славянскими братьями.

[4] Проведением собственной политики могут заняться и члены фракции ЛДПР в Думе, если их надежды на патриотический курс лидера окажутся обманутыми. Похоже, именно такое развитие событий больше всего беспокоит демпрессу: "Эти тревожные симптомы, если не начать их лечить со всей строгостью и пристрастием, могут привести к разладу и даже расколу во фракции" ("Сегодня", №10, 1994).

ругали и в Москве, но уже втихомолку, оглядываясь по сторонам). Тут не находили нужным скрывать свое отношение! Еще больше изумился я, узнав, что публичные демарши были предприняты накануне слияния администрации района и города. Казалось бы, в этой ситуации следовало вести себя особенно осторожно, ведь каждый чересчур смелый шаг грозил обернуться отставкой.

Я с интересом ждал развития событий. Что это было — отчаянная смелость, исключение из правила или спокойная уверенность в прочности своего положения и того уклада, на который оно опиралось? Я загадал: если главу района не сократят, а назначат на новый пост, значит, жизнь здесь определяется какими-то неизвестными мне правилами.

Уже перед отъездом в Москву в областном центре я узнал: его поставили во главе объединенной администрации. Стал расспрашивать людей, близких к областному руководству. — Да он же окончил ростовскую ВПШ, — сказали мне так, будто это все объясняет. Оказалось, действительно объясняет. Все руководители области и района вышли из этой кузницы партийных кадров. Они люди одного круга, и это имеет куда большее значение, чем верность или критическое отношение к президенту. Президенты приходят и уходят — номенклатура бессмертна.

Три состава бывших партийных секретарей до сих пор управляют областью. Они пережили и август, и октябрь, несмотря на московские директивы о чистке руководящих кадров. Смена происходила: секретари одного состава перебирались в коммерческие структуры, другой шел в советы, третий состав возглавлял администрацию. Затем следовало новое перемещение. Это в области — в районах секретари не покидали кресел. Только таблички у входа менялись.

Пишу без всякого сарказма, с искренним уважением. Эти люди на деле доказали устойчивость и дееспособность аппарата, который их вскормил и который они теперь возглавляют. Они не только сохранили в своих руках рычаги управления, но до сих пор обеспечивают у п р а в л я е м о с т ь области и района. Какие бы безумные эксперименты ни проводили в Москве, они выправляют курс: не дают обанкротиться совхозам, остановиться предприятиям.

Разумеется, это не бескорыстное подвижничество. Они взяли свою долю в ходе приватизации. Так ведь не ими был начат процесс расхищения государственной собственности. Поступила директива, и они выполнили ее, не забывая о собственных интересах.

С присущей им практической сметкой они прекрасно разгадали фокус с московской "демократизацией". Когда Горбачев провозгласил "перестройку", они поняли: дело не в смене лозунгов, а в дележе собственности.

Сокращение доходов от экспорта нефти поставило центральное руководство перед фактом: на всех, как прежде, благ не хватит. И тогда начальство в Москве решило приватизировать блага — перевести средства, которыми оно распоряжалось в силу официального положения, в свою собственность.

Чтобы осуществить это, потребовалось немного замутить водичку. Была разрешена оппозиция, и Гавриил Попов, певец политэкономии социализма, надев свитерок, стал обличать партийные структуры. Чтобы придать обозначившемуся противостоянию видимость правдоподобия, с улицы впустили небольшое число профессиональных диссидентов. Для антуража — реальной власти, постов им не дали.

Провинция в точности повторила все маневры центра. С одной поправкой — здесь заботились о том, чтобы маскарадная круговерть не разрушила местное хозяйство. В Москве благ хватает, о сохранности производств не приходится заботиться. А в области блага — результат собственного труда: сокращение (а тем более, остановка) производства бьет по карману руководителя. Теперь уже с о б с т в е н н о м у карману!

Завершив приватизацию, местные власти считают спектакль оконченным. Октябрьские залпы они восприняли как сигнал к свертыванию "демократических" декораций. Личные политические симпатии не играют тут особой роли. Многие администраторы с сочувствием наблюдали борьбу парламентариев, другие были равнодушны к ней. Но и те, и другие, и третьи в начале октября поняли — демократия кончилась.

И когда на места полетели директивы, предписывающие очистить властные структуры от сторонников парламента, администраторы первым делом выставили на улицу "демократических" фигурантов — незадачливых "варягов", призванных в свое время, чтобы их лозунгами прикрыть передел благ. Где-то этим и ограничились. В других местах руководители расправились и с местными патриотами. В одном областном центре решили разом покончить и с теми и с другими. Городское управление МБ под большим секретом сообщило патриотическим лидерам о том, что "демократы" собираются физически устранить их. А "демократам" дана была информация о таких же планах патриотов. После чего у тех и у других устроили обыски. Расчет был прост: предупрежденные стороны начнут вооружаться. Тут их и возьмут с поличным, надолго выключив из политической игры. Оружия, правда, не нашли. Тем не менее власти закрыли все партийные издания в области — и "демократические" и патриотические.

Показательно, что лидер старой "демократической" массовки А. Мурашов накануне 12 декабря плакался журналистам: "В ряде регионов местные лидеры и активисты

"демороссов" отстраняются от участия в составлении кандидатских списков для выборов" ("Российская газета". 11.12.1993). Другой профессиональный "демократ" Л. Карпинский, выступая в "Московских новостях", призвал к борьбе на два фланга, заявив: "Необходимость фронта антифашистского не отменяет важности второго фронта — антибюрократического" (1993, №51).

Поздно. Местная номенклатура очистила ряды от "демократических" выскочек. Процесс реставрации структур завершился одновременно с процессом приватизации.

В чем заинтересованы хозяева областей и районов, ставшие теперь владельцами акций местных предприятий и фондов? В стабильности. Политической. Социальной. И прежде всего хозяйственной. Им нужно, чтобы фабрика, акции которой лежат в их сейфе, работала нормально. Чтобы совхозы, перелицованные в акционерные предприятия, по-прежнему бесперебойно поставляли продукцию в магазины. Чтобы жители, получив хотя бы минимальные социальные гарантии, спокойно трудились на своих местах. Всякое обострение ситуации угрожает их личному благополучию, обретенному в результате неустанных, долговременных и хитроумных усилий.

Казалось бы, процесс в столице развивается в том же направлении. "Демократы" уступают позиции аппаратчикам, группирующимся вокруг президента. "Независимая газета" даже обвинила Ельцина в том, что под его эгидой "создается помесь Двора с Аппаратом, — худший симбиоз из всех возможных" (25.12.1993).

Конечно, в перспективе процессы в столице и на периферии могут сомкнуться. И в отличие от В. Третьякова, я не считаю такой вариант наихудшим. Как бы мы ни относились к аппарату застойных времен, сейчас стало очевидным, что в сравнении с "реформаторским" он поразительно дееспособен. Насмотревшись на деятельность Гайдара, я не испугаюсь даже симбиоза старого аппарата и нового двора. Пусть на скромном цековском фасаде появятся легкомысленные завитушки в стиле рококо. Пусть министры Черномырдина наденут камергерские камзолы и прикроют груди накрахмаленными жабо. Мало ли нелепостей видели мы на своем веку. Пусть их! Лишь бы обеспечили стабильность.

Беда в том, что значительная часть столичной номенклатуры стабильности не хочет. В отличие от своих провинциальных коллег, московские чиновники заинтересованы в разорении страны, в распродаже ее. Ю. Щекочихин сообщает, что если чиновник "сможет организовать подпись под лицензией на вывоз нефти от трех первых лиц государства, то комиссионные будут составлять 50 миллионов долларов" ("ЛГ — Досье". 1993, №9—10).

Московский бюрократ высшего ранга кровно заинтересован в том, чтобы грабеж России продолжался. На этом он наживет состояние, в сотни раз превосходящее то, что можно составить, получая дивиденды по акциям. После него останется голая земля, но это его не пугает: полученных денег хватит с лихвой, чтобы обосноваться где-нибудь в Майами.

А так как грабить удобнее в состоянии общего развала и хаоса, столичный аппаратчик заинтересован в искусственном нагнетании нестабильности. В этом он верный союзник тех радикальных "демократов" из властных структур, которые разрушают страну не только из выгоды, но из своеобразного чувства долга. Тех, кто ведет "священную войну" против "этой страны", сокрушая "тысячелетнюю парадигму несвободы".

На нынешнем этапе интересы московской и провинциальной номенклатур противоположны. Если первая явно антинациональна, то вторую личная выгода (а зачастую и убеждения) побуждает в большинстве случаев занять национальную позицию. Вот почему местная администрация независимо от политической ориентации резко критически настроена по отношению к властям в Москве.

Пока провинция живет самодостаточной жизнью, ее хозяева могут позволить себе поглядывать на Москву насмешливо. Но каждое упоминание о близком будущем ("что будет, когда в очередной раз возрастут цены на энергоносители?" "когда износятся коммуникации?" и пр. и пр.) заставляет их сжимать кулаки. Они смутно ощущают, что ограничиться одними словесными инвективами не удастся, но стараются не задумываться о грядущих конфликтах, да и не знают пока, какими средствами могут воздействовать на ситуацию в стране.

Во время моих поездок по провинции наше государство представлялось мне в виде разобранной машины. "Ходовая часть" — районное звено практически не пострадало. "Каркас" — региональный уровень побывал в переборке, но тоже готов к работе. "Управление" — на государственном уровне сломано. Намеренно выведено из рабочего состояния. Первые два звена сами по себе не могут обеспечить движение. Но тот, кто сумеет установить пусть даже примитивную связь между частями государственной машины, обеспечит хоть какое-то управление, станет ее хозяином и будет по своей воле направлять ее ход.

Думаю, реально на это могут претендовать две силы — прагматики в правительстве и (в перспективе) коммунисты. У первых есть власть, у вторых отлаженная организация.

И все же шансы тех и других проблематичны. Прагматики (во всяком случае, часть из них — группировка С. Шахрая) выталкиваются из правительства. Тем самым высшее

московское чиновничество сводит к минимуму возможность договориться с провинциальной номенклатурой[5].

У коммунистов Г. Зюганова свои сложности. Конечно, многие бывшие партсекретари, занявшие теперь кресла администраторов, испытывают к ним "родственное влечение". Но между ними легла частная собственность. От своей доли, полученной в ходе приватизации, провинциальные боссы не откажутся. Коммунисты должны гарантировать им неприкосновенность накоплений. Это, во-первых. Во-вторых, им предстоит создать в глазах населения более привлекательный имидж, что даст местной власти возможность открыто сотрудничать с ними.

Успех компартии на выборах, позволивший ей занять третье место, не должен обольщать ее руководителей. 12% от числа проголосовавших (7% от числа всех имеющих право голоса) показатель явно недостаточный, чтобы серьезно влиять на жизнь страны. Вопрос о том, как привлечь новых сторонников, уже поднимался на страницах "Правды". Однако рецепт Б. Славина, выражающего мнение влиятельного оппозиционного ядра в КП, на мой взгляд, приведет к падению, а не к росту популярности компартии.

Обозреватель "Правды" считает, что КП зря увлеклась патриотическими лозунгами, отказавшись от проверенной временем "интернациональной" платформы. Все равно, мол, Жириновский выразил государственно-патриотическую идею ярче, чем коммунисты, следовательно, и соперничать с ним на этом направлении не стоило. Полагаю, как раз успех Жириновского свидетельствует об огромной потенциальной притягательности государственно-патриотической идеи. Не отказываться от нее следует коммунистам, а более органично и последовательно вводить в свою программу.

КП призвана стать партией патриотов-государственников — и по названию и по сути. Сегодня у нее есть для этого все возможности — при одном условии: если Г. Зюганову удастся преодолеть торможение ортодоксов, для которых последним прибежищем оказался вовсе не классовый принцип, а — любопытно! — "интернационализм". Даже раскол не будет слишком дорогой ценой за обретение новой динамики. При этом многолетняя неустанная работа СМИ по компрометации коммунистов пойдет насмарку — пропагандистский молот будет крушить пустое место (или отколовшихся ортодоксов, оставшихся на прежних позициях).

Думаю, плодотворен был бы союз обновленной партии с ведущими патриотическими организациями, независимо от их политической ориентации. Необходимо возродить сотрудничество правой и левой оппозиции, установившееся было в рамках ФНС. При этом жизненно важно учесть ошибки, допущенные руководителями Фронта. Они не сумели четко оформить блоки, входящие в организацию, отчего она стала аморфной и недостаточно эффективной. Как бы парадоксально это ни звучало, коммунисты сейчас заинтересованы в появлении п р а в о г о патриотического блока — в качестве полноценного партнера по коалиции. У него не достанет сил, чтобы составить им конкуренцию, зато сотрудничество с ним придаст партии большую привлекательность в глазах населения и провинциальной номенклатуры.

Местная администрация может найти опору и в своих владениях. Прежде всего в лице трудовых коллективов. Их немалый политический потенциал до сих пор не востребован. Но как же превратить их в политическую силу? Напомню об удачном опыте Приднестровья. К 1990 году власти Кишинева взяли курс на ускоренную молдавизацию (и даже румынизацию) управленческих структур Приднестровья — в большинстве своем русскоязычных. Под угрозой оказалось все руководящее звено региона — от партийных секретарей до директоров заводов и совхозов. Тогда-то — как рассказывают очевидцы — черные "Волги" начали сновать по пыльным дорогам вдоль Днестра.

Руководители пошли на смелый шаг — они подняли регион, мобилизовав силу предприятий. Существовавшим тогда структурам — Советам трудовых коллективов была дана реальная власть. Причем не только хозяйственная. СТК стали мощными политическими организациями. Объединившись, они образовали костяк государственной структуры. На его основе сначала была проведена общенациональная забастовка, затем организовано сопротивление силовому натиску Кишинева, и наконец, образованы государственные институты Приднестровской Республики. Именно ОСТК дал ей руководителей во главе с И. Смирновым и защитников, отстоявших независимость нового государства. Когда угроза замены русскоязычного руководства миновала, СТК на заводах были распущены. Но республика осталась!

Разумеется, местная номенклатура отважилась на такой шаг в крайней ситуации. Для русской глубинки этот час еще не пробил. Он придет, когда остановка производств и банкротства предприятий станут повсеместными явлениями. Алчность столичных чиновников и мстительный пыл реформаторов из "Выбора России" ускоряют движение стрелок.

Сегодня трудно сказать, окажутся ли противоречия между номенклатурами действительно непримиримыми. Удастся ли местной власти политически структурировать про-

---

5Впрочем, в результате январских перетрясок в Кабинете министров сторонники Шахрая во многом вернули утраченные было позиции. А премьер Черномырдин совершил знаменательный шаг — отправился в Орел н а п о к л о н к областной номенклатуре Черноземья.

винцию? Оформится ли союз руководителей регионов с организациями государственников-патриотов в центре? Очертания будущего неясны. Я знаю одно: предложенная схема помогла бы России выжить. Пока что не возродиться — просто выжить.

Из последней декабрьской поездки я возвращался на перекладных. Сначала автобусом до Курска, затем поездом. По пути в Курск наш автобус остановился в деревне. Сопровождавшая нас сотрудница районной администрации воспользовалась случаем, чтобы навестить пожилых родителей. Через несколько минут они вынесли "дары" — великолепную рыбу, огромные соленые помидоры и кувшин компота. Целый пир по нынешним временам.

Автобус уже разворачивался, а я все вглядывался в морщинистые лица людей, с такой готовностью одаривших нас исконным русским радушием. Вскоре мы доехали до перепутья, где местная дорога Губкин — Щигры пересекалась с магистралью Курск — Воронеж. Сзади в морозных сумерках зажигала огни приветившая нас на минуту деревня. Возвратившись с работы, люди растапливали печи, садились ужинать. Во многих окнах дрожал голубой свет — сельчане включили телевизоры. Москва предлагала какое-то новое головоломное шоу. Можно было вдоволь поахать, повздыхать, посмеяться.

От редакции:

В №1 за 1994 год по вине сотрудников журнала допущена досадная ошибка — искажена фамилия автора статьи "Хождение по водам (Религиозно-нравственный смысл "Капитанской дочки" А. С. Пушкина)" Катасонова Владимира Николаевича.
Приносим свои извинения В. Н. КАТАСОНОВУ.

Русско-еврейский вопрос

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

"ПРОГУЛКИ С МАНДЕЛЬШТАМОМ"

Бывший советский русско-еврейский, а ныне русско-еврейский американский писатель Аркадий Львов предложил нашему журналу свои размышления о жизни и творчестве Осипа Мандельштама. Первые же страницы книги, изданной в нью-йоркском издательстве "Хазария", пробудили во мне воспоминания тридцатилетней давности.

Помню, как в 1961 году Александр Межиров с заговорщическим видом сунул мне в руки убористо напечатанную через один интервал тетрадку со стихами Осипа Мандельштама...

Я медленно вчитывался в рукопись, многого не понимая, кое о чем смутно догадываясь, но тем не менее несколько стихотворений запомнились сразу. Их хотелось бормотать, пробовать на вкус, на звук, цитировать: "Есть женщины сырой земле родные...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Золотистого меда струя..."

Борис Слуцкий недовольно фыркал в усы: "Многие считают Мандельштама крупнейшим поэтом двадцатого века. Это ерунда. Не верьте им. Ходасевич крупнее..."

Анатолий Передреев укорял меня: "Ну сравни у Блока — "Я пригвожден к трактирной стойке, я пьян давно, мне все равно", или у Есенина: "А когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, я иду, головою свесясь, переулком в знакомый кабак" — а! Как сказано?! А у Мандельштама в той же ситуации что? — "И дрожа от желтого тумана, я спустился в маленький подвал, я нигде такого ресторана и такого сброда не видал" — ... На все глядит со стороны, как свидетель. Ну, разве это русский поэт?!"

Я соглашался с Передреевым, но все равно любил повторять: "Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины"... В "Илиаду" и в "Одиссею" я влюбился еще в дошкольном возрасте, видимо, еще при жизни Осипа Мандельштама...

И потому, когда мой куратор по отделу поэзии журнала "Знамя", где я тогда работал, спросил: "А что, молодой человек, мы будем печатать в ближайшем номере?" — я предложил: "Давайте-ка я съезжу в Псков, где живет вдова Мандельштама, и привезу его стихи". Сучков поднял на меня "удивленные брови", задумался — и согласился.

В Пскове, как помнится, жилистая, седовласая властная старуха целый день рассказывала мне о судьбе поэта, читала стихи, кормила яичницей, что-то настойчиво вталкивала в мою голову о секуляризованном обществе, о культуре, которую надо освободить то ли от государства, то ли от православия, словом, от любой силы, похожей на идеологию.

Из Пскова я вернулся как раз в те дни, когда Хрущев разгромил выставку абстракционистов в Манеже. Не придавая значения этому событию, на ближайшей редколлегии журнала я доложил главному редактору Вадиму Кожевникову: задание выполнено, стихи Мандельштама привезены и надо поставить их в номер. Кожевников изменился в лице и уставился на Сучкова:

"Борис Леонтьевич, вы слышите? Какое задание? Какой еще Мандельштам? Как вам это нравится?" И тут Сучков казенным голосом произнес: "Да наш поэт не понимает, в какое время мы живем, самодеятельностью занимается!"

Я обомлел: как же так, мы же договаривались и вдруг такое предательство! — но перехватив умоляющий взгляд Сучкова — "мол, не выдавай!" — и вспомнив, что за его спиной десять лет лагерной жизни, я промямлил, что, мол, если не время, то можно и подождать... Стихи, конечно же, не были напечатаны. Но Мандельштама в своем молодом славянофильском кругу мы читать продолжали, несмотря на реплику одного из авторитетнейших наших мыслителей, что его поэзия — это "всего-навсего жидовский нарост на Тютчеве".

Приязнь к поэзии Мандельштама

сыграла не последнюю роль в дальнейшем, когда в 1977 году я вышел на трибуну во время знаменитой дискуссии "Классика и мы" и, порой под аплодисменты, порой под негодующие вопли, противопоставил неоклассика и гуманиста Осипа Мандельштама апологету коммунистической русофобии и революционного палачества — Эдуарду Багрицкому. Острота ситуации заключалась в том, что и Багрицкий и Мандельштам — евреи, а еврейский вопрос на дискуссии вдруг взорвался и оглушил всех партийных идеологов того времени, начиная от секретаря ЦК КПСС Михаила Зимянина, кончая каким-нибудь мелким идеологическим официантом типа Валентина Оскоцкого или Петра Николаева. Конечно, тут же сверху донизу по всей лестнице был отдан приказ со Старой площади "не поднимать волну", не "сталкивать поэтов", "не уничтожать одно имя другим", "не муссировать национальный вопрос" и т. д. В серии статей, написанных после дискуссии, все "еврейские совки" вроде Сарнова или Рассадина стали дружно талдычить, что в культуре главное — это язык, что и Мандельштам, и Багрицкий, и Пастернак — это все русские советские поэты, отличаются друг от друга только "творческой манерой", словом, "роковые вопросы" были погребены под толстенным слоем словесной пошлости, изрыгнутой персоналом, обслуживавшим официальную идеологию...

Но если бы все было так просто! Как бы я ни утверждал во время дискуссии, что Мандельштам продолжает русскую гуманистическую традицию XIX века, со временем мне все яснее становилось, что это — весьма поверхностное заключение, что мир неоклассика гораздо глубже, противоречивее, темнее и даже чужероднее русскому менталитету, нежели это казалось мне на первых порах. Тем более, что сам Мандельштам вводил меня в подобное искушение, когда кокетливо признавался: "Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями". И вот уже в середине 80-х годов в одной из статей я вынужден был написать следующее: "Путь интенсивного и слишком быстрого принятия традиции, путь прививки к ней был не прост и чреват разными осложнениями. Когда я читаю стихи и прозу Мандельштама, впечатление у меня такое, что в каждую клеточку его духовного мира культура, традиция, стихия гуманизма, рожденная XIX веком, были втиснуты давлением времени в последние секунды его. Время великой культуры слишком значительно, чтобы за такой короткий срок, "едва обретя язык" (по словам того же Мандельштама), новое поколение могло безболезненно усвоить все белки иного духовного организма... Недаром Ю. Тынянов в свое время заметил о стихах Мандельштама: "Его работа — это работа почти чужеземца над литературным языком".

А потому, когда в 1990 году в Америке я попал в мировой этнографический центр, где каждая комнатка как бы олицетворяла отдельную страну и была оформлена символами, присущими данной народности, я не особенно удивился, увидев в комнатке с вывеской "Израиль" книги Мандельштама, Пастернака и Бродского. Разве что пожал плечами и сказал хозяевам экспозиции, что все-таки "чересчур", надо бы изъятие этих имен из русской культуры обосновать более убедительно... И вот время подобных обоснований наступило.

Исследование еврейского русскоязычного писателя Аркадия Львова вроде бы ставит все точки над "и" и развязывает все узлы в эпохальной загадке. В сущности, автор ("один из виднейших писателей евреев, пишущих на русском языке", как сказано о нем на обложке книги) нарушает последние оставшиеся в русско-еврейском вопросе "табу", даже те, о существовании которых русские умы и не подозревали. Многие из его толкований стихов, строчек, идей, снов поэта неожиданны и глубоки в первую очередь потому, что это пишет еврей, обладающий литературным талантом и интеллектуальной дерзостью. Я думаю, что порой он в припадке откровенности выбалтывает нам такие глубины и тайны еврейского духа, в которые, честно говоря, неудобно да и страшновато заглядывать православному русскому человеку[1].

Да и неловко — словно в замочную скважину. Подобное бесстрашие в истории бывало свойственно многим еврейским интеллектуалам, начиная от ветхозаветных пророков, кончая Спинозой, Уриэлем Акостой, или дедом поэта Ходасевича Яковом Брафманом, с его знаменитой в свое время книгой о тайнах кагала. Откровения Львова кажутся настолько интимными, настолько носят они религиозно-племенной, казалось бы не должный открываться чужому взору

---

1 Именно несколько таких страниц из книги были сокращены нами при публикации.

характер, что, понимая свое щекотливое положение, Аркадий Львов для того, чтобы преодолеть внутреннее табу, живущее в еврейской душе, часто впадает в нарочито легкомысленную, одесскую, хохмаческую манеру разговора, что и позволило мне назвать свое предисловие к его работе "Прогулки с Мандельштамом".

Ну посудите сами: "еврей, который чуть ли не всю жизнь ломал перед собою и перед миром эллина"; или "у маленького Оси нюх был, как у собаки; он различал миллионы запахов и по запаху мог взять любой след. И будьте спокойны, нос его длинный — даже по еврейской мерке длинный, никогда не ошибался" (автор, конечно, знает книгу В. Розанова "Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови"). Или еще красноречивый пример: "Ах, сорванец, ах, шалун, ах, жиденок — пардон, это не мое: проходил Ося в те времена среди петербургских поэтов под кличкой "Зинаидин жиденок" (не надо говорить "пардон", Аркадий Львович, это и Ваше, а не только "Зинаидино"); или: "маленький Ося сделался русским империалистом", а вот еще: "Ну, как Вам нравится этот бывший иудей с тоской библейского Иосифа", и т. д. и т. п.

Словом, читая книгу, где автор на каждой странице именует Осипа Эмильевича Мандельштама "Осей", вспоминаешь одесскую песенку "А Саша Пушкин тоже одессит", конечно же, вспоминаешь Абрама Терца, у которого "Россия-сука", а Саша Пушкин "паркетный шаркун", ну чем не брат "сорванцу", "шалуну", "жиденку" Осе! Словом "Желтое и черное" и "Прогулки с Пушкиным" как бы книги-близнецы, но все-таки надо оговориться, что под ерничеством и амикошонством Аркадия Львова скрываются куда более глубокие толкования и чувства, нежели в иронических пассажах Синявского, от которых явно попахивает интеллектуальным мародерством...

Еще один упрек автору: в книге есть несколько исторических мифов, противоречащих фактам. Так, например, вспоминая стихи Мандельштама о Сталине, Львов пишет: "Кто на Руси, кроме еврея Мандельштама, который, как последний трус, бежал в Александрове, на Суздальской земле, от потешного бычка одногодка, отважился сочинить да пустить в люди такой стих? Никого не назвать, ибо никого не было".

Но тут я хочу вступиться за честь русской почвенной литературы. Да помилуйте, Аркадий Львович, Вы хорошо знаете жизнь и поэзию Осипа Эмильевича, но гораздо хуже историю всей литературы тех лет. Мандельштам прочитал стихи о "кремлевском горце" в узкой дружеской компании единомышленников и единоплеменников, пришедших в ужас от дерзости поэта. И кто-то в конце концов из них не выдержал и от страха "стукнул" куда надо. Остальные, кто не стукнул, тряслись в ожидании ареста. А в это время или даже чуть раньше русские поэты, бывшие друзья Есенина, — Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, Василий Наседкин — на всех углах поливали последними словами вождя народов. То в ресторане Дома Герцена, то просто на улице среди случайных людей, не стесняясь, кричали о том, что Сталин тиран, что кругом еврейское засилье, "что Каганович сволочь"; Николай Клюев в разных домах читал совершенно антисоветский цикл "Разруха" и "Погорельщину". Павел Васильев — двадцатидвухлетний мальчишка (в то же время) написал убийственную и оскорбительную эпиграмму на Джугашвили и, не таясь, читал ее где угодно по первой просьбе своих друзей и поклонников. Так что русские поэты в начале тридцатых годов вели себя куда как более вызывающе и дерзко, нежели Осип Эмильевич. Обо всем этом я узнал, прочитав их уголовные дела, хранящиеся в архивах ЧК — ОГПУ — НКВД...

Я понимаю, что для многих читателей "Нашего современника" публикация "Желтого и черного" будет неожиданна. Может быть, даже кто-то осудит нас и скажет: зачем в русском журнале обсуждать еврейские дела? Ну, а мне, думаете, не жаль избавляться от своих юношеских увлечений и от своих иллюзий, отдавая окончательно и бесповоротно Осипа Мандельштама в чужие руки? Но что делать! Русско-еврейский вопрос, видимо, будет в ближайшем будущем разрешаться только на пути потерь, утрат и разочарований[2].

"Когда погребают эпоху — надгробный псалом не звучит"... А потому и звучат вместо него одесские хохмы и панибратские ужимки, в которых доселе русский поэт предстает евреем, всю жизнь ломавшим "перед собою и миром эллина". Можно добавить "и русского". Но не хочется.

---

2 Мы просим читателей журнала оценить эту публикацию. Если ваши отклики будут одобрительными, то мы можем напечатать размышления А. Львова, написанные в том же ключе, о романе Б. Пастернака "Доктор Живаго".

Да и развязность эта напускная, порой несколько вульгарная, все-таки, кажется мне, кое-где прикрывает собою ни с того ни с сего внезапно набегающую на глаза слезу. Так что не только мне одному тяжело прощаться с эпохой. Жалко мне навсегда расставаться с Вами, Осип Эмильевич. Тащит Вас обратно в "иудейский хаос" Аркадий Львович, как еврейский ангел смерти Малхамовэс. Нет у меня сил удержать Вас в Русском лоне, и кружатся надо мной только обрывки строчек, словно бы после взрыва плывущие в воздухе:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
где сосна до звезды достает...

Сам Анатолий Передреев восхищался и повторял: "где сосна до звезды достает" — как этот маленький еврей мог так почувствовать космическое величие России?"

А может быть, строчка, плывущая в воздухе, совсем не про Енисей, а про Кремлевские соборы:

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

Вспоминается Александр Межиров, декламирующий мне это стихотворение на Тверском бульваре и вкрадчиво спрашивающий: "Станислав, как вы думаете, а возобновятся ли когда-нибудь службы в Успенском Соборе?" Нет, умные всетаки люди наши русские евреи!..

Но ежели Вы, Аркадий Львович, определенно и окончательно хотите зачислить Осипа Эмильевича "по еврейскому менталитету", то зачем Вам тогда заканчивать книгу словами: "27 декабря 1938 года не стало Осипа Мандельштама. Закатилось солнце русской поэзии"? Если следовать неумолимой логике Вашей мысли, то следовало бы Вам написать точнее. Ну хотя бы "солнце русскоязычной поэзии", или "солнце русско-советской поэзии", или "солнце еврейской поэзии, созданной на русском языке". К тому же "солнце русской поэзии " у нас одно, а все остальные — звезды, метеориты, спутники, кометы... Из размышлений Ваших все-таки следует, что Осип Эмильевич, скорее всего, просиял, как "незаконная комета" на русском поэтическом небосклоне. Возьмите, Аркадий Львович, эту незаконную комету, заприте ее в свою комнатку, мне ведь все равно останется до конца жизни несколько строчек, ну хотя бы из "Батюшкова":

Так подымай удивленные брови,
Ты горожанин и внук горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.

Прощайте, Осип Эмильевич... Впрочем, последнее слово по справедливости, конечно же, должно принадлежать не Аркадию Львову и не мне, а Вам, ибо Вы лучше нас сознавали свое невеликое, но прочное место в отечественной литературе: "Последнее время я становлюсь понятен решительно всем... Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе" (из письма к Ю.Тынянову от 20 января 1937 года).

Так что не усидит Осип Эмильевич в маленькой еврейской этнографической комнатушке. Особенно сейчас, когда многие его строки 30-х годов обретают новую жизнь. Ну, например, "как подкову кует за указом указ"; "власть отвратительна, как руки брадобрея", "и вокруг него сброд тонкошеих вождей", "умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи"...

А может быть, все-таки не столько Осип Мандельштам "наплыл на русскую поэзию", сколько она "наплыла" на него, преобразовав, насколько это возможно, иудейский хаос в частичку того теплого и человечного душевного мира, который мы называем "русским космосом".

Да о какой комнатушке может идти речь, Осип Эмильевич, когда плоть Ваша растворилась в российской земле, душа унеслась в наше небо, а стихи пополнили океан русской поэзии. Земля, небо, океан, а там всего-навсего какая-то племенная комнатушка...

Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно...
Брось, Александр Скерцевич,
Чего там, все равно...

Октябрь 1993 г.

АРКАДИЙ ЛЬВОВ

ЖЕЛТОЕ И ЧЕРНОЕ

У евреев спокон веку так: уже если сын любит своего папу, то любит так, что папа для него все на свете — и папа, и мама, и дедушка, и бабушка, и тетя, и солнце, и небо, и воздух, словом, все на свете.

А если не любит, то не любит так, что сам греческий бог Кронос, который низверг и искалечил своего собственного отца Урана, по сравнению с ним — паинька мальчик.

Ося не любил своего папу. Не любил всеми силами своей души. Не любил — да что там не любил, просто ненавидел! — так, что при одном воспоминании об отце, при одном имени его у мальчика разливалась желчь.

И почему? Смешно говорить: потому что у папы был плохой русский язык.

У Осина папы было несколько сыновей. У Оси же только один папа: курляндский еврей Эмиль Хацнель Мандельштам. И вот, на пороге последнего десятилетия своей жизни, Ося — уже не Ося, а Осип Эмильевич! — пишет про своего папу в "Египетской марке": "У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал". Обратите внимание: он, Осип Мандельштам, русак из русаков, такого не слышал!

Что же это было, что за чудо-юдо, про которое сын его, в возрасте уже без малого сорока лет, говорит: "Я таких не слышал"?

Держите себя в руках, не закрывайте глаза, не затыкайте уши, смотрите и внемлите: "Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно, по-русски или по-немецки".

Теперь вы поняли, почему Ося не любил, больше того, ненавидел своего папу. А вы, положа руку на сердце, если бы жили в Санкт-Петербурге, где все говорили на чистом русском языке, где только царицы могли говорить на ломаном русском языке или вообще не говорить по-русски, вы могли бы относиться к такому курляндскому папе по-другому?

Но слушайте дальше: "По существу отец, переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку..." Что же это была за обстановка? Думаете, еврейская? Ни Боже мой: никакая не еврейская. А была эта обстановка, если хотите, "чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый талмудический пантеизм". Эти слова, "талмудический пантеизм", стоит запомнить, мы еще вернемся к ним. "Где-то поблизости Спиноза разводит в банке пауков... Все донельзя отвлеченно, замысловато и схематично. Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, — кстати, обратите внимание на этот оборотец русского пуриста Оси Мандельштама: "которого... запрещали читать светские книги"! — бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собрались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши..."

Чем же, кроме Талмуда, занимались в Берлине эти местечковые гении? Читали Шиллера, читали французских просветителей — читали так, как будто на дворе стоял восемнадцатый век, когда те сочиняли свои драмы и философские трактаты, а не девятнадцатый век, когда была уже и франко-прусская война, и парижская Коммуна, когда в Санкт-Петербурге уже подводили мину под Александра Второго и вообще Европа, еще сама того не зная, готовилась к мировой войне.

И вот, этот несостоявшийся раввин, поборник философских идеалов восемнадцатого века, местечковый гений из Курляндии, который стал хозяином перчаточной мастерской и кожевенного завода в северной Пальмире, так напугал своего маленького сына Осю, что тот руками и ногами отбивался, когда его везли в город Ригу, к рижским дедушке и бабушке. Мальчику казалось, что его "везут на родину непонятной отцовской философии... Дедушка, голубоглазый старик в ермолке, закрывавшей наполовину лоб, с чертами важными и немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев, улыбался, радовался, хотел быть ласковым, да не умел, — густые брови сдвигались. Добрая бабушка, в черноволосой накладке на седых волосах и в капоте с желтоватыми цветочками, мелко-мелко семенила по скрипучим половицам и все хотела чем-нибудь угостить. Она спрашивала: "Покушали? покушали?" — единственное русское слово, которое она знала".

Представляете себе ситуацию: бабушка и дедушка хотят поговорить со своим внуком, а внучек ни слова ни на лошн койдеш, ни на идише, а лопочет только на чужом

языке, который он привез из Санкт-Петербурга, где живут цари, и "пальцем на столе изобразил желание уйти, перебирая на манер походки средним и указательным"!

Много-много лет спустя, уже в последнее десятилетие своей жизни, внучек все еще не мог оправиться от тогдашнего своего детского ужаса: "Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно".

Про черно-желтый платок, который дед набросил внуку Осе на плечи, нет нужды объяснять, что это был обыкновенный талес, который благочестивого еврея сопровождает всю его жизнь, в буквальном смысле слова, по гроб, ибо, когда еврею приходит время помирать, вместе с евреем предается земле и его талес. А насчет того, что платок был черно-желтый — обратите внимание: черно-желтый! — надо хорошо, надо крепко поговорить, ибо в сочинениях поэта Осипа Мандельштама все остальные цвета, вместе взятые, не занимают и десятой доли того места, которое занимают эти два цвета — желтый и черный.

Однако покончим сначала с дедом. "Отец часто говорил о честности деда, как о высоком духовном качестве. Для еврея честность — это мудрость и почти святость. Чем дальше по поколеньям этих суровых голубоглазых стариков, тем честнее и суровее. Прадед Вениамин однажды сказал: "Я прекращаю дело и торговлю — мне больше не нужно денег". Ему хватило точь-в-точь по самый день сметри — он не оставил ни одной копейки".

Далее Ося, правнук реб Вениамина, смачно расписал пеленочную вонь Дуббельна, еврейского угла на Рижском взморье, еврейские захлебывающиеся гаммы — вспомните "еврейские скисающие сливки" Эди Багрицкого! — и "русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке". Расписал не только смачно, но и с омерзением, с гадливостью отщепенца, отступника, перевертня. Но про голубоглазых своих предков, про суровых голубоглазых стариков, про честность их, которая и мудрость и святость, сказал с великой, с неподдельной гордостью аристократа в двунадесятом колене — ряд, которым может похвастать редко кто даже из королей.

Чтобы по-настоящему понять и оценить эти слова, стоит заглянуть в "Шум времени", где поэт говорит о революции, что у нее "пересохшее от жажды горло". Но не ради этих слов, хотя и они отлиты из чистого золота, а ради других: "Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями".

Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы, поэт Мандельштам не мог понять, а про голубоглазых своих предков, про суровых голубоглазых стариков, про честность их, которая и мудрость и святость, поведал с такой гордостью, что иному арийцу оно только и остается — брать пример с иудея Мандельштама.

И не думайте, что это было минутное настроение, каприз художника. Нет, это было глубинное, нутряное, это была душа поэта, которая, вырвавшись из клетки, сработанной его эллинистическими, православными, протестантскими и католическими силлогизмами — об этом будет особый разговор дальше, — возвращала его на гребне мук и страданий к праотцам: "... Писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени... Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными. Писатель — это помесь попугая и попа".

Вот так: писатель — это помесь попугая и попа, и вообще писательство, и в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которое дано ему, Осипу Мандельштаму, наследнику овцеводов, патриархов и царей, от рождения.

А теперь вернемся опять в постылую еврейскую Ригу, в вонючие жидовские кварталы Варшавы, вернемся к омерзительному запаху еврейства в собственном Осином доме в Санкт-Петербурге, где ненавистный папа, перебирая куски смердящей кожи, денно и нощно что-то считает, пересчитывает, перебрасывает костяшки, шевеля, как в молитве, синюшными своими еврейскими губами.

О запахах идет речь не потому, что пришлось к слову, а потому, что у маленького Оси нюх был, как у собаки: он различал миллион запахов, и по запаху мог взять любой след. И будьте спокойны, нос его, длинный — даже по еврейской мерке, длинный — никогда не ошибался: "Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских. И это пахнет не только кухня, но люди, вещи, одежда. До сих пор помню, как меня обдало этим приторным еврейским запахом в деревянном доме на Ключевой улице, в немецкой Риге, у дедушки и бабушки".

А в Петербурге, в отчем доме, было, что, лучше? То же самое. А в Варшаве? То же самое: в постылой варшавской комнате Осю заставляли пить воду и есть лук — на Украине по сей день цибулю называют "жидовским салом".

Впрочем, произнесши "Ося", следует тут же пояснить, что в данном случае это был не сам Ося, а герой его из "Египетской марки", по имени Парнок. Но кто решится установить разницу между автором и его героем, если сам автор, Осип Эмильевич Ман-

дельштам, восклицает: "Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него".

Смешно, ей-Богу, смешно: иудей, которому Господь дал свободу воли, который с ним, свободным, заключил завет, как с равным, просит защитить его от собственного — повторяем, свободного — Я!

Что такое человеческая память? "Память — это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?"

От кого же увезти: от "страхового старичка" Гешки Рабиновича? От еврейских квартир, где стоит печальная усатая тишина — часы с круглым циферблатом, с остановившимися стрелками-усами? От тети Веры, которая, обратясь лютеранкой, приводила своего папу старика Пергамента, имевшего в свое время дом о сорока комнатах в Киеве, под коими били копытами рысаки, а сам старик Пергамент сиднем сидел в сорока этих комнатах и "стриг купоны"? Или увезти от главного лекарства для золотушных, анемичных еврейских детей, рыбьего жира — "смеси пожаров, желтых зимних утр и ворвани: вкус вырванных лопнувших глаз, вкус отвращения, доведенного до восторга"?

В постылом доме все постыло: "подкова", которая никакая не подкова, а просто булочка с маком; "фрамуга", большая откидная форточка. И заповеди: "не коверкай" — когда говорили о жизни, "не командуй" — опять-таки о жизни.

"Ехал дровяник Абраша Копелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, раввины и фотографы. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы, ерзал петух, предназначенный резнику".

Господи, что же это: наваждение, горячечный бред — все перемешалось в голове! Время — есть оно или нету его? Есть, есть: "Время... молодая еврейка, прильнувшая к окну часовщика, лучше бы ты не глядела!"

Но, помилуйте, как не глядеть: часовщик сидел "горбатым Спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинных козявок.

— Есть у вас телефон? Нужно предупредить милицию!

Но какой может быть телефон у бедного еврея-часовщика с Гороховой? Вот дочки у него есть — грустные, как марципанные куклы, и геморрой есть, и чай с лимоном, и долги есть..."

Бред, бред! Перо расщепилось и разбрызгало свою черную кровь! Бессвязный, разорванный мир — как устоять человеку, как не убояться!

Пардон, месье, пардон, мадам: это ваша забота, как устоять, это вам начинять себя отвагой. А "я (то есть Ося Мандельштам) не боюсь бессвязности и разрывов... Не боюсь швов и желтизны клея".

Отчудив себя в Парноке, отодвинув на расстояние, чтоб сподручнее было разглядывать себя как стороннего, Ося декларировал свое еврейство — проклятое, но благословенное, отторгнутое, но гнездящееся в костях, в сердце, в каждой клеточке тела.

Не только нутро его, весь мир, арийская Европа были пронизаны еврейством: еврейский квартал за Мариинским театром, хоральная синагога, со своими коническими шапками и луковичными сферами, как пышная чужая смоковница в цесарском Санкт-Петербурге, кантор, могучий, как Самсон, барон Гинцбург, миллионер Варшавский, златоуст Грузенберг, портной Мервис — мудрец: одеть клиента не штука, раздеть его — вот высшее искусство! — банк, Каплан, мученица мадам Шапиро в Казанском соборе, женское контральто, гудящее тягучим еврейским медом, Бабель — лисий подбородок и лапки очков! — Артур Яковлевич Гофман, чиновник министерства иностранных дел по греческой части, истошный еврейский крик "Сажа, форточка: туда нельзя!".

Из чего делаются аптечные телефоны? Аптечные телефоны делаются из самого лучшего скарлатинового дерева. Где растет скарлатиновое дерево? В клистирной роще. Чем оно пахнет? Пахнет чернилом.

"Не говорите по телефону из петербургских аптек: трубка шелушится и голос обесцвечивается. Помните, что к Прозерпине и к Персефоне телефон еще не проведен".

А зачем, собственно, надо звонить Прозерпине и Персефоне? Кто они такие, чтобы звонить им по телефону? И кстати, почему не проведен еще к ним телефон, если они такие пурицы! Впрочем, какие же они пурицы, если телефона-то им все-таки не провели.

Нет, они не еврейки — ни Прозерпина, ни Персефона. Одна — римлянка, другая — гречанка. Более того, они вообще одно лицо. Владычица мертвых у древних римлян и греков, Прозерпина-Персефона имела под своим началом чудовищ преисподней и разрывала последние связи умирающих с живыми. Спрашивается: зачем еврею Мандельштаму понадобились особи из греко-римского загробного мира? Неужели не мог он найти в еврейском пантеоне подходящую фигуру, хотя бы того же Малхамовэса — ангела смерти?

Мог-то мог, но в том и штука, что еврей, который чуть не всю жизнь ломал перед собою и перед миром эллина — точь-в-точь, как его александрийские предки две тысячи лет назад! — чтобы передать, как рушится мировой театр, как разлетаются в щепы подмостки вселенной, должен был обратиться к трагедии, где главные роли играли античные боги.

Конечно, была у него прямая возможность взять на роль в своем спектакле еврейского ангела Малхамовэса. Но ангел, сами понимаете, это никак не Бог. А взять еврейского Бога, Единого... ну, кому такое может прийти в голову! Иегова — он же не из театра, как греческие боги: он — Единый.

А с другой стороны, что такое особенное произошло? А ничего: рушился привычный мир, рушилась Россия, "Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух". Государство уснуло, как окунь.

Это было в феврале семнадцатого года. Как оказалось, государство уснуло не надолго: в октябре того же семнадцатого года оно проснулось, да так проснулось, что Прозерпины-Персефоны за какой-нибудь десяток лет натаскались у него больше, чем за десяток веков своей греко-римской службы.

А теперь спросим: чему же здесь удивляться еврею? Все это уже было. Сказано Екклесиастом, сыном Давидовым: "Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было". Однако еврей — в данном случае речь идет про конкретного еврея: Осипа Мандельштама — он в то же время и нееврей. Тоже, кстати, не новость. Почему Моисей разбил скрижали? Потому что евреи — мало сказать евреи, его собственный брат Аарон! — стоило только пророку отвлечься для разговора с Богом, отвернулись от Бога. Мало сказать, отвернулись, пристали евреи к чужим богам, к идолам, к золотому тельцу.

А кто стал служить Астарте? Не Соломон ли! А кто построил капище Хамосу, мерзости Моавитской, а кто поклонился Молоху, мерзости Аммонитской? Не Соломон ли!

А кто поставил Ваалу жертвенник в капище Ваала? Не Ахав ли, царь Израильский?

А кто "даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых" (4-я Царств, 16:3)? Не Ахаз ли, царь Иудейский, сын Давидов!

Вся история евреев — это история отпадения евреев от еврейства. Вот вопль разъяренного Исайи или "Второисайи", как называют его ученые-библеисты: "... Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровию и персты ваши — беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду" (59:2,3). Во что бить вас еще, вопрошает в гневе Исайя, вся голова в язвах, и все сердце исчахло!

О чем стоны, о чем плач Иеремии: "Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался отвратительным; все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его..."! (Плач Иеремии, 1:8). Ужас и яма, опустошение и разорение — вот доля евреев, ибо отступились. Кто же отступился: виноградари, пастухи, гончары, кузнецы, каменотесы — люди поля и люди города, в темноте своей не ведавшие, что творили? О, если б только они! Цари отступились, князья, священники, проливавшие кровь праведников. "Бродили — как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их"(4:14).

"Проклятый сон! Проклятые стогны бесстыжего города!.. Что делать? Кому жаловаться? Каким серафимам вручить... робкую душонку..."!

Чей голос это? Нет, не ветхозаветных пророков, хоть и слог, и накал, и проклятия — все от них. Ибо от кого же еще брать ему, поэту Мандельштаму, как не от пращуров своих!

А ненавидеть кого? Их же, проклятое семя, из коего произрос он, мальчик Ося, неся в теле своем, в мозге, в сердце тысячелетние иудейские яды, порождения хаоса иудейского.

Но что он — хаос иудейский? У греков, у эллинов хаос — это ничто, пустое пространство, которое существовало до создания мира, порождение вечности. Хаос — это бездна, зияющая пустота, в которой сформировались Ночь и Туман. Сгустившись, Туман принял форму яйца. Уплотнясь, яйцо раскололось надвое: одна половина — Земля, другая — Небо.

Но это, повторяем, хаос греческий, эллинский. А что он — хаос иудейский? Хаос иудейский — это радость и проклятие Мандельштамова дома, это книги, геологические напластования, где материнское и отцовское существовало розно, не смешиваясь, история "духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови". Это хаотическая нижняя полка, где "книги не стояли корешок к корешку, а лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборванными переплетами, русская история евреев, написанная неуклюжим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был повергнутый в пыль хаос иудейский".

Теперь вам ясно? У античных греков, у эллинов хаос — это нечто из вечности, предвременное. А хаос иудейский — это вчера, это сегодня Осипа Мандельштама, которому так обрыдло собственное его еврейство, что он, еще мальчиком, забросил в пыльную груду, в книжную рвань Моисеевой мудрости и древнееврейскую свою азбуку.

Думаете, папа-мама не приглашали к нему в учители бохера-ешиботника? Приглашали. И был этот ешиботник порядочный человек, с чувством еврейской народной гордости. "Он говорил о евреях, как француженка о Гюго и Наполеоне". Казалось бы, как же такому еврею не повести за собою своего ученика. Повести? Смеетесь: даже родной азбуке обучить своего еврейчика он не смог!

А почему? А потому, что перед глазами, против Государственного Совета, стоял конный памятник императору Николаю Первому, потому что вход в Летний сад охранялся вахмистрами в медалях, потому что семи или восьми лет весь массив Петербурга, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь, Ося считал чем-то священным и праздничным. Военные разводы, у Александровской колонны, генеральские по-

хороны и проезды царской семьи были его ежедневным развлечением. Ах, восклицал тридцать лет спустя Осип Эмильевич, "не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны (напомним читателю: стогны — это площади и улицы) каким-то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом".

Короче, маленький Ося сделался русским империалистом. Конечно, все это очень плохо вязалось с кухонным чадом, с кожами, шнурками, опойками отца, с еврейскими гроссбухами, с постоянным страхом разорения — ой, вэй из мир, придет пристав и все опишет! — с безъязычием еврейского папы из Курляндии, так тем паче! Тем паче, тем больше оснований было у Оси податься в империализм — пусть ребяческий, как называл он его впоследствии, но империализм державной, романовской России:

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...
Поедем в Царское Село!
Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях — клочья ваты,
И грянут "здравия" раскаты
На крик — "здорово, молодцы!"
Казармы, парки и дворцы...

Ах, сорванец, ах, шалун, ах, жиденок — пардон, это не мое: проходил Ося о те времена среди петербургских поэтов под кличкой "Зинаидин жиденок", поскольку взяла его под свою руку Зинаида Гиппиус — уж и к уланам потянуло его! "А над Невой — посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина!" — это прекрасно, слов нет, но кровь уланская бурлит в еврейских жилах и влечет Осю неодолимо в полки, в казармы, в царские чертоги.

Правда, еще не семнадцатый, не восемнадцатый годок, еще не седлала для еврея революция красного коня, но разве в Октябре лишь сели евреи на коня! Разве не семиты-гиксосы ворвались вихрем в Египет, разве не возложили на свою главу фараонов венец! Разве на царю Соломону приводили коней из Египта и из Кувы, разве не платил он шестьсот сиклей серебра за колесницу да сто пятьдесят — за коня! Разве не у него, Соломона-царя, было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников!

Так что ж удивляться, что потянуло Осю к царскосельским уланам: были бы свои — может, и к своим потянуло бы. Но свои-то все были в прошлом, а новых... кто же мог предвидеть новых о глухие те года!

Весь, сердцем, духом, каждой клеточкой тела влеком был Ося к силе — от еврейской своей немощи, от скудности, от затхлости, от непреходящего чада, от смердящих чесноком-луком чернозубых ртов, от чахоточных, от оплывших жиром, от касриловских мудрецов, от омерзительного "рэ" — то ли "ррусский", то ли "гусский"! — от местечковой робости и затаенной надменности своих рижских, варшавских, шауляйских родичей, от практикующей женщины-врача, по фамилии Страшунер.

Но вот вопрос: была ли сила силой? Не была ли царская — она же царственная — Русь, которая для отрока-иудея Осипа Мандельштама вся воплотилась в Петербурге, призраком? Здесь следует уточнить вопрос: не вообще призраком, а именно в его, отрока Осипа, онтогенетическом бытии не была ли она призраком.

Вот собственный ответ поэта: "Весь стройный мираж Петербурга был только сон, накинутый над бездной, а кругом..." А кругом, сами понимаете, кругом была реальность. Что же это была за реальность?

Опять он — хаос иудейский: "... а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал".

Бежать-то бежал, но куда? Опять-таки туда же, ибо бег был не по прямой, а по кругу: "Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры, угрозой разрушенья, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг "Бытия", заброшенных в пыль на книжную полку шкафа... и клочками черно-желтого ритуала".

Онтогенез онтогенезом, но не может же быть, чтобы Русь, к которой так тянулся Ося, была для него одним бесплотным призраком.

Конечно, не может быть. И не была. Во всяком случае, в праздники. Вот, послушайте: "Крепкий румяный русский год катился по календарю с крашеными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками, декабрем, вейками и дачей. А тут же путался призрак — новый год в сентябре и невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош-Гашана и Иом-Кипур".

Вот это антраша: только что Петербург был мираж, сон, накинутый над бездной, а реальностью был хаос иудейский, а теперь, на тебе, все наоборот: румяный русский год — это-таки реальность, а еврейские Рош-Гашана и Иом-Кипур — это призраки!

Чему же в конце концов верить, на чем остановиться: что реальность и что призрак — иудейство или Русь? Или и то, и другое призрак? Но это противоречит логике: либо А, либо Б.

Да, противоречит, но тем не менее это так: А и Б истинны в один и тот же момент, в одном и том же месте — они и реальность, они и призраки.

Но, помилуйте, это же ночной бред, такое бывает только во сне!

Вот именно, во сне, ибо бытие поэта Осипа Мандельштама и есть сон. И первый об этом сказал, кажется, Блок: "Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только".

Но что такое сон? Вы можете почитать Зигмунда Фрейда, можете не почитать его — это ваше личное дело. Но вы не можете не согласиться с Фрейдом, когда он говорит в своем "Толковании сновидений": "Кто не умеет объяснить себе возникновение сновидений, тот напрасно будет стараться понять различного рода фобии, навязчивые мысли, бредовые идеи..."

Забежим чуть вперед, поглядим на Осипа, когда в Чердыни, куда сослал его товарищ Сталин с инструкцией "изолировать, но сохранить", он вдруг, в больнице, очутился у окна на втором этаже, спустил ноги по ту сторону, жена Надежда Яковлевна успела подбежать, схватила за рукава пиджака, но он оказался проворнее, изловчился, выскользнул из рукавов и рухнул на землю.

А в вагоне, еще по пути из Москвы в Чердынь, он сидел скрестив ноги и, под стук вагонных колес и храп пассажиров, все спрашивал: "Ты слышишь?" Жена не слышала, а он слышал: приближается расправа, приближается смерть, надо успеть выскользнуть, надо успеть предупредить смерть. Для чего? Чтобы спастись, чтоб остаться в живых? Ничего подобного: чтобы умереть, но не от них, навязанной ими смертью, а умéреть собственной, своей смертью.

А позже, уже незадолго до последнего своего ареста в тридцать восьмом году, в Москве, он встал у окна, запрокинув голову и растопырив руки, как крылья, сказал своей Наде: "Не пора ли?.. Давай... Пока мы вместе..."

Георгий Иванов, петербургский поэт, друг его молодости — ему, кстати, посвящены стихи "Поедем в Царское Село!" — сообщает, что в Варшаве, это было еще до революции, Осип стрелялся, но "неудачно", то есть остался в живых. Отлежавшись в госпитале, он вернулся в Петербург и на другой день по приезде в "Бродячей собаке", у поэтов, читал, давясь от смеха, только что сочиненное четверостишие:

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...

У поэтов — речь идет, конечно, о настоящих поэтах — это обычно: жизнь не что иное, как подготовка к смерти. И сама смерть не потустороннее нечто, не трансцендентальный акт, а последний акт жизни. И там, где другие, здравомыслящие, нормальные люди плачут или по крайней мере, горюют, там поэт смеется, надрывается от хохота. "Зачем пишется юмористика, — искренне недоумевал Мандельштам. — Ведь и так все смешно".

К примеру, у вас есть любимые дядя и тетя, у которых вы находите приют и убежище, когда отношения с родным отцом становятся невмоготу, когда еврейский папа, схватив самого себя за горло, выхрипывает сыну проклятья и гонит его вон из отчего дома. И вот в один прекрасный день тетя и дядя помирают. Как бы рассказали вы об этом своему другу? Либо со слезами на глазах, либо, чтобы друг не счел вас малодушным, проглотив слезы. Но без слез — видимых или невидимых, это уже не важно — не обошлось бы.

А вот у Оси все было не так. Мало сказать, не так, как раз наоборот. Когда с Георгием Ивановым они проходили мимо дома, где прежде жили Осины тетя и дядя, друг заметил объявление о сдаче и спросил: "Твои родные переехали? Где ж они теперь живут?" — "Живут? Ха... ха... ха... Нет, не здесь... Ха... ха... ха... Да, переехали..." Приятель удивился: "Ну, переехали, что ж тут смешного?" Мандельштам совсем залился краской, слезы — о, нет, не те слезы, о которых была речь выше — выступили у него на глазах: "Что смешного? Ха... ха... А ты спроси, куда они переехали!.." И, уж совсем задыхаясь от смеха, Осип пояснил: "В прошлом году... Тю-тю... от холеры... на тот свет переехали!"

Психическая природа смеха не выяснена. Одна из гипотез: мы смеемся тогда, когда чувствуем свою силу, свое превосходство, когда обладаем точным знанием, а люди барахтаются беспомощно в догадках.

Осин друг беспомощно барахтался в догадках, в поисках привычного, будничного объяснения исчезновения тети и дяди — раз не живут, где жили прежде, значит, переехали. Естественно? Естественно. Но в том-то и дело, что в данном случае привычное, будничное, естественное не работало, ибо тетя и дядя померли, причем одновременно, не по причине старости, а прямо, как в еврейском анекдоте — от какой-то дурацкой холеры.

Помните: кого это везут? Рабиновича, помер. От чего: инсульт? Не. Инфаркт? Не. Рак, не дай Бог? Не. От чего же? Говорят, что-то желудочное. Ой, я думал что-нибудь серьезное!

Ну, так я вас спрашиваю: как же здесь еврею не смеяться! Тем более еврею, который убежден, что смерть — это не начало чего-то нового не из здешнего мира, а последний акт жизни.

Но, согласитесь, есть в этом все-таки что-то, мягко говоря, не будничное. Такое впечатление, будто жизнь не жизнь, а так — не то театр, где каждый, лучше ли, хуже ли,

просто актер, не то сон наяву, который, кроме видимого своего, лежащего на поверхности, смысла, имеет тайный, он же истинный, смысл.

Еврейская каббала как раз учит, что все вещи, все идеи, в их числе цифры, числа, буквы, слова, образы, имеют свой сокровенный, подлинный смысл.

Ося был каббалистом по натуре. Он втолковывал своей жене: "Ты ведь понимаешь, что значат четырнадцать строк... Что-то должны означать и эти семь и девять... Они все время выскакивают..."

Ясно? Хотя стихи сочиняет он, Осип Мандельштам, но это только видимость: в действительности они выскакивают сами, и эти числа, четырнадцать, семь, девять, должны что-то означать. Прошу обратить внимание: не стихи в целом, не слова, не образы, а число строк — именно число строк.

В поисках переходных ступеней между бесконечным и конечным каббалисты выбирают сложную систему цифровой символики. Однако цифра — кстати, само это слово не арабского, как обычно указывают в словарях, происхождения, а древнееврейского: "сефер" — семь наделена особым смыслом уже в книге "Берешит" ("Бытие"), первой книге Торы. Семь дней творения — это у всех в памяти. Семь дней недели — это у всех в быту. Но помним ли проклятие Господа: "... за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро"! (Бытие, 4:15). Но помним ли клятву Авраама Авимелеху: "И поставил Авраам семь агниц... Он сказал: семь агниц сих возьми от руки моей, чтоб они были мне свидетельством..." (Бытие, 21:28, 30).

Мандельштам хотя и не был каббалистом по роду занятий, был, повторяем, каббалистом по натуре. Строго говоря, поэзия его — не вся, но большая ее часть — также представляет собою шифрованный материал, который сплошь да рядом выглядит в первом чтении прямой бессмыслицей, абракадаброй. Образцом по этой части может служить знаменитая его "Грифельная ода", на которой сточил, хотя и без толку, свои зубы не один критик. Между тем ключ к оде дан в ней самой:

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик:
Двурушник я, с двойной душой.

Все в "Грифельной оде", весь ее первичный и весь производный поэтический материал фокусируется в сухой будто бы, рассудочной, а на самом деле страстной жажде уже не мальчика, не юноши, уже тридцатидвухлетнего — еще только один год, и исчерпает он лета, данные эллину Александру Македонскому, данные иудею Иешуа Назареянину! — Осипа Эмильевича преодолеть свою двойную душу, свое сызмальства двурушничество:

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык
Кремень с водой, с подковой перстень.

Вот она, мечта поэта Мандельштама, каббалиста-шифровальщика, открываться в антитезах сознания и подсознания, дать выход своему конечному, единому Я в противоборстве сил и материи, человеческого духа: кто ж не знает, что вода — и камень точит; кто ж не знает, что подкова — символ зыбкой, быстротечной фортуны, а перстень — залог верности и постоянства!

Двойное бытие — это предначертано каждому еврею с колыбели. Но реагируют на это евреи по-разному. Что одному под силу, что сделает один играючи, то другому — камень на ногах.

Приучась с детства к двойственности мира, в котором обретается еврей, к двойному смыслу вещей, слов, поступков, поэт Мандельштам всю жизнь несказанно мучим, томим был этим раздвоением и всячески норовил его преодолеть. Но как: окунувшись полностью в еврейство, доверясь целиком его материнскому лону? Да будь оно проклято, это лоно! И вообще, какое это лоно — это же хаос иудейский! А с точки зрения обывателей Российской империи — это просто обиталище жидов. А с точки зрения российских законов — это талмудическая и революционная зараза. И сколько ни устраивай им, пархатым, черту оседлости, вылезут, пролезут, просунут хвост, где голова не лезет. И сколько ни ограничивай их в правах, все равно на других верхом сядут и еще гвалт на весь мир подымут: гевалт, а погром! гевалт, режут!

Но, повторяем, это с точки зрения обывателей и правителей империи. И сам царь Александр Третий — ах, как любил маленький Ося наблюдать его проезды! — говаривал, что рад, когда бьют евреев.

А с точки зрения евреев? А с точки зрения евреев было плохо, так плохо, что дальше некуда. И евреи — не все, конечно, но столько, что дай Бог вам, как говорится, столько копеек на черный день! — шли в народовольцы, шли в марксисты, в анархисты, в масоны, в баптисты, в лютеране, в православные, в католики, словом, всюду, где можно было раствориться, перестать быть евреем, слиться с массой, ассимилироваться.

Ученик знаменитого в Петербурге Тенишевского училища — кстати, несколькими годами позже там учился и сын члена Государственного Совета Владимир Набоков — Ося Мандельштам, хотя регулярно приставлялись к нему французские гувернантки, понимал, поначалу даже не понимал, а чувствовал, что первый и главный признак русскости — это русский язык. Сам по себе русский язык уже изымал его из презренного иудейского мира его курляндского папы. Правда, еврейский этот папа обеспечил своему сыну и право на проживание в царской столице, и дачу в Павловске, и место за партой в Тенишевском училище, и французских гувернанток — но что ж из того, коли не было у папы главного признака русскости: русского языка!

А у мамы — у мамы этот признак был. На полке стоял материнский Пушкин, в издании Исакова, — неподдельный, неподложный признак русскости. Мама, Флора Вербловская, была родом из Вильны, ученой цитадели восточно-европейского талмудизма, но, во-первых, среди ее родственников числился знаменитый пушкинист, само собою, выкрест, Семен Афанасьевич Венгеров, а во-вторых, сама она и особенно бабушка слово "интеллигент" выговаривали с гордостью.

"Мать любила говорить и радовалась корню и звуку прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков?" Словом, у мамы был настоящий великорусский язык, ясная и звонкая речь без малейшей чужестранной примеси.

Такой воспринимал Ося свою маму, и такой она осталась навсегда в его памяти. И, конечно, нет никакого сомнения, что воспринимал он ее правильно.

И тем не менее Сергей Маковский, русский интеллигент, поэт, эссеист, редактор знаменитого журнала "Аполлон", воспринял в свое время мадам Мандельштам, Осину маму, немножко по-другому. Кстати, и самого Осю воспринимал он не совсем так, как Ося воспринимал сам себя.

Короче, дело было в конце 1909 года, господину Маковскому доложили, что "некая особа, по фамилии Мандельштам, настойчиво требует редактора, ни с кем другим говорить не согласна... Через минуту появилась дама, немолодая, довольно полная, бледное взволнованное лицо. Ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати, — видимо, конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть не держался "за ручку"...

— Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям. Вырастили, воспитали, сколько на учение расходу! Ну что ж, если талант — пусть талант... Но если одни выдумки и глупость — ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги..."

Надежда Мандельштам в своей книге "Воспоминания" дала Сергею Маковскому — увы, уже покойному — как надо за эту его сцену и этот портрет мадам Мандельштам: "Маковский изобразил мать О. М. какой-то глупой еврейской торговкой. Это ему понадобилось, очевидно, для того же журналистского контраста: гениальный мальчик из хамской семьи. Между тем мать О. М., учительница музыки, привившая сыну любовь к классической музыке, была абсолютно культурной женщиной, сумевшей дать образование детям и совершенно неспособной на дикие разговоры, которые ей приписал Маковский".

Ну, что тут можно сказать? Прежде всего, что Надежда Яковлевна Мандельштам, в девичестве Хазина, хотя и крещеная в православную веру, осталась настоящей киевской еврейкой — темпераментной, боевитой, знающей свою правду. А как умеют киевские, одесские и вообще наши южные, малороссийские еврейки — не приведи Господь попасться им под горячую руку! — постоять за свою правду, это общеизвестно.

И тем не менее в данном случае я верю больше русскому человеку, Сергею Маковскому. Во-первых, он рассказывает историю, которой был не просто свидетелем, очевидцем, а главнейшим участником. Во-вторых, он был одним из первых, кто признал Осю Мандельштама и увидел в нем типичного еврейского шлимазла: "Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени. Вообще все сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывавший насмешки, неприспособленный и обойденный на жизненном пиру"

.А в-третьих — и это самое главное — профессорский сын, православный человек Сергей Маковский, естественно, не смотрел и не мог смотреть на мадам Мандельштам и на Осю глазами киевской еврейки, хоть и крещеной, Нади Хазиной. Можно допустить, поскольку редактор "Аполлона" не вел стенографической записи разговора, что он передает его не дословно. Очень даже может быть, что со временем тогдашние впечатления его обросли некоторыми эмоциональными деталями. Но ведь и эти детали из того же ряда, что и запавшая ему в память сцена.

Надежда Мандельштам утверждает, что Осина мама была "абсолютно культурной женщиной, сумевшей дать детям образование и совершенно неспособной на дикие разговоры", которые ей, будто бы, приписал Маковский.

Ну, насчет образования Мандельштамов-детей Надежда Яковлевна просто увлеклась: учительница музыки в Санкт-Петербурге, сколько бы ни зарабатывала домашними уроками, послать всех своих детей в университет никак не могла. А вот папа, заводчик, коммерсант, купец второй гильдии, мог.

Что же касается аттестации "абсолютно культурная женщина", то здесь, каемся, задала авторша нам шараду. Когда про человека говорят просто, что он культурный,

тоже приходится немало ломать голову, а как, собственно, следует понимать это. Когда же говорят, что он не просто культурный, а "абсолютно культурный", и прилагают биографическую справку — учительница музыки, дала детям образование — то, ей-Богу, и вовсе столбняк находит.

Сергей Маковский, слов нет, мемуарист желчный, достаточно почитать его "Портреты" — книгу о современниках, людях искусства. Но человек он, бесспорно, честный. Кроме того, повторяем, был он привязан к Осипу: "Я любил его слушать. Вообще любил его". Утверждать, что из каких-то таких соображений щелкопера Маковский рисовал Осину маму "еврейской торговкой", это, право, возводить на человека напраслину.

Да и, скажите на милость, почему "еврейской торговкой"? Потому лишь, что она говорила о кожевенном деле своего мужа, Осина отца? Или потому, что она уселась в редакторском кабинете и требовала немедленного ответа насчет таланта, есть он у ее сына или нет его? Никто не спорит, это не образец куртуазности, воспитанницы института благородных девиц вели себя по-другому. Но ведь она, мать Оси Мандельштама, жена курляндского еврея-кожевенника, и не была из этих, из благородных, а была она, хоть и овладевшая русской речью — в первом поколении — вильненской еврейкой. И чему же удивляться, что русский человек — сын академика, племянник президента Академии художеств — такой и воспринимал ее: вильненской еврейкой. А сына ее — еврейским шлимазлом.

Ведь именно тогда нарекли Осю "Зинаидин жиденок". В своем дневнике Блок сделал запись про Мандельштама, который хоть и артист, но жид. Если угодно, можно и другой акцент сделать: хоть и жид, но артист. Как, однако, не переставлять — без жида не обойтись. После революции уже, рассказывает Гиппиус, Блок требовал: всех жидов перевешать!

Сокрушался насчет жидов и другой тогдашний корифей, отец русского символизма, Валерий Брюсов. Хоть и состоя в свойстве с евреями, через сестру свою Лидию Яковлевну, которая замужем была за московским литератором Самуилом Викторовичем Киссиным, выступавшим под псевдонимом "Муни", он говорил про себя поэту Владиславу Ходасевичу: "Поляки — антисемиты куда более последовательные, чем я". После Октября Брюсов объяснял своим литературным и окололитературным адъютантам, что теперь "нами жиды будут править".

Тут нечего себя обманывать: без жида даже в избранной компании петербургских и московских парнасцев не обходилось. Так что все, в общем, в норме: Осипа Мандельштама воспринимали правильно — как еврея. А как, собственно, еще должны были его воспринимать?

Слов нет, знать, что тебя кличут "Зинаидин жиденок", не большая радость. И хоть Надежда Мандельштам уверяет, что впоследствии Осип отринул руку своей патронессы Зинаиды Николаевны Гиппиус, однако факт остается фактом: склонил юный поэт свою гордую выю и встал под эту руку.

Какова же была Зинаида Николаевна, можно представить себе из сценки, которую рассказал Михаил Слонимский Роману Гулю: "Скажите, Миша, вот вы крещеный еврей, русский человек, но вот когда вы узнаете о еврейском погроме, на какой стороне вы себя чувствуете — на стороне громящих или на стороне громимых? Я отвечаю ей вопросом: — А вы, Зинаида Николаевна, на какой стороне себя чувствуете? — Ну, я-то, естественно, на стороне громящих. Но меня интересует, на какой стороне чувствуете себя вы, крещеный еврей, от еврейства совершенно оторвавшийся?"

Конечно, нелепо утверждать, будто все петербургские да московские парнасы были явными или скрытыми жидоморами. Но, каковы бы ни были они, были они лишь одной стороной, а другой стороной был сам поэт Мандельштам. И этот поэт никогда, ни на единую минуту не забывал, какого он роду-племени: дома ли, на улице ли, в синагоге, куда его водили насильно, у Казанского собора, в Летнем саду, среди своих однокашников в Тенишевском училище, среди поэтов в "Бродячей собаке" — повсюду и везде он чувствовал, он помнил, он сознавал свое жидовство.

Да что он, Осип Мандельштам, если поэт Владислав Фелицианович Ходасевич, сын польского дворянина и крещеной еврейки, и тот — возьмите хоть его "Некрополь" — постоянно слышал картавые, гортанные голоса своих предков по матери, взывавшие к его иудейской совести.

Ося ненавидел своего косноязычного папу. Но для кого же секрет, что ненависть ставит нас в такую же зависимость от человека, как и любовь! Ненавидеть своего отца — это значит постоянно думать о нем, вести про себя полемику с ним, поносить его, парировать его удары, глумиться над его обличениями, его приказами, его верой, словом, брать реванш.

Когда люди хватают друг друга в объятия, не так бывает просто сразу определить: любовь это или ненависть. Но и в одном, и в другом случае, пользуясь языком медицины, происходит инфильтрация.

Парадокс поэта Мандельштама в том, что чем сильнее он лягался, чем сильнее отталкивался, тем сильнее была инфильтрация. Именно от отца, которого он стыдился, которого ненавидел и презирал, а не от матери, которую любил и почитал, которой гордился, он заимствовал косноязычие — важнейшее качество своей поэзии.

Изблевавши проклятие отчему безъязычию, косноязычию, Осип Мандельштам тут же выдает на люди свое нутряное, сокровенное: "В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслушался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с ударениями на полутонах". И вслед за этим: "Речь отца и речь матери — не слиянием ли этих двух речей питается всю долгую жизнь наш язык, ни они ли слагают его характер?"

Заметьте: на первом месте "речь отца" — та, которая на всю жизнь оставила в его, Осипа, душе рубец. Нет, не рубец, а незаживающую рану еврейства и еврейского косноязычия.

Парадокс поэта Осипа Мандельштама стал парадоксом русской поэзии XX века: вершина ее озарена гением еврея, который по материнской линии — во втором, а по отцовской — в первом колене заговорил по-русски!

Учителя у Мандельштама были русские. Но у русских этих учителей был в чину учимых еврей. Что было ведущим началом в этой школе — обучение или самообучение?

Знаменитый швейцарец Жан Пиаже, основатель экспериментальной психологии, утверждал, что душа ребенка бьется на пороге "двойного бытия". Двойное бытие — это собственный мир ребенка, заданный в его генах, и реальный мир, поставляющий ему учителей. Почему из рук одних и тех же учителей выходят разные ученики? Потому что ребенок, как ни давят на него учителя, самообучается, а не обучается. Иными словами, усваивает наставления извне и переваривает их на свой лад. А на свой лад — это сообразно своему эгоцентристскому "я", которое допускает известную социальную коррекцию, но лишь в пределах, заданных генами.

Все, кто знал Осипа Мандельштама, всю жизнь дивились его детскости, его мальчишеским выходкам. Сколько раз говорили ему: Осип, пора остепениться! Больше того, сколько раз сам он себе говорил: пора взяться за ум, жить, как все. Но, помилуйте, это же, как любил говаривать Ильич, архичушь: мог ли быть Ося "как все", — если на самом деле он не был "как все", если кровь его — а кровь, учит Тора, это душа — была отягощена наследством овцеводов, патриархов и царей избранного народа! Не в том смысле избранного, что народ этот лучше других — ни единого слова об этом ни в Торе, ни в книге Царств, ни у пророков не найдете — а в том смысле, что ему первому было сказано среди всех народов земли: "Я Господь... Да не будет у тебя других богов... Не делай себе кумира и никакого изображения..." (Исход, 20:2, 3, 4). И ему же, первому, было сказано: "...Люби ближнего твоего, как самого себя" (Левит, 19:18).

Мудрец Гилель, который хорошо знал человеческую природу, две тысячи лет назад дал людям практическое, на каждый день, толкование этой заповеди: "Не поступай с ближними так, как ты не хотел бы, чтобы поступали с тобой. Все остальное — комментарии".

В 30-е годы, уже "кремлевский горец, душегубец и мужикоборец" рубил головы налево и направо, Мандельштам сказал Ахматовой, когда она неодобрительно отозвалась о Есенине: "Можно простить Есенину что угодно (в свое время Есенин призывал бить Мандельштама) за строчку: "Не расстреливал несчастных по темницам".

Ося, про которого в юности говорили, что он самое смешливое существо на свете, переживал свое "двойное бытие" — удел, как мы уже знаем, всякого ребенка — на свой, на еврейский лад. Что это значит? Это значит, прежде всего, что он мучительно, до зубной боли в сердце, жаждал избавиться от своего еврейства. Это была, так сказать, социальная поправка, которую реальность вносила в его "двойное бытие".

Еще в 1909 году Осип писал:

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

Еще в том же году вопрошал:

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите мне, благодарить?

Еще в том же, 1909 году, отвечал:

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

А в 1910 уже предвиделось решение, уже сердце — "...отчего так медленно оно И так упорно тяжелеет?" — уже душа, плывшая недавно еще "дельфином молодым по седым пучинам мировым", уже готовились они облачиться в новые ризы, уже

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь...
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.

Поначалу, года два-три тому назад, "тайный путь" искал Ося в "Капитале" Маркса, в Эрфуртской программе, о чем позднее, в "Шуме времени", поведал с восклицательными знаками: "Эрфуртская программа, марксистские пропилеи, рано, слишком рано приучили вы дух к стройности, но... дали ощущение жизни в предысторические годы, когда жизнь жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты!"

Скажем больше, искал Ося свой тайный путь не в одних лишь лербухах марксизма, а подавался в эсдеки и в эсеры, в боевые организации, но уже тогда, по собственным его словам, открылась ему сущность эсерства: "...Особый вид людей эсеровской масти мы называли "христосиками"... "Христосики" были русачки с нежными лицами, носители "идеи личности в истории" — и в самом деле многие из них походили на нестеровских Иисусов. Женщины их очень любили, и сами они легко воспламенялись".

В ту пору иудейская его душа трепетала еще на развилке мировых дорог и родным человеком воспринял он Семена Акимовича Ан-ского (Рапопорта), знаменитого еврейского писателя, который "совмещал в себе еврейского фольклориста с Глебом Успенским и Чеховым". Встретил его Ося случайно — по ходу своих революционных занятий — в доме у моднейшего в те годы петербургского психиатра Бориса Наумовича Синани.

Двадцать лет спустя Ося все еще с восторгом рассказывал об Ан-ском, который приезжал — конечно, без права жительства! — в Петербург: "В нем одном помещалась тысяча местечковых раввинов — по числу преподанных им советов, утешений, рассказанных в виде притч, анекдотов... Слушатели за ним бегали. Русско-еврейский фольклор Семена Акимыча в неторопливых, чудесных рассказах лился густой медовой струей. Семен Акимыч, еще не старик, дедовски состарился и сутулился от избытка еврейства и народничества: губернаторы, погромы, человеческие несчастья... Все сохранил, все запомнил Семен Акимыч — Глеб Успенский из Талмуд-Торы. ...С мягкими библейскими движениями, склонив голову набок, он сидел, как еврейский апостол Петр на вечери"

Если бы речь шла не о Мандельштаме, а о каком-нибудь другом еврее, можно было бы только подивиться, какой миш-маш у человека в голове: Ан-ский — это и фольклорист, и тысяча раввинов, и Глеб Успенский из Талмуд-Торы, и Чехов, и еврейский апостол Петр на тайной вечери! Но в том-то и дело, что для простого смертного миш-маш, полный ералаш в мыслях, то для гения цветовое колесо, составленное из всех цветов спектра: на скорости колесо дает один белый цвет, а будучи внезапно остановленным — все цвета радуги.

Но цветовым этим колесом был сам поэт Мандельштам, которого жизнь то заверчивала с чудовищной скоростью, и тогда все сливалось в одно ослепительное сияние, то внезапно, на полном ходу, останавливала — и тогда мир разбивался на составные свои части, которые не так просто было собрать воедино, нанизать на один стержень.

И вот вопрос: а был ли вообще дан Мандельштаму этот стержень?

14/24 мая 1911 года пастор Розен вручил еврею Мандельштаму, сыну Эмиля Хацнеля, сыну Вениаминову, документ: "Сим свидетельствую, что Иосиф Эмильевич Мандельштам, родившийся в Варшаве 8/20 января 1891 года, После произведенных над ним... постановленных согласно Св. Евангелию допросов, касающихся веры и обязанностей жизни христианина, окрещен сего дня нижеподписавшимся пастором Н. Розеном, Епископско-Методистской церкви, находящейся в г. Выборге (Финляндия) 14/24 мая 1911 года".

Не будем останавливаться на общеизвестном факте, что Тенишевское училище Мандельштама закончил иудеем, а студентом романо-германского отделения историко-филологического факультета Петербургского университета числился уже в христианах, ибо не с аттестатом и не с усердием Осипа было пробиться через трехпроцентную норму.

Вернемся к нашему вопросу о стержне: так был дан он Осипу Мандельштаму или не был?

Да, говорим, был. И стержень этот был еврейство. Но не с положительным знаком — плюс, а с отрицательным знаком — минус. Христианские исследователи, все без исключения, твердят в один голос: Мандельштам — христианин XX века. Вот собственный его тезис из статьи "Слово и культура": "...теперь всякий культурный человек — христианин..."

Статья была опубликована в 1921 году в альманахе петербургских поэтов "Дракон", и там были эти слова. В сборнике "О поэзии", выпущенном в двадцать восьмом году, этих слов уже не было. Доподлинно известно, что не издатели изъяли эти слова, а сам

Мандельштам. Вполне логично допустить, что рукой поэта водила при этом большевистская цензура, мастерица направлять всякую руку.

Но большевистская цензура — это одна сторона дела. А другая сторона — сам поэт, Осип Мандельштам. Какой поэт, произнеся однажды слово, до конца жизни уже и не отступался от него! О поэтах говорят, что они ветреники. Если это так, Мандельштам — вдвойне ветреник.

О своем крещении Мандельштам ни в стихах своих, ни в прозе не упоминает ни единым словом — как будто и не было его. В мемуарах Надежды Мандельштам "Воспоминания" и "Вторая книга", где очень много разговоров о христианских настроениях Осипа, тоже — вот странность! — ни слова, ни намека насчет крещения.

Что же это за акт такой, о коем и сам новообращенный, и жена — тридцать лет по смерти его — хранят молчание. Еврей Пастернак сказал о себе: "Интимная полутайна моего крещения". Хоть и интимная, но все же полутайна, а не тайна.

А у Мандельштама вовсе ничего — ни тайны, ни полутайны. Как будто ничего и не было. Что это: скрытность? Но какая же человеку польза от акта, который надо скрывать! Ну, была, впрочем, польза: поступил Осип Эмильевич в Санкт-Петербургский университет. И это все? А коли б не трехпроцентная норма, коли б не юдофобские запоры на университетских вратах, крестился бы Мандельштам или, как родился иудеем, так иудеем и помер бы?

И еще загадка: почему подался в протестантскую веру? Почему на Руси, где все, от царя до последнего мужика, держались православного закону, поэт Мандельштам избрал для духовного обряда какую-то едва видимую епископско-методистскую церковь в чухонском краю?

О чем только ни говорит он в "Египетской марке", в "Шуме времени", в "Четвертой прозе", а обо этом — ни гу-гу! Ну хоть бы намек какой-нибудь, так и намека — нет. Ничего, повторяем, как будто ничего и не было.

Так осторожничают, так скрытны люди, когда речь о преступлении идет: кто самому себе враг, кому охота себя самого выдавать!

Так что: почитал Мандельштам себя преступником? Если да, то какого рода преступление совершил?

Не так даже, а по-другому поставим вопрос: не какого рода преступление совершил, а какого рода преступление сам за собою числил? Знаменитый русский философ Шварцман-Шестов и талантливейший Гершензон, литературовед, оба, уж с каким пиететом относились к христианской вере, а вот не крестились: никак не могли переступить через полученное от отцов своих еврейство. Казалось бы, чего доступнее: никакой физической преграды — так, просто линия, как в детской игре, где мелком отделяется гибельная зона "огонь". Собственно, и того проще, даже и этой, начертанной мелком, линии не было: одно воображение.

Но не переступили. А Мандельштам переступил. Преступил. У слов этих — преступить и преступление — один корень, один префикс. Мог ли уйти от этого Мандельштам, для которого слово — Психея! Если б мог, ушел бы. И не надо было бы таиться, не надо было бы нести в себе тайну. Да и то сказать, тайна тайне рознь: эта была не того рода, что давит на грудь, на сердце извне — эта давила изнутри. Тут открыться — обнажить свое сердце для общего обозрения, для всякого глаза, а всякий глаз — чужой глаз. Вражий. А не вражий, так враждебный. А у Оси, у Осипа Эмильевича с детства и до гробовой доски не проходило это ощущение — враждебности мира.

В пятнадцатом году, в самый разгар первой мировой войны, в Варшаве, куда он прибыл санитаром-волонтером, посетил Мандельштам еверейское гетто. Гетто, рассказывает Ахматова, поразило его. Это были уже впечатления не прежнего Мандельштама, состоявшего еще в иудеях, это были впечатления нового Мандельштама — выкреста. Выкреста volens nolens. Но всякий акт, по принуждению ли, по своей ли воле, есть акт.

Акт требует оправдания, освящения. И душа мечется в поисках этого оправдания. Кто же говорит себе: я трус, я малодушен, я преступник! Как жить с таким сознанием! Не лучше ли сказать себе: я скроен, я вылеплен по-другому, я создан для иных звуков, иных миров, и родство свое, с украденным его первородством, не ставлю ни в грош:

Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

Ежели поэт говорит, что "получил блаженное наследство — чужих певцов блуждающие сны", как не верить ему. Но вот вопрос: от кого получил? От своих-то родичей, которым он законный наследник, поэт отрекся. От кого же досталось ему "блаженное наследство"? Более того, он уверен, что достанется ему еще хоть и от чужих, в обход закона, но будет чужое, как свое, еще ближе своего:

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

В самом начале века, через полтора десятка лет после смерти автора, увидело свет стихотворение — почти на ту же тему, о полученных в наследство чужих снах — полуеврея Надсона:

Я рос тебе чужим, отверженный народ,
И не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнет
  Мне чужд, как и твои мученья.

Но не для того, чтобы заявить свое отщепенство, свою отверженность, сочинил стихи Надсон, а напротив, для того сочинил, чтобы выразить свою причастность, свою приверженность к гонимому народу:

Но в наши дни, когда под бременем скорбей
Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья,
В те дни, когда одно название "еврей"
  В устах толпы звучит, как символ отверженья,
Когда твои враги, как стая жадных псов,
На части рвут тебя, ругаясь над тобою, —
Дай скромно стать и мне в ряды твоих борцов,
  Народ, обиженный судьбою!

У Осипа Мандельштама, хотя на годы его отрочества пришелся и знаменитый Кишиневский погром и не менее знаменитый погром девятьсот пятого года в Одессе, после которого на Втором Еврейском кладбище появилась огромная, обнесенная с четырех сторон на сотни метров, братская могила, ни в одной строке — ни в стихах, ни в прозе — не обнаружилось желание стать в "ряды твоих борцов, народ, обиженный судьбою!". Более того, он руками и ногами отпихивался от этого народа, ибо от него, от народа этого, были все его беды, весь душевный дискомфорт с омерзительным чувством жидовства и, соответственно, человеческой неполноценности.

Уже он не еврей, уже отверг свое племя, уже он мешумед — уже свершен над ним, хоть и держится это в тайне, обряд крещения. Уже он свой среди христиан, и по смерти законное ему место на христианском кладбище. Правда, не вполне еще освоился он с новой своей ипостасью, еще на прогулке, встретив похороны лютеранина "близ протестантской кирки, в воскресенье", он чувствовал себя "рассеянным прохожим", но уже с чувством законного, освященного обрядом, права примеряет на себя платье почившего лютеранина:

Кто б ни был ты, покойный лютеранин, —
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.

Годом позже, в девятьсот тринадцатом, он уже настолько укрепился в своей протестантской гордыне, что устроил Лютеру победное кружение над Ватиканом:

"Здесь я стою — я не могу иначе",
Не просветлеет темная гора —
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.

И водил он, Осип Мандельштам, сын Хацнеля Мандельштама, из вонючего рижского Дуббельна, компанию теперь с великим Бахом и лютеранскими проповедниками:

Разноголосица какая
В трактирах буйных и церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О рассудительнейший Бах!
....
И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей.

Казалось бы, чего еще надобно тебе, человече?

Но неймется Осипу, сыну Хацнеля, нет ему покоя: "Отравлен хлеб и воздух выпит. Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать!"

Вот она, мера Осиповой тоски: библейская тоска его тезки Иосифа, проданного чужим, мало сказать, чужим, ненавистным гоям в египетский, фараонов плен!

Тут бы впору возликовать длинноносым его родичам из Варшавы, из Дуббельна, из Вильны: "А, мешумед, а, чесночный бохер, потянуло-таки к своим! А ты думал, кровь — это так себе, немножечко красных помоев: захотел — выплеснул!"

Но в том-то и дело, что впору или не впору сказать наверняка можно не ранее, нежели эта самая пора наступит, а так, наперед, одни пустые гадания.

И вот вам доказательство:

Поговорим о Риме — дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.
....
На дольный мир бросает пепел бурый
Над форумом огромная луна,
И голова моя обнажена —
О холод католической тонзуры!

Ну, как вам нравится этот бывший иудей, с тоской библейского Иосифа! Как вам нравится этот прозелит, прихожанин епископско-методистской церкви, который только что устраивал Лютеру победное кружение над апостольским Ватиканским собором!

Но погодите, и это еще не все — он не просто католиком, он еще апостолом возомнит себя: "Посох мой, моя свобода, Сердцевина бытия — Скоро ль истиной народа Станет истина моя? ...Снег растает на утесах, Солнцем истины палим. Прав народ, вручивший посох Мне, увидившему Рим!"

Познавший таинство причастия, он, однако, чувствует некую неловкость, какой отмечено всякое самозванство, и хочет, чтобы все — пусть не наяву, пусть хоть в воображении — было по закону. Но теперь уже не лютеранин-проповедник, не протестантский пастор несет в себе закон, теперь закон — это аббат, который провидит его земную смерть и отпущение по католическому канону:

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы,
И, говоря со мной, заметил:
"Католиком умрете вы!"

Но едва добившись благословения и права на смерть по римско-католическому канону, Осип Мандельштам, внук реб Вениамина, сын Эмиля Хацнеля, в один взмах — надо же иметь такие крылья! — перелетает на Афон, к русским православным мужикам, подавшимся в ересь:

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

И хотя никто не знал его, никто не просил его в барды, он — бывший иудей, бывший протестант, бывший католик — сам навязывается еретикам в аллилуйщики:

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.

Но и афонские чернецы-мужички тоже для него так, колобок в поле, на который налетел он с маху, и тут же ибо носителей закона никого рядом на сей момент не видать, он, поэт Мандельштам, сам причащает себя на новый лад:

— Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я ни сниму.

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!

Уж это, прямо скажем, стихи ветреника, ну, не ветреника, озорника, освящающего собственное право на непостоянство, на ветреность. Как же дивиться тому, что высокое христианское credo подменилось у него вмиг эллинским языческим либидо:

...Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

Чтоб не было никаких сомнений, никакой двусмысленности, уже не иудей, не протестант, не католик, не афонский еретик, проклятый русской церковью, — уже эллин-язычник, Осип Мандельштам, будто бы еще в некоторой нерешительности, воз-

вещает новую свою веру: "И море, и Гомер — все движется любовью. Кого же слушать мне?"

Ну, кто поверит такому, чтобы в течение каких-нибудь трех-четырех лет поэт, солидный человек, бегал из одной веры в другую, как своекоштный студент с квартиры на квартиру! И ведь это еще не все. В самый разгар первой мировой войны он, дитя хаоса иудейского, поет праарийский дух "и в колыбели праарийской славянский и германский лен!"

Но и это еще не все. Сергий Платонович Каблуков, петербургский учитель математики, который имел на него большое влияние, возил его "на вечерню Пасхи в Александро-Невскую Лавру. Там поместил его на клиросе. Епископская служба и пение митрополичьего хора ему понравилось. Самое же богослужение впечатлило его своею чинностью и стройностью, и ему показалось, что оно совершалось и совершается в Лавре "для князей церкви", а не для народа".

А возил Сергий Каблуков поэта Мандельштама в православную Лавру по весьма уважительной причине, которую сам в своем дневнике и излагает: "Религия и эротика сочетаются в его душе какой-то связью... представляющейся кощунственной. Эту связь признал и он сам, говорил, что пол особенно опасен ему, как ушедшему из еврейства, что он сам знает, что находится на опасном пути, что положение его ужасно, но сил сойти с этого пути не имеет и даже не может заставить себя перестать сочинять стихи во время этого эротического безумия и не видит выхода из этого положения, кроме скорейшего перехода в православие".

Не диво ли: сначала Осипу Мандельштаму надобно было срочно перейти в к а к у ю - н и б у д ь христианскую веру, чтобы приняли его в Петербургский университет. И перешел. Но не в православную, что было бы всего естественней в России, а почему-то в протестантскую, епископско-методистской церкви. А теперь, шесть лет спустя, в канун Февральской революции, надобно перейти ему опять в христианскую же веру, но уже не в какую-нибудь, а именно в православие, ибо только оно может спасти его от эротического безумия, особенно опасного ему, "как ушедшему из еврейства".

"Эротическое безумие" Мандельштама, собственно, могло квалифицироваться как безумие лишь весьма условно, ибо из двух главных его тогдашних увлечений — Мариной Цветаевой и княжной Саломеей Андрониковой — одно, хотя и отмечено было всеми признаками сексуального угара, вполне было разделено, точнее, не просто разделено, а в известном смысле навязано ему более активной стороной, каковой была Марина Цветаева. Другое же увлечение, красавицей княжной Саломеей Андрониковой, в замужестве Гальперн, осталось безответным.

Цветаева была Мандельштаму поводырем в Москве, все пропитано было ею, и даже в каменных кремлевских соборах Осе, мальчику из хаоса иудейского, чудились вожделенные женские изгибы, само собою не иудейские. Дорвавшись до русского рая — помните бабелевского Бенчика, как обстоятельная Катюша накаляла для него "свой расписной, свой русский и румяный рай"! — притом еще многократно усиленного ликами православных соборов, сконденсированного русского духа, с италийской замесью — "Успенье нежное — Флоренция в Москве" — Ося, при его неуемном еврейском воображении, буквально шалел. До такой степени шалел, что имел перед своими глазами всю историю России, с ее третьим Римом, то есть Москвой-матушкой, с угличским убиенным царевичем: "Царевича везут, немеет страшно тело — И рыжую солому подожгли".

Разве может еврей, с университетским образованием, обладать женщиной просто так — как одномоментной данностью, а не Историей, пусть не всей Историей, а куском ее, пусть не в четыре тысячи лет, как его собственная, а хоть в тысячу!

Нет, образованный еврей, воображение которого не столько обогащено знаниями, сколько распалено, развращено ими, не может этого никак!

Княжной Саломеей Ося обладал только в своих ночных видениях: "Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне И ждешь, бессонная... И в круглом омуте кровать отражена". А Марина Цветаева была реальность, такая реальность, что уж реальнее и не бывает: "Не веря воскресенья чуду, На кладбище гуляли мы". Заметьте: не бродили, а "гуляли". Кладбище, с крестами, с могильными холмами, с имярек почившими в Бозе, — тоже История. Тут и воображения особого не требуется — достаточно одного контраста: жизнь и смерть. Тут от самой антитезы так завертит, замотает, что не только прогнать нечистого, ахнуть-охнуть не успеешь, как с ног — да на землю: "Ты знаешь, мне земля повсюду Напоминает те холмы..."

"Те холмы" — это Крым, где тоже гуляли и тоже История, да плюс еще география:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

Но, увы, ничто не вечно под луной: и владимирский русский град Александров с неистовой его Мариной стали Осипу невмоготу.

Чужое, чуждое все. Марина вспоминает: "Монашка пришла... Мандельштам шепотом: "Почему она такая черная". Я, так же: "Потому что они такие белые!" ... У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков?.."

Да все вместе, а главное: чужое! Боится — хотя, казалось бы, чего бояться? — Ося, "но на монашку (у страха глаза велики!) покашливает. Даже пользуясь ее наклоном...

глаза распахивает. Распахнутые глаза у Мандельштама — звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей.

— А скоро она уйдет? Ведь это неуютно, наконец. Я совершенно достоверно ощущаю запах ладана. — Мандельштам, это вам кажется! — И обвалившийся склеп с костями — кажется?"

Ну, как вам нравится готовый обратиться в православную веру этот богатырь, боящийся ладана! И вообще, о чем говорить, — достаточно вспомнить присловье, какое в ходу на Руси с незапамятных времен: "Бояться, как черт ладана". Или чуть по-другому: "Бежать, как черт от ладана".

Монашка так врезалась ему в память — уже и сама Марина чудилась ему монашкой! — что и в стихи вошла она как примета беды:

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться — значит быть беде.

Не мог Осип долее оставаться с александровскими слобожанами: "В Крым. Необходимо сегодня же... Я — я — я — здесь больше не могу. И вообще пора все это прекратить". И уже не было ни в тоне, ни в осанке, ни в словах привычной робости, напротив, держал себя, "ломая баранку, барственно". Тоже, между прочим, черточка от своих, от дуббельнских-варшавских родственничков.

А едва паровоз тронулся, забыл всю свою барственность — и в крик, как бывало в детстве, когда хватался за мамину руку: "Марина Ивановна! Я, наверное, глупость делаю! Мне здесь... мне у вас... мне никогда ни с... Мне так не хочется в Крым!"

Но все тут — экзальтация еврея, еврейского мальчика. Марина Цветаева хорошо понимала это и, хоть в очерке ее "История одного посвящения" вдосталь слов о еврействе Осипа, предпочла здесь, однако, большаку проселок: "Мандельштаму в Александрове, после первых восторгов, неможется. Петербуржец и крымец — к моим косогорам не привык".

А косогоры эти — Владимиро-Суздальская земля, посконная православная Русь: отсюда пошло в рост Московское княжество, отсюда на Запад, к берегам Балтики и Черноморья, отсюда на Восток, до самого до Великого океана, распространилась Россия. Мандельштам же в Суздальской земле — на кладбище ли, улице ли, в четырех ли стенах гостиной — постоянно объят страхом: "Ах, я не знаю! Знаю только, что мне страшно и что хочу домой".

Бессмысленно гадать, чем была бы Россия без православия, хоть дважды весьма плотно — уже с видимыми телесными признаками — подступал к ней дух иудаизма: в первый раз при Владимире, киевском кагане, в котором текла кровь иудейских царей Хазарии, во второй раз при великом князе Иване Третьем, когда распространились, с благословения самого государя, жидовствующие в Новгороде и Москве, а в кремлевских соборах, Успенском и Архангельском, протопоп Алексей, переименованный тайно в Авраама, жена его наречена была Саррой, да протопоп Денис готовились обрезаться по Моисееву закону. А с ними были протопоп Софийского, в Новгороде, собора Гавриил и другие попы, перечтенные в "Просветителе", сочинения преподобного Иосифа Волоцкого. И с ними же были посольский дьяк, по-теперешнему министр иностранных дел, Федор Курицын, статс-секретари и, по всем данным, сам государь Иван Третий, дед Ивана Грозного.

Были некоторые угрозы православию и со стороны немецкой, то есть протестантской веры, и со стороны римско-католической, хотя и не такой силы, как со стороны поборников Моисеева закона, однако все это — через сожжения на костре, через иные казни — так и прошло в русской истории одними угрозами, не более.

Стало быть, немыслима Россия без православия, ибо такова ее тысячелетняя история. Какую оценку давал России — и приватно, и публично — Мандельштам, повторять нет надобности. Как воспринимал он православие, кондовое, мужицкое, это яснее ясного из истории жития его и бегства из Александровой слободы, по рассказу такого проникновенного летописца, как Марина Цветаева. Как воспринимал он столичное православие, видно из описания столь высокопорядочного и наблюдательного человека, как Сергий Платонович Каблуков, по свидетельству которого, Мандельштаму "показалось, что оно (богослужение) совершалось и совершается в Лавре "для князей церкви", а не для народа".

Так зададимся вопросом: о какой, собственно, близости Осипа Мандельштама к православию могла идти речь? По части духовности близости этой было, что называется, кот наплакал. А по части формальной, кроме того, что находим в дневнике Каблукова, тоже ничего такого осязаемого не было: так, одни помыслы, неясные блуждания ума и сердца.

Да и вообще, как замечено русской мудростью, конец — делу венец. А конец, он ни для кого не тайна: не пристал Мандельштам к православию ни в те годы, ни позднее,

когда обручился с киевской еврейкой Надеждой Хазиной, православного вероисповедания.

Случайность это, каприз обстоятельств?- Нисколько. А что же? Если не игра случая, не каприз обстоятельств, стало быть, закономерность, ну, пусть не закономерность, но нечто фундаментальное, обязательное?

Именно так: фундаментальное, обязательное. И парадокс в том, что еврей Осип Эмильевич Мандельштам, хотя и принявший христианство, не принял и ни при каких обстоятельствах не мог принять православия. Пойти в церковь мог, стоять на клиросе мог, даже петь в хоре и бить прилюдно земные поклоны мог. А вот принять православие, главное, державное вероисповедание России, не мог. Именно потому и не мог, что было оно главное, что обнимало почти все 150-миллионное стадо тогдашней России, что пастыри его духовные были одновременно и пастыри, через царей, державные.

Но главный вопрос: а хотелось ли ему вообще пристать? Нет, не хотелось пристать, не хотелось прилепиться ни к какому стаду — ни к большому, ни к маленькому. А хотелось отлепиться от своего, от иудейского стада, какое дано ему было от рождения. Примеряя на себя одежи живых и мертвых — только не евреев! — тревожился он об одном: как бы не вылезла мерзкая пола лапсердака, как бы не выбились из-под шляпы курчавые пейсы!

Он любил Финляндию. Он посвящал ей стихи: "Вот еще стихи о Финляндии, а пока, мамочка, прощай. Твой Ося". Финляндия входила в имперскую Россию, царь титуловался Великим Князем Финляндским, но Финляндия никогда не была Россией. И Осип отъезжает на семьдесят верст из Петербурга, в город Выборг, пастор Розен производит над ним постановленные, согласно Св. Евангелию, допросы, касающиеся веры и обязанностей христианина, и вот — Ося уже не иудей!

Но откуда, скажите на милость, у пастора Розена, из чухонского края, такая власть, чтобы мог он освободить Осю от его жидовства? Что, он выкачал из его вен старую кровь и накачал новую? Откуда! Что, он произвел незримую трепанацию черепа и заменил прежний, еврейский, Осин мозг на новый, как пристало правоверному христианину? Откуда! Что, он иссек грудную полость Осину, извлек иудейское сердце и вставил на его место протестантское, епископско-методистское сердце? Откуда!

Так в чем же, собственно, Осина трансформация: в том лишь, что раньше он не мог быть студентом Санкт-Петербургского университета, а теперь мог? Иными словами, в том, что, как выражались местечковые делопроизводители, выправили Осе нужный документ?

Если хотите знать, именно так: выправили нужный документ. А подогнать себя под документ — это была уже Осина забота.

И Ося заботился, и еще как заботился! Помните, как пушкинский Балда "пошел, сел у берега моря; там он стал веревку крутить да конец ее в море мочить"? Помните, как "из моря вылез старый Бес: "Зачем ты, Балда, к нам залез?" А Балда в ответ: "Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить"?

Так вот, это Балдово морщение-корчение чертей в окияне-море — детские забавы по сравнению с тем, как Ося корчил да корчевал в себе жида. У пушкинского умника Балды что? — одно физическое беспокойство, примитивное телесное усилие. А Осип знал — уж ему-то, внуку германских раввинов и курляндских ювелиров, не знать ли этого! — что окиян-море, с погибельными его штормами, не вне, а внутри человека. Что веревку крутить да мочить, да устраивать стихиям морщение, вздымать волны и корчить беса — в Осином казусе, естественно, беса иудейского — надобно не где-то, а в себе, в окияне-море, который есть твоя собственная душа: "В самом себе, как змей, таясь, Вокруг себя, как плющ виясь, Я подымаюсь над собою..." В том же стихе к змею и плющу прибавляется еще одна ипостась, орлиная, так что Ося освоил все три стихии — и воду, и земную твердь, и воздух — и во всех этих стихиях предстояло ему корчить-корчевать в себе беса жидовства, который, дело ведомое, самый нахальный, самый въедливый, самый дотошный бес. Кому приводилось встречать живого еврея, не нужно много объяснять.

Футболистом, сколько известно, Ося не был: так, мог остановиться, посмотреть, как другие гоняют мяч. Тоже не без приятности занятие:

Рассеян утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел,
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.

Ну, положа руку на сердце, думали ли вы, глядя на мальчиков, когда они гоняют в мяча, думали ли вы когда-нибудь о еврейской истории? Безразлично, с какой стороны — с героической, победной или, наоборот, с трагической. О гладиаторах? При чем здесь гладиаторы? Да, евреи-гладиаторы на потеху римлянам дрались с львами, но при чем здесь гладиаторы — речь идет о футболе. Ясно, не думали. Нет.

А вот Ося Мандельштам, двадцати двух лет от роду, думал. Когда мяч — "Обезображен, обезглавлен Футбола толстокожий бог" — катился по полю, Ося увидел голову ассирийского военачальника Олоферна, супостата евреев:

О беззащитная завеса,
Неохраняемый шатер!..

Должно быть так толпа сгрудилась,
Когда мучительно-жива,
Не допив кубка, покатилась
К ногам тупая голова?

Неизъяснимо лицемерно —
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна,
Юдифь, глумились и враги?

Враги — это, естественно, евреи, которые, пока Олоферн был жив, боялись его, как огня, а теперь, когда дщерь их, блудница Юдифь, отрубила ему голову, "Неизъяснимо лицемерно... кончиком ноги... глумились" над его теплым трупом.

Здесь Ося еще не корчевал иудейского беса — здесь он его только корчил: голова у врага, конечно, тупая, но кто, жидовская твоя харя, дал тебе право глумиться над обезглавленным телом!

Христианские художники, не мешумеды, а настоящие христиане — возьмите хотя бы Микеланджело и Луку Кранаха Старшего — живописали гордую, бесстрашную Юдифь, которая сама, не успей она в своем замысле, положила бы голову на плаху, а с нею тысячи ее братьев и сестер. Ося же, еврейский бохер, который без году неделя как заделался христианином, в истории с Олоферном хоть не всей ногой, так "кончиком" поддел своих паскудняков-родичей, все поведение коих отмечено, на его глаза, печатью "неизъяснимо лицемерно".

Корча в недрах своей души иудейского беса, Ося тут же — по вековому трафарету местечковых гениев! — поет сам себе гимны:

В поднятьи головы крылатый
Намек. Но мешковат сюртук.
В закрытьи глаз, в покое рук
Тайник движенья непочатый.

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость,
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть.

Что же это за "прирожденная неловкость", которую надо одолеть? Неловкость телесная, скованность в членах, дряблость мышц? Несомненно. Но не об этом скорбит Ося. Конечно, как все люди с впалой грудью, он мечтает о груди, которая колесом; как все мальчики, у которых, сколько ни тужься, ни бицепсы, ни трицепсы не вздыблются под кожей, он мечтает о рельефе Атлантов.

Но "прирожденная неловкость", насчет которой Ося в своем "Автопортрете" строит планы, как бы отделаться от нее, это опять все то же: неловкость еврейского шлимазла. По-русски недотепы. Впрочем, нет: шлимазл — это шлимазл.

"Барыня! чего это у нас Осип Емельич такие чудные? — говорит владимирская няня, самой-то восемнадцать лет, Марине Цветаевой. — Кормлю нынче Андрюшу кашей, а они мне: "Счастливый у вас, Надя, Андрюша, завсегда ему каша готова, и все дырки на носках перештопаны. А меня, — говорят, — никогда кашей не кормили, а мне, — говорят, — никто носков не штопает". И так тяжело-о вздохнули, сирота горькая".

Мандельштаму она же, владимирская эта сердобольная душа, совет подает: "...а вы бы, Осип Емельич, женились. Ведь любая за вас барышня замуж пойдет. Хотите сосватаю? Поповну одну". Барыне же своей, Цветаевой, которая очень удивилась совету, тут же пояснила: "Да что вы, барыня, это я им для утехи, уж очень меня разжалобили. Не только что любая, а ни одна даже, разве уж сухоручка какая. Чуден больно!"

Можно, конечно, оспаривать все эти впечатления и характеристики. Десятки, а то и сотни страниц Надежда Мандельштам в своих книгах тем и занимается, что оспаривает, опровергает, а незадолго до смерти в интервью англичанке Элизабет де Мони, которое та записала на пленку, вдруг высказалась про мужа своего, Осипа Мандельштама: "Был ли он гением, я не знаю. Он был дурак". Тут пришел черед госпоже де Мони смутиться. "Он был... очень глупый молодой человек?" Но старуха Мандельштам, родом из Киева, когда он был еще городом-местечком, стояла твердо на своем: "Вы облагораживаете. Он был — я резче говорю". То есть был Осип Емельич в глазах собственной супруги — дурак. А был ли он при этом гений, она сказать не могла: не знала.

Жена, как заметил один чеховский герой, есть жена. Наталья Николаевна Пушкина, урожденная Гончарова, тоже не знала, гений или не гений ее муж. Впрочем, книг, сколько известно, она не писала.

А теперь вернемся к Осе той поры, когда он, еще не провидя всех аспектов своей репутации, корчевал в себе иудейского беса, полагая его главным виновником всего своего житейского и душевного неустройства.

Помните тот ужасный день в доме рижского дедушки, когда старик вдруг накинул внуку на плечи черно-желтый шелковый платок, талес. Помните, как ребенок испугался и стал задыхаться. Шелковый платок — желтое и черное — так врезался Осе в память,

что до конца жизни, какие невзгоды ни выпадали на его долю, обязательно клал он на них эти две роковые краски: желтое и черное. И все большие Осины переживания, и все страхи, перегнанные через его душу в стихи, — Осип не просто сочинял стихи, он выборматывал их, как шаман, как знахарь, как ведун, — помечены были этими красками, желтым и черным:

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее —
Баю-баюшки-баю —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

Что это: сновидение? бред ясновидца? бормотание юродивого, какого на Руси почитают блаженным, чья блажь — от Господа? Где граница времен в этих виршах, где последовательность событий данного нам мира, коего главные два атрибута — пространство и время? Все перемешано, прошлое, минуя настоящее, стыкуется, сочетается с будущим, как в умозрениях каббалистов, где пропущенное через сны поколений бывшее дает диковинные всходы на полях мессианского будущего. А где же настоящее? А настоящего, как независимого, самоценного состояния, нет, ибо настоящее — это проекция данного нам в опыте прошлого и данного нам в воображении будущего.

Черное и желтое стало для Оси с младенческих лет постылым символом еврейства. Отпрыск жестоковыйного племени, он не искал ни обоснования, ни оправдания своей ненависти: он ненавидел — и все тут. Солнцепоклонник, певец Эллады, певец Одиссея, который воротился из дальних странствий "пространством и временем полный", — ну у кого еще вы найдете слова, чтобы они были из такого чистого золота! — он возненавидел желтый цвет, хотя желтизна спокон веку в сознании человечества была сродни солнцу.

В семнадцатом году он написал стихи с посвящением Антону Владимировичу Карташеву, обер-прокурору Синода, министру по делам вероисповеданий Временного правительства, и, с упорством параноика, "молодой левит" опять мазал ненавистной черно-желтой кистью:

Он говорил: небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.

Нас не интересует в данном случае скрытая эсхатологическая параллель Вавилона, великой блудницы на Евфрате, с Петра твореньем на Неве, тогда, в семнадцатом году, тоже впавшим в великий блуд, а интересует только это: цветовая гамма — черное и желтое.

Представляете себе первые Осины впечатления: с одной стороны, вонючие папины кожи и касриловский еврейчик в картузе, а с другой стороны — Летний сад, боярышни с боннами и сам царь! Но самое ужасное, что в глубине, в недрах, в тайниках души, Ося и сам чувствовал себя всю жизнь этим касриловским еврейчиком в картузе. В тридцать седьмом году, воротясь из воронежской ссылки в Москву — оставалось ему жизни тогда уже немногим более полутора лет, — Осип, усевшись с гостем и Анной Ахматовой на матраце, главным богатстве своей меблировки, шутил о своем жидовстве: "Бессарабская линейка. Обнищавшая помещица со своим управляющим, а я — жид".

Годы его подходили уже к пятидесяти, а он видел себя тем же касриловским жидком в картузе, естественно, с клеймом времени на иудейском своем Я — воистину гробе повапленном!

Конечно, во время оно писал Ося гимн православной литургии:

И Евхаристия как вечный полдень длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

Конечно, во время оно выборматывал Ося богодухновенно:

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое Верую и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Конечно, во время оно пел Ося кремлевские православные соборы:

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

Но что из того, что пел! Петь-то, певцы знают это хорошо, можно по-разному: грудью — когда идет из нутра, из сокровенных глубин; горлом — когда главное извлечь благолепный звук.

Ося искренно хотел придать благолепному своему звуку настоящую, грудную глубину. Этой цели должны были служить и классы по книге отца Павла Флоренского "Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах", которые он сам себе устроил. В письме втором, "Сомнение", которое влекло Осипа более всего, отец Павел Флоренский писал: "Древний еврей, да и еврей вообще, в языке своем запечатлел опять особый момент идеи Истины, — момент исторический или, точнее, теократический. Истиною для него всегда было Слово Божие. Неотменяемость этого Божьего обетования, верность его, надежность его — вот что для еврея характеризовало его в качестве Истины. Истина — это надежность. "Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет" (Лука, 16:17).

Есть ли в этих словах нечто, от чего следует отвернуться правоверному еврею! Не от дней ли Авраамовых стоят евреи на том, что скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона, из Торы, пропадет!

Чуть-чуть поднатужиться, небольшое усилие воображения — и сами отворятся врата иудейской Осиной груди, даденой ему от пращуров, и уже не горлом, а грудью запоет Емельич:

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестины песнь, нисходит благодать.

Известный историк Григорий Аронсон с сочувствием приводит слова одного литературного критика насчет Мандельштама:

"Если он даже случайно вспоминал Палестину, то не с какой-либо национальной, но чисто художественной целью".

Ей- Богу, просто неловко бывает, что среди интеллигентных евреев находятся люди, которые не видят дальше своего носа. Тут уж и размер носа — чуть длиннее, чуть короче — не играет роли. А в случае с Мандельштамом надо просто слепцом быть, чтобы не слышать в каждом его вздохе — в прозе ли, в стихах ли — в каждом обороте унаследованного от отца косноязычия, еврейского астматического дыхания, как будто торопится человек надышаться между двумя приступами удушья.

Едва воспев языческую Элладу, младшую современницу Израиля — "На каменных отрогах Пиерии Водили музы первый хоровод... Где не едят надломленного хлеба, Где только мед, вино и молоко, Скрипучий труд не омрачает неба, И колесо вращается легко", — Осип возвращается к своим, где за века, за тысячелетия так перемешались все, что всякий акт меж ними — в желтизне их сумрака! — кровосмесительный акт:

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.

Но роковая перемена
В тебе исполниться должна:

Ты будешь Лия — не Елена —
Не потому наречена,

Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой —
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем — и Бог с тобой.

Надежда Мандельштам утверждает, что стихи эти про нее. После первой майской ночи девятнадцатого года в Киеве, когда они с Осей тут же — "физиологическая удача", по ее словам, — и сошлись, последовала разлука в полтора года. Тем не менее стихи — они написаны в двадцатом году в Крыму, — утверждает она, про нее, хотя поначалу Мандельштам и сам не понимал про кого они.

Но, в конце концов, какое нам дело до этого: физиологическая удача так физиологическая удача, с ней так с ней. Нас интересует другое: мощнейший родник еврейства, который в Осиной душе, во всем его библейском теле ударил с такой силой — именно в Крыму, "где обрывается Россия над морем черным и глухим", где пахнет уже Левантом, где с эллинских еще времен стояли иудейская Кафа и жидовский город Чифуткале! — что затмил солнце Илиона.

Уточним: Лия не была кровосмесительница-дочь. Лия была старшей сестрой прекрасной Рахили, за которую Иаков служил их отцу Лавану семь лет и еще раз семь, ибо, сказал Лаван, "в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей". Кровосмесительницами были дочери Лота, которого Господь выслал из среды истребления, когда ниспровергал Содом и Гоморру. Это они, когда не стало мужчин, чтобы продолжать род, напоили отца своего вином и понесли от него. И продолжали они род не Авраама, хотя Лот был ему племянником, а положили начало моавитянам и аммонитянам.

Осип Мандельштам, который сам про себя рассказывал, что ребенком в одну кучу сбросил рвань Моисеевой мудрости и свою древнееврейскую азбуку, мог запамятовать эти мелочи из Святого Письма. Запамятовать не штука. Но, ответьте, куда девать наследственную гордость потомка патриархов и царей: не он ли, этот потомок, чувствует, "что царской крови тяжелее струиться в жилах, чем другой", не он ли знает наперед, что Лия — неважно, была она в жизни киевской еврейкой Надей Хазиной или кем-то еще, — полюбит иудея и растворится, исчезнет в нем! Он — кто же еще! даром что окропился методистскою водой, Осип Мандельштам.

В Крыму — "О средиземный радостный зверинец!" — Ося чувствовал себя, как рыба в воде:

Идем туда, где разные науки,
И ремесло — шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический утюг — явленье
Небесных прачек — тяжести улыбка.

Если убрать шашлыки и чебуреки, это же чистый Шагалов Витебск — и в деталях, и, главное, по настрою. В Феодосии — она же Кафа, она же Пантикапей, где боспорские евреи хоронили своих родичей и ставили им каменные надгробия еще во времена Второго Храма, — "у Осипа Эмильевича, — рассказывает Эренбург, — было... много знакомых: либеральные адвокаты, еврейские купцы, любители литературы, начинающие поэты, портовые служащие".

Что на юге тогдашней России "либеральные адвокаты, любители литературы, начинающие поэты" были, по преимуществу, одного кодла с еврейскими купцами, объяснять нет надобности.

Ах, что говорить: Крым — это Крым! Кабы вздорная баба с Подола не опознала в Осе киевского комиссара — белые чуть не поставили Осю к стенке — кейфовать бы ему в Крыму да кейфовать.

Но судьба метнула его на север, в Петрополь, и в том же двадцатом году — вдали от боспорской Кафы — Осип вновь запел горлом:

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг. .
....

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

Сергей Маковский по поводу этих строк восклицал: "Религиозность этого "полудня" (или "вселенской литургии"?) не только восторженно христианская, но русская, иконописная религиозность. Удивительно, как сумел проникнуться ею этот выросший в

еврейской мелкомещанской среде юноша, набравшийся многосторонней образованности в Швейцарии и Гейдельберге!"

В подкрепление восторженному изумлению православного человека по поводу таинственной способности еврея петь в чужом храме так, как не всегда даже свои, младенцами окунутые в купель, поют, приведем еще две строфы, столь же щедро напитанные елеем:

Люблю под сводами седыя тишины
Молебнов, панихид блужданье,
И трогательный чин, ему же все должны —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.

Ну, как умеют евреи припадать к чужим источникам, как умеют при этом закатывать глаза и, преисполненные блаженства, складывать на груди руки, не пересказать. Великий немец, христианин Иоганн Рейхлин в споре о Талмуде с выкрестом Пфефферкорном должен был искать защиты у папы Льва X и — вот курьез! — обратился за поддержкой к лейб-медику папы, раввину римской общины, знаменитому Якову бен Иммануилу, изобретателю астрономического кольца. Полагают, что вмешательство Якова бен Иммануила — он именовался еще Бонет де Латтес — имело благоприятное для Рейхлина влияние на исход дела.

Новое время — не средневековье: искать защиты ни у папы, ни у патриархов нет резона. Есть силы повыше папской и патриаршей. Более того, и папу, и патриарха, и все церкви на земле, гамузом, они и в грош не ставят.

Когда эти силы взяли верх на Руси, еврей Осип Мандельштам, в свое время сам чуть не член боевой организации партии социал-революционеров, почувствовал себя на первых порах совершенно потерянным "в черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты". Правда — не праздновать же на глазах у почтенной публики труса! — Ося при этом и хорохорился: "Мне не надо пропуска ночного, Часовых я не боюсь: За блаженное бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь".

На эти, первые после революции, три-четыре года пришелся последний Осин христианский всплеск. Сбылось его, 1917 года по Р.Х., пророчество:

О государстве слишком раннем
Еще печалится земля —
Мы в черной очереди станем
На черной площади Кремля.

Канула в Лету христианская Русь. Уже что православный, что лютеранин, что иудей, все одно, ибо нет более на Руси Бога, — ни Единого, ни триединого. Уже Осю одолевают новые страхи: "Торжественно уносится вагон. Павлиний крик и рокот фортепьянный — Я опоздал. Мне страшно. Это сон".

Но зря предается Осип страху: он не опоздал. Преодолев первый испуг, как дюжины его сродственников — увы, реестра, на манер "Чисел", никто им не учинял, — он ринулся в начальники и одно время ходил даже в больших пурицах у Луначарского, получал спецпайки, ездил в литерных вагонах.

Ах, Бог ты мой, куда подевались в Осиных виршах новозаветные прелести: дароносица, широкий вынос плащаницы, евхаристия! Как будто ветром выдуло, как будто и не было их никогда.

Уже, как пращур его Авраам, уже, как в Торе, превыше всего Ося ценит очаг, овцу и желтизну — кто бы мог поверить: желтизну! — травы:

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла.
Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Изощренным иудейским нюхом Ося обоняет нечто знакомое, почитай, уже около трех тысяч лет, со времен ассирийского плена: не государство для человека, а человек — для государства! В небесной лазури многоопытным своим глазом он узрел нечто грозно-знакомое: "Ассирийские крылья стрекоз". Ветхозаветные страхи предков наседают на него со всех сторон:

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.

Есть или нет человеку от этого спасение? Есть, слава Богу, есть: оттуда же, откуда всегда чаяли иудеи спасения — с небес:

И с трудом пробиваясь вперед
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

Как будто отомкнули в Осиной душе ларец, где хранил он свои иудейские ключи к миру — и, хоть в страхе, хоть в ужасе, но голосом Исайи, голосом Иеремии вопрошает, возвещает он стогнам и улицам, городам и миру:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
....
Словно нежный хрящ ребенка -
Век младенческой земли,
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Нет, это еще не конец мира, не конец жизни — еще будут набухать почки, еще будут из земли зеленые побеги, "Но разбит твой позвоночник, Мой прекрасный жалкий век. И с бессмысленной улыбкой Вспять глядишь, жесток и слаб, Словно зверь, когда-то гибкий, На следы своих же лап".

Но разве не с ним, этим веком, печатал Ося свой шаг на земле, разве не рядом оставляли они следы: тот — своих лап, этот — своей стопы? Как же, оглядевшись на следы одного, не увидеть следов другого, тем более что другой — это и есть он сам, Осип Мандельштам!

Ах, все перемешалось в беспутной Осиной голове, и, как во снах, не поймешь, где начало, где конец, и вообще, есть ли они, начало и конец, не порождение ли они нашего разума, который жаждет во всем усмотреть последовательность, порядок.

Но только ли разум жаждет порядка: а совесть, зовущая человека к истине, к Слову, разве не жаждет счета, который тот же порядок!

"Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. Спасибо за то, что было: Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете".

Ну нет, спасибо здесь не отделаешься: не перед другими — перед собой не отделаешься! Идет, грядет этот день — "1-ое января 1924" — и, стареющий сын века, Осип Мандельштам, внук реб Вениамина, рви на себе одежды, как повелели отцы, кричи от боли, блудный сын, собиравший травы для племени чужого:

Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И, с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.
....
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

Когда белеет перед человеком собственная его совесть, тем более когда человеку этому уже тридцать три от роду, пора подводить итоги, кому окончательные, кому предварительные, сие, как говорится, не от нас зависит, не в нашей воле, но подводить итоги надо.

И Осип подвел:

Нет, никогда ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Ну, как вам нравится этот итог! Грек из Македонии к этим годам успел сколотить мировую империю, еврей из Назарета — покорить мир, исключая, правда, своих, иудеев, а Осип Мандельштам насчет прожитых им тридцати трех лет, трети века, вдруг открыл: "То был не я, то был другой". Кто же это был? Ах, "какой-то соименник", притом весьма противный ему, Осе.

Еще несколько лет спустя, к сорока годам, Осип уже вовсе холодным глазом оглянется на то, что было некогда им, на того, кто был его соименником, мучившим себя по чужому подобью, и объявит во всеуслышание:

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

Иные усматривают в этих стихах манифест бывшего акмеиста, то есть чисто литературный документ поэта, бежавшего в свое время "от красавиц тогдашних, — от тех европеянок нежных", от которых в Петрополе он принял смущенье, надсаду и горе. Анна Ахматова в своих воспоминаниях приводит даже именной, включая себя, перечень этим европеянкам.

Но, позвольте напомнить, Мандельштам до последних дней своих сохранял почтительное отношение к акмеизму, который в тридцать седьмом году, в Воронеже, определил как "тоску по мировой культуре". Это — во-первых, и это главное — не люди терзают его память, а Петрополь, царский стольный город: "Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!"

Еврей, когда он хочет расквитаться со своими обидчиками — людьми ли, городами ли, странами ли — не знает удержу ни в поношениях, ни в проклятиях: все, что ни оказывается под рукой в горячую минуту, идет в дело:

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

А к тому еще добавьте детали новых, сталинских будней: "Я на лестнице черной живу, и в висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок, И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных".

Одолев детские свои страхи, пустив в черепки глиняные кумиры юности, отрекшись от трети века жизни, от себя-соименника, куда податься поэту?

Как — куда? Да к себе, к настоящему, не сделанному по чужому подобью, а по подобью отцов и праотцов своих:

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу "селям" начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Что такое "селям", объяснять не надо: каждый знает, "селям", "шолом" — это "мир". Что такое "начальнику евреев", одни знают, другие не знают. Кто не знает, пусть заглянет вместе с нами в книги пророков Ездры и Неемии.

Из тех, кто вышел с ним из Вавилонского плена, в царствование царя Артаксеркса, он, книжник Ездра, которого царь персов, почитая за его мудрость и крепость духа, поставил начальником евреев, отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек и отдал им все серебро, и золото, и сосуды с тем, чтобы они передали это в руки начальствующим в хранилище при доме Господнем. По окончании процедуры передачи и по вознесении молитв начальствующие сказали Ездре: "Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их..."(9:1).

Евреи должны были покаяться и отделиться от иноплеменников. Дело было долгое, хлопотное, и Ездра сказал: "Пусть наши начальствующие заступят место всего общества..." (10:14).

Кроме забот о Храме, были у евреев заботы о Иерусалиме: надо было восстановить разрушенные стены. Среди тех, кто чинил стены, сообщает Неемия, были начальники округов и полуокругов Иерусалимского, Беф-Цурского, Кеильского и иных. Пока одни строили, другие, ибо вокруг были враги, держали копья, щиты, луки наготове. Но и те, что строили, одною рукою производили работу, а другою — держали копье.

Начальники евреев все жили в Иерусалиме, а прочие из народа — один из десяти по жребию.

Двадцать пять веков спустя блудный сын Осип Мандельштам, из краснозвездной Москвы, о полночь стоял над нею гром "Интернационала", пришел к начальнику евреев, чтобы сказать "мир тебе!" "за его малиновую ласку".

Надежда Мандельштам толкует: малиновая ласка — от Рембрандта, от его старика еврея, в малиновом кафтане, благословляющего отцовской любящей рукой своего блудного сына — несчастного, оборванного, покрытого язвами еврейского юношу. Где скитался юноша, из каких краев прибыл, от каких народов, не знаем. Да и в том ли суть, откуда, от каких народов: воротился блудный сын в отчий дом — в этом суть.

Лепил себя Ося с усердием, с младенческих лет, по чужому подобью, сжигал в себе, обращая в пепел, в прах ненавистное еврейство, больше того, разбросал уже, казалось, развеял пепел по ветру, ан, смотришь, как птица Феникс, единственная, сказано в Агаде, живая тварь без греха, возродилось оно к жизни и заголосило, горько, надменно, с торжеством, с болью, во все небо:

Я больше не ребенок.
Ты, могила,
Не смей учить горбатого — молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтоб губы
Потрескались, как розовая глина.

Сказано в веках мудрецами: "Горбатого могила исправит!" Сказано Соломоном, сыном Давидовым: "Кривое не может сделаться прямым..." Сказано Осипом Мандельштамом, внуком реб Вениамина: "Ты, могила, не смей учить горбатого — молчи!"

Но кто ж из пророков, кроме Моисея, который получил все из уст в уста от Единого, не опирался на пророков! Ездра пророк был поставлен начальником евреев, когда возвращались из Вавилонского плена. Про Ездру сказано в Сангедрине: "Ездра, не предупреди его Моисей, был достоин, чтобы через него была дана Тора народу Израильскому". Про Ездру говорил Спиноза: "...я могу подозревать, что, кроме Ездры, не было никого, кто мог бы написать эти книги". Книги, о которых идет речь, Моисеево Пятикнижие, Тора.

Так тому ли, спросим, удивляться, что Осип, внук раввинов, почувствовал, как и далекие его предки, после долгих лет скитаний по чужим Вавилонам, нужду стать, дабы очистить душу, дабы укрепить дух, под руку того, кто всегда был крепок духом, кто был поводырем своему народу, кто был, как отец, взыскателен, но был, как отец, и ласков — под руку начальника евреев!

Как некогда в Крыму — тогда еще в христианском и эллинском угаре, — Осип вспомнил Лию, которой никак не стать Еленой, ибо одна судьба ей, полюбить иудея и раствориться, исчезнуть в нем — "и Бог с тобой!", — так про начальника евреев, про малиновую его ласку он вспомнил в той точке земли, которая более всех, из достигнутых им, приближала его к земле отцов:

...я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.

Армения — "субботняя страна"? Нет, Армения не субботняя страна, хоть, случалось, во времена иудейской Хазарии, здесь стояли гарнизоны под началом евреев-офицеров. Армения за семьсот лет до Руси обратилась в Христову веру, над здешним народом с IV века стоял католикос, и по сей день глава армянской православной церкви.

Правда, армянские Багратиды, князья царской крови, утверждали, что они происходят из дома Давидова, и в доказательство ссылались на исчезнувшие хроники. Как поступают евреи с теми, кто не может найти своей родословной, сказано пророком Неемией: "Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства" (7:64).

Нет, Армения не была субботней страной, хоть прародитель Ной здесь спасался от потопа. Праведник — за свою праведность он и был избран Всевышним для продолжения человеческого рода — он, однако, не знал еще Субботы, ибо Суббота, через Тору, была дана евреям устами Моисея, хорошую тысячу лет после Потопа.

Нет, Армения не была субботней страной для хозяев ее, армян. Но не об армянах же речь — о еврее Осипе Мандельштаме речь. "Был у меня покровитель — нарком Мравьян-Муравьян, муравьиный нарком земли армянской, этой младшей сестры земли иудейской".

Вот оно: младшая сестра земли иудейской! Известно, младшая сестра может быть иной, нежели старшая сестра, веры. Но сестра есть сестра. И во владения ее, говорит еврей Мандельштам, "я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой".

Мужество, желтая — уже свой, уже родной цвет! — корзина белья, шуба и еврейский посох — это все имущество бездомного скитальца Мандельштама. Поэт взял все свое имущество в дорогу, ибо — халды-балды! — всякая дорога может оказаться последней дорогой.

Армения — субботняя страна? Нет, Мандельштам не заблуждался, он знал: армяне — это армяне, чужая раса. Он сам объяснял: "Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься. Жизненное наполнение армян, их грубая ласковость, их благородная трудовая кость, их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике и прекрасная фамильярность с миром реальных вещей — все это говорило мне: ты бодрствуешь, не бойся своего времени, не лукавь".

Осип Мандельштам не только отмечен был этой добродетелью — дружелюбием ко всякому иноплеменнику, — но сызмальства, как помним, и сам норовил стать иноплеменником по отношению к собственному племени. Однако сколько ни старался — точнее, тщился, — как было ему опрокинуть себя, как было ему настолько окунуться в чужую жизнь, чтобы на все сто перестать быть сторонним наблюдателем в России и перестать сравнивать.

О, московская Сухаревка въелась ему в душу. Книгочей, бурсак, ешиботник по натуре, он блаженно закатывал очеса, причмокивая языком: "Какие книги! Какие заглавия: "Глаза карие хорошие". "Талмут и еврей"...

И тут же, уподобив базар чумному месту, где всегда пахнет пожаром, несчастьем, великим бедствием, он вновь, не в силах отделаться от жуткого, апокалиптического, видения, возвращается к Сухаревке: "Но русские базары, как Сухаревка, особенно

жестоки и печальны в своем свирепом многолюдстве. Русского человека тянет на базар не только купить и продать, а чтобы вываляться в народе, дать работу локтям, поневоле отдыхающим в городе, подставить спину под веник брани, божбы и матерщины..."

С синайской, с библейской своей высоты Осип определяет природу этого базара, размером чуть не в полтора континента — от средины Европы до самых краев Азии: "Такие базары, как Сухаревка, возможны только на материке — на самой сухой земле, как Пекин или Москва; только на сухой срединной земле, которую привыкли топтать ногами, возможен этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю".

Ах, Боже праведный, ему, иудею Осипу Мандельштаму, исполненному, по заветам отцов, — мипнэ даркэ-шалом! — дружелюбия ко в с е м, более всего не хватает — чего б вы думали? — приветливости. Рядом с ним жили люди, суровые семьи обывателей: "Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь".

Но в Армении, субботней стране, под небом Армении, младшей сестры земли иудейской, отпустили его страхи, врожденное дружелюбие обрело себя в радости произносить запретное. Не запретное — запрещенное: "Я испытал радость произносить звуки, запрещенные для русских уст, тайные, отверженные и, может, даже, — на какой-то глубине постыдные.

...Я в себе выработал шестое — "араратское" — чувство: чувство притяжения горой".

"Выработал" — в данном случае не точно. Уместнее здесь другое слово: "Восстановил", — ибо чувства притяжения горой дано было Осе со времен Синая.

Армения, субботняя страна, младшая сестра земли иудейской, твой день вернул отрока Осипа, сорока двух лет, внука реб Вениамина — ах, дожить бы деду до этих дней! — в жилище праотца Иакова, к сундукам его, где держал патриарх свои одежды: "И сейчас, как вспомню, екает сердце. Я в нем запутался, как в длинной рубашке, вынутой из сундуков праотца Иакова".

Осип Мандельштам, иудей, ведомый, как заповедано ему, дружелюбием, возненавидел лютой ненавистью врага Армении, Ассирию, она же в веках враг Израиля, и твоя, Армения, боль — его боль: "Тело Аршака не умыто и борода его одичала. Ногти царя сломаны... Семя Аршака зачахло в мошонке, и голос его жидок, как блеяние овцы... Ассириец держит мое сердце".

В тридцатые годы — как и поднесь — кто был для Армении ассириец, который держал ее сердце? Не тот же ли, который держал сердце иудея Осипа Мандельштама:

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет — читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву...

Но как ему, Осипу Мандельштаму, петербуржцу с душой касриловского мальчика в картузике, который в заброшенной под диван еврейской азбуке был главный герой, посыльный, гонец всех добрых дел, как было ему жить с непреходящей ненавистью, с неизбывной, неутоленной злобой? Нет, это было не для него — непосильно бремя ненависти для того, кому, чтобы жить, нужны, как воздух, дружелюбие, приветливость, улыбка:

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
И встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: гуси-лебеди, домой!

Еврейские мамы в Одессе, когда чада их, на Соборной площади, в Городском саду, заигравшись, думали, что такое счастье им навсегда, в самый разгар хватали детей за руки и говорили: "Айда, гусей-лебедей, домой!"

Но где же был его, Осин, дом? Куда лететь гусям-лебедям? Где, в какой стороне, "павлиний крик" и "рокот фортепьянный" — две родимые, кровные звуковые гаммы, соединяющие царя-гусляра и правнука его, лирника Осипа?

Мог ли в буддийской, краснозвездной Москве, иссушавшей своими большевистскими регламентациями — куда там до нее буддийским уставам — оставаться Ося самим собою, петь на свой вкус и лад! На ее ли вратах мог найти он переданный ему с кровью завет отцов: "Всякий, кому угодно, да придет и ест"!

В юные годы, когда больше от него, чем от царя-батюшки, зависело, оставаться ему евреем или нет, он корежил, коверкал, "мучил себя по чужому подобью", как же мог он оставаться самим собою теперь — в буддийской, в большевистской Москве! Что, собственно, в то время, "до без царя", заставило его по всей форме, через ритуал в чужом храме, подогнать себя под чужое подобье? Известно что: трехпроцентная норма.

Иосиф Трумпельдор, герой русско-японской войны, полный георгиевский кавалер, когда сама царица предложила ему отстать от иудина племени и пристать к главному племени, отчего была бы ему прямая выгода по всем линиям, в частности по офицерской, сказал "мерси боку" и остался со своим племенем.

Осипу Мандельштаму цари ничего не предлагали, через законы империи было ему дано знать: Ося, не надо будет тебе ехать по диплом за рубеж, сможешь получить здесь — в Санкт-Петербурге.

Что такое диплом? Пара пустяков. Но есть еврей и еврей: один — самой царице говорит "мерси боку" и отказывается, другой, напротив, сам, хотя никто его не зовет, лезет со своим жидовским "мехси боку" — как объясняли в свое время в Одессе: "гувернантки акцент испохтили".

Чего можно ожидать от такого еврея?

Логика говорит: ничего хорошего нельзя от него ожидать. Но что такое логика — не представление ли о порядке, которое человек хочет навязать миру, где он лишь гость, коего приводят не спросясь и удаляют, тоже не спросясь:

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне соленой пеной
По губам!

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет —
Нищета.

Ой ли, так ли, — дуй ли, вей ли —
Все равно —
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

Я скажу тебе с последней
Прямотой —
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Где написал еврей эти стихи? В зоологическом музее написал — самое подходящее место для еврея, состоявшего некогда в эллинах и христианах, сочинять стихи о мире, где все трын-трава.

Но какое ни подходящее место для стихотворства зоологический музей, как ни располагает он к возвышенным думам, к мыслям о вечности, надобно еврею не только по удачному поводу — иначе получается вроде бы просто случай, а не веление души, — но с толком, с расстановкой, причем не в пестрой какой-нибудь, с бору по сосенке, компании, а среди своих, высказаться, чтобы поняли тебя и почувствовали, как сам ты понимаешь и чувствуешь:

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант.
Но Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
....

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
А там — вороньей шубою
На вешалке висеть.

Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно...
Брось, Александр Скерцевич,
Чего там, все равно...

Что заверчено все давно, это так. Заверчено Господом, при, как выражаются в постановочных афишах, непосредственном участии А. Асмодея — он же Люцифер, он же Падший Ангел, он же Сатана и пр. и пр.

Но что из этого следует? Я имею в виду: что из этого следует для еврея? А что же еще может следовать, кроме одного: надо жить.

А нынче, на пятом на десятке, хоть не стало легче, но стало все по-иному — перестал Ося мучить себя по чужому подобью: "Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем! ...Не волноваться. Нетерпенье — роскошь, Я постепенно скорость разовью — Холодным шагом выйдем на дорожку — Я сохранил дистанцию мою".

Так: нетерпенье — роскошь. Только глупец нетерпелив, ибо кто же, если не царь он, может позволить себе роскошь нетерпенья! Главное — сохранить свою дистанцию, ибо своя дистанция — это и есть свое Я, единственное, неповторимое, данное от рожденья:

Еще далеко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
— Такой, сякой! — Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь...

Но когда же он, Ося, Осип, Осип Емельич, Осип Эмиль-Хацнелев, изменялся в глубине? Да никогда — в глубине — не изменялся. Никогда и нигде, ибо не дана была ему власть — не только ему, никому не дана — изменяться в глубине. И вот, хоть сорок лет только тем и занимался, что выговаривался, а все никак не удавалось ему это — выговориться:

И до чего хочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду...

Чем больше жажда выговориться, тем сильнее страх: "Нет, не спрятаться мне от великой муры За извозчичью спину-Москву... Ты — как хочешь, а я не рискну, У кого под перчаткой не хватит тепла, Чтоб объехать всю курву-Москву".

Но что ж страх: раз есть страх, раз страшишься — значит жив. Мертвые — они бесстрашны, мертвые не имут страха: мертвому — что терять!

А с другой стороны: как жить человеку в неизбывном, в непреходящем, в вечном страхе? Ему-то, Осипу, лично, что терять:

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда.
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской...

Нищий, капцан, голодранец — у тебя и отобрать нечего: ключ от чужой квартиры, воздух, которым дышишь, солнце над головой, звезды в полночном небе, пара штанов — единственная пара, — под которыми нет подштанников! Впрочем, имеется на хозяйстве еще пара калош, с декабря месяца, с двадцать пятого года: "Надинька, дорогая! ...Купил калоши". Калоши можно отнять. Но коли отнимут, так уж тогда полное освобождение: больше отнимать нечего.

Цадик — человек, у которого нечего отнять. Цадик у евреев — благочестивый, праведный, святой. Кто сказал, что святой без греха? Кто сказал, что праведнику не в чем каяться перед Всевышним? Шестьсот тринадцать заповедей у евреев, шестьсот тринадцатая — на тот случай, что человек без греха в предыдущих шестистах двенадцати и будто бы, по праведности, по святости его, не о чем просить ему Господа. Уже одно это — что будто бы не в чем каяться, не о чем просить Всеведущего — великий грех.

Кинувшись на плечи Осипу Мандельштаму, век-волкодав отнял у него все, чем жив человек, чем дорожит. Человек, пока у него нет сервиза, сказал Гейне, свободен; человек, когда есть у него сервиз, уже не свободен.

У поэта Мандельштама не только сервиза — своего угла не было. Старик Эмиль Хацнель сокрушался: надо было в Риге подыскать сыну настоящую жену и настоящую еврейку — все было бы по-другому. Надежда Мандельштам во "Второй книге" негодует: "Я никак не могла понять, почему я не настоящая еврейка, но дед не умел этого объяснить. Кроме того, дед считал, что брак со мной мезальянс..."

О, святая простота: крещенная в православную веру, Надя Хазина, родом из города Киева, — и не могла понять, почему курляндский правоверный еврей, сын реб Вениамина, не принимал ее за настоящую еврейку! Больше того, не только не принимал, но и объяснить этого не мог. Как выражался бабелевский Грищук, смеха мне, смеха мне: надо же такое придумать — чтобы жид в ермолке слонялся по православному кладбищу, заглядывая под кресты в поисках своих чистопородных родственничков!

Воистину, есть ли большее на свете лицемерие, чем лицемерие святой простоты!

Не будем гадать, повезло Осипу с женой или не повезло. Ей-то, Надежде Яковлевне самой, это мы знаем из ее слов Элизабет де Мони, попался дурак. Дурак в мужьях, сами понимаете, об этом ли мечтает женщина.

Но, Боже мой, для кого же новость, что праведных, цадиков, прежде чем одарить их признанием, за глаза — а случалось, и в глаза — честили поносным словом. Что говорить о евреях, — а у христиан сколько лет, сколько десятков, сколько сотен,

порою, лет проходило, пока опоминались: не блажной — блаженный, праведный, святой был человек!

Валентин Катаев, когда привез из Америки новый автомобиль и тогдашнее чудо, электрохолодильник, говорил блажному Осипу: "Я знаю, чего вам не хватает — принудительного местожительства". И еще, даром что шестью годами моложе был, выговаривал, по извечному праву преуспеяния, неудачнику Осипу: "Вы умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего! Нет, у писателя должно быть двенадцать томов — с золотыми обрезами!.."

Смеха мне, смеха мне!

О чем мечтал цадик Осип? О двенадцати томах с золотым обрезом? Вот о чем он — Щелкунчик, дружок, дурак! — мечтал:

Мы с тобой на кухне посидим.
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож, да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Бежать! Бежать опрометью, сломя голову, без оглядки:

Помоги, Господь, эту ночь прожить:
Я за жизнь боюсь — за Твою рабу —
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

Это писано в тридцать первом году: к тому времени Петербург уже семь лет Ленинградом числился. В строку здесь запросто было поставить: "В Ленинграде жить — словно спать в гробу". Но что Ленинград: Ленинград — нувориш, без прошлого, без истории. А Петербург — это Россия: вся — и до Октября, и после. И его, Осипа Мандельштама, колыбель-гроб: баюшки-баю!

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать —
А я, как дурак, на гребенке
Обязан кому-то играть...

Кому-то? Отчего же "кому-то", коли точно известно — кому:

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю,
И грозное баюшки-баю
Кулацкому паю пою.

Выгоняли Русь, со всеми ее народцами-инородцами, из дому, из хаты, из сакли, из юрты, сажали Русь в телятники — и айда, в края, куда Макар телят не гонял! Допрежь словом метким пробавлялись, а ноне, мужичок, своим глазом погляди, каковы они, края эти. Да и гляди, пошевеливайся, пока глядится, пока в студень не обратилась синь-вода в глазнице.

Оборотилась Русь в сплошную, на двадцать миллионов квадратных километров — две Европы! — ябеду: сын — на отца, брат — на брата, жена — на мужа, други — на другов. Палачи-щебетуны присели на школьную скамейку: буржуя-интеллигентики, знанию хочем, образованию хочем, так хочем, аж в маузере, в браунинге свербение стоит!

"Родная, — писал Ося своей Наде в тридцатом году, — мне тяжело, а сейчас не найду слов рассказать. Запутали меня, как в тюрьме держат, свету нет. Все хочу ложь смахнуть — и не могу, все хочу грязь отмыть — и нельзя... Не верю я им, хоть ласковые... Зачем я им? Опять я игрушка. Опять не при чем. Последний вызов к какому-то доценту: рассказать всю свою биографию. Вопрос: не работал ли в белых газетах? Что делал в Феодосии? Не было связи с Освагом?" А Осваг — это Осведомительное агентство, ведавшее агитацией и пропагандой в белой армии.

Хорошенький вопросик — от одного такого вопроса можно было, о те года, посидеть в одну ночь!

Воротясь из Армении, два года, даже больше, не имел поэт Мандельштам ни кола ни двора. Надежда Яковлевна писала самому Молотову-Скрябину, тогдашнему председателю Совнаркома СССР, второму, после Сталина, человеку в России: "Мандельштам оказался беспризорным во всесоюзном масштабе".

В ноябре тридцать третьего года дали, наконец, квартиру: всесоюзный беспризорный, бродяга Осип Мандельштам стал оседлым человеком.

И что же? А то, что для него, всесоюзного беспризорного, бродяги, тут же обнаружилось, что под рубиновыми звездами оседлый и оседланный — одно и то же: "Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель Достоин такого рожна!"

Думаете, в квартире этой были еще другие ценности, кроме четырех ее стен и крыши? Не было, ничего не было: не только за чем — подоконник был за стол — сидеть не на чем было, ни единого стула! "Квартира тиха, как бумага — Пустая без всяких затей — И слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей". Ну, ежели говорить о звуках, был еще, конечно, женин голос: он ей "идиотку сунет", она ему — "дурака".

В тридцатом году, по дороге в Армению, в Тифлисе пришла Осипу на ум мысль, что жизнь, наверное, могла сложиться и по-другому. Но какой же был бы он еврей, какой бинокль, "дорогой подарок царь-Давида", был бы у Оси к глазам приставлен, если бы тут же сам себя не осадил он: "Куда как страшно нам с тобой, Товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, Щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, Заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак".

Влекомый в юности чужеплеменными идолами, готовый распластаться ниц в любом капище, испросить приюта в любой кумирне, в ноябре тридцать третьего года Осип Мандельштам, побуждаемый тысячелетней ненавистью ко всяким кумирам, заповеданной ему от отцов, восстал на самого главного, самого страшного идола века:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, —
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина;
И широкая грудь осетина.

Илья Эренбург держался мнения, что это не стихи, а так, стишки, то есть нечто, чего лучше бы поэту не писать: стишки — это стишки.

Борис Пастернак не говорил, что это стишки. Борис Пастернак говорил: "Как мог он написать эти стихи — ведь он еврей!" Надежда Мандельштам не могла понять: что в этих стихах противопоказано еврею? Пастернак не дал объяснения, а только в ужасе отшатнулся.

Что тут сказать: можно только подивиться наивности Надежды Яковлевны, которая, сама будучи православной веры, могла бы, кажись, понять Бориса Леонидовича, тоже выкреста. Ибо, хоть и прошедший чистку через купель и осененный крестным знамением, в тайниках своей иудейской плоти Борис Леонидыч трепетал за свою жизнь, как трепетал на Руси всякий еврей: черт его знает, чего может ударить в голову православному человеку, но чего бы ни ударило — под Сталиным погрому не быть! А к тому и другое: при каком царе на Руси были евреям так открыты все двери? А к тому и третье: кто с января того же, тридцать третьего, года забрал власть над Германией? Гитлер забрал.

Вот и выпал от Бориса Леонидыча вопрос Осипу Эмильичу: "Как мог он написать эти стихи — ведь он еврей!"

Но что же было Осипу отвечать на это: ведь ответ был уже в самих стихах. Стихи, бывшие до того духом над безвидною землею, стали звуком, стали эхом — и покатилось эхо по Руси, и ударилось о кремлевские стены, и прошмыгнуло через Спасские ворота, и достигло ушей главного идола — кремлевского горца!

Кто на Руси, кроме еврея Мандельштама, который, как последний трус, бежал в Александрове, на Суздальской земле, от потешного бычка-одногодка, отважился сочинить да пустить в люди такой стих? Никого не назвать, ибо никого и не было.

Тут, впрочем, и "отважился" сказано не точно: не отвага двигала Осипом, внуком реб Вениамина, тысячелетний, со времен Синая, категорический императив — не сотвори себе кумира!

Не секрет: отступали и еще как отступали евреи от синайской заповеди, предавались тельцу, поклонялись идолу. Но приходили пророки, повергали в трепет царей и народы, и набирал соки, полнился силой отцовский завет, Моисеев императив, высшее достижение человеческого духа: не сотвори себе кумира!

Пророческий дух, пророческий слог всю жизнь томил Осипа — обретался ли он в методистах, в эллинах, в католиках, в православных, в афонских ли чернецах-еретиках. Голова его всегда была запрокинута в небо, суздальские крестьянские дети, по невинности своей, вопрошали дяденьку, поп он, что ли, али генерал, что так высоко, над людьми, задирает голову Все мемуаристы, за исключением, поди, одной Надежды Яковлевны, сходятся на том, что вот эта, с заносом к небу, посадка головы Осипа Эмильевича — главная, пожалуй, особенность его осанки, его видимого физического облика.

А это была не физическая — это была духовная его осанка. В "Слове и культуре", которую христиане-литераторы объявили величайшей Мандельштамовой апологией христианства, Осип уже не в артистическом порыве, а будто сам Исайя, в годину, когда рушится Израиль, рушится мир, возвещает человечеству: "Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился".

Как признанный пастырь, как принятый народом в Учители, Осип Мандельштам, норовя оправдать Октябрьский крен истории, не колеблясь цитирует в собственных сочинениях, "Слово и культура", самого себя:

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Но, помилуйте, какое же здесь самоцитирование! Ведь так, чего доброго, и пророка Исайю можно понести за грех самоцитатничества: "И сказал я: на долго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет"(6:11).

Воззвал Исайя в роковое для Иерусалима время, когда царь Ассирийский занес бритву над его соотечественниками. И в роковое же — на четвертом году революции — время воззвал, без малого три тысячи лет спустя, потомок Исайи, Осип, сын Эмиль-Хацнеля: "Люди голодны. Еще голоднее государство. Но есть нечто более голодное: время. Время хочет пожрать государство... Нет ничего более голодного, чем современное государство, а голодное государство страшнее голодного человека". А спасение где: на земле? Нет, на земле нет спасения, ибо "причина революции — голод в междупланетных пространствах. Нужно рассыпать пшеницу по эфиру".

Еврей волею судеб, с талмудистскою солью в крови, Мандельштам первый среди поэтов увидел, как в детской люльке "большая вселенная... у маленькой вечности спит". И он же первый, бдя о слове, воззвал: рассыпьте пшеницу по эфиру, ибо причина революции — голод в междупланетных пространствах!

Век-волкодав бросался Осе на горло, зубы его щелкали у Оси под челюстью, тело Осино трепетало в безумном, еврейском страхе, как в девятнадцатом году, когда вместе с Эренбургом пережили погром в Киеве — почитайте "Багровую книгу": в Белой Церкви поджаривали евреев на огне, в Проскурове 1600 евреев в четыре часа порезали саблями! — но строптивый дух жестоковыйных предков в один мах взнуздывал в Осе труса и обращал его маленькое касриловское сердце в грозное сердце иудейского льва, того самого, который в синагогах поддерживает своими лапами свитки Святого Письма.

Кто, как не Ося, вырвал из рук чекистского палача Блюмкина списки обреченных смерти, вырвал и изодрал в клочки! Кто, как не Ося, дал пощечину Алексею Толстому, который помчался жаловаться самому буревестнику, Максиму Горькому, а тот сказал: "Мы ему покажем, как бить русских писателей!"

Я далек от мысли, как ни настаивает на ней Надежда Мандельштам, что горьковская реплика о русских писателях, которых бьют Мандельштамы, — юдофобская реплика. Даже то обстоятельство, что благородный Николай Иванович Бухарин "почти стонал", когда передали ему про угрозу Толстого — по советской табели о рангах, писателя номер два — выслать Мандельштама из Москвы и закрыть для него все издательства, а к тому присовокупили и угрозу самого буревестника, начальника всей советской литературы, не дает достаточных оснований для такого толкования.

Но разве дело здесь в том, юдофобская или не юдофобская была реплика, хотя сам Алешка, как величал Толстого Иван Бунин, не оченно жаловал жидов. Разве в истории с чекистскими списками на расстрел не срезались два еврея — палач Блюмкин и поэт Мандельштам!

Нет, дело здесь в том, что маленький еврей — по будничному, по житейскому счету, не только не храбрец, а даже наоборот — вдруг прыгнул выше своей головы, опрокинув ходячую мудрость, будто это невозможно, и восстал один на один против силы, против власти, не знающей ни пощады, ни забвения.

Конечно, среди толкователей могут найтись охотники усмотреть как в одной, так и в другой истории не столько храбрость, сколько отчаяние, не столько отвагу, сколько безотчетный импульс неврастеника. По чести говоря, эти толкователи имеют резон, и не малый. Более того, с точки зрения неврологии, оба Осины действия — одно из которых едва не стоило ему жизни от пули буйного Блюмкина, а другое, как полагали поначалу Надежда Мандельштам и Анна Ахматова, было причиной его первого ареста — только так и могут быть истолкованы: акт неврастеника.

Но присоедините к этим двум и третье действие — стихи о кремлевском горце, по начальной редакции, "душегубе и мужикоборце" — в котором не было ничего от бесконтрольного импульса неврастеника, а напротив, ибо стихи не пишутся в секунду, в момент, было все обдумано, взвешено, и тогда по-иному увидятся и первые два действия, произведенные евреем, который перестал мучить себя по чужому подобью, а позволил себе хоть ненадолго быть вполне самим собою, то есть потомком народа овцеводов, патриархов и царей, каким он и числился по метрической выписи.

С младенческих лет влекли его огни рождественской елки, позолота иконостасов слепила ему глаза, царские выезды сокрушали его детское сердце, великолепные боги, через служителей своих в стихарях, нашептывали ему елейными голосами слова́ соблазна от духа, европеянки нежные нашептывали слова соблазна от плоти — и он, лелеявший в себе ненависть к родному племени, возомнил, что через дюжину своих виршей, через купель, в которую окунет его пастор Розен, причастится другого, не презренного, как собственное его, племени, других богов.

Но разве один он, Осип Мандельштам, так думал — а другие, которые причастили его и будто бы завлекли в свое стадо, разве не так, разве по-иному думали!

Никто не спорит: право на заблуждение так же священно, как право на знание. Но кто не хочет заблуждаться, кто хочет знать, пусть вспомнит Михаила Гершензона, такого знатока и ценителя русской словесности, каких во всей российской литературе, за всю ее историю, раз-два да и обчелся, пусть вспомнит его слова о иудином племени, от которого он и сам порывался отстать: "Еврейское начало неистребимо, нерастворимо никакими реактивами. Еврейский народ может без остатка распылиться в мире... но дух еврейства от этого только окрепнет. Венский фельетонист-еврей, биржевой делец в Петербурге, еврей купец, актер, профессор, что у них общего с еврейством, особенно в третьем или четвертом колене отщепенства? Кажется, они до мозга костей пропитаны космополитическим духом или, в лучшем случае, духом местной культуры: в то же верят, в то же не верят и то же любят, как другие. Но утешьтесь: они любят то же, да не так. Они берут на подержание чужие верования, идеи, вкусы... Они не обманщики, нет. Напротив, нельзя быть искреннее и усерднее в прозелитизме. Их действительно пожирает страстное желание уверовать в чужих богов... Но вера — как дитя: кровно любит ее только та душа, которая родила ее из недр своих в муках; для всякой другой души она — ценность, то есть внешний предмет, неизбежно подлежащий оценке. Именно так живут евреи, духовно отпавшие от еврейства..." Эти слова можно найти в "Судьбах еврейского народа", сочинения Михаила Гершензона, апологета и практика прозелитизма, который сам, как сказано, прошел великую школу искуса, а пройдя, услышал властное "нет!" и развел руками, точь-в-точь, как, бывало, в трудные минуты разводил руками его папа Осип Гершензон, ортодоксальный еврей из Бессарабии, из самого Кишинева.

Что делается в душе у еврея-мешумеда, это по-настоящему знает только он сам, мешумед. Возьмите, к примеру, новоиспеченного кардинала Аарона Жан-Мари Лустигера, архиепископа Парижского, родом из польских евреев, такого умника и мудреца, что за советом приходят к нему президенты и канцлеры. Разве до посвящения в сан кардинала, когда, казалось, дальше в католической церкви дороги ему нет, не накупил он кассет и пособий по ивриту, помышляя о переселении в Израиль, где смог бы слиться с тамошним племенем? Помышлял, и еще как помышлял, и не делал из этого секрета. Что ж удивляться, что некоторым коллегам его по кардинальской курии не пришлось по душе решение папы возвести Аарона Лустигера в кардиналы. К этому надо добавить еще то обстоятельство, что, в отличие от прежних католических иерархов из мешумедов, Жан-Мари не только сохранил свое, от отцов, имя Аарон в паспорте, но и постоянно, как будто его гложет, как будто иудейский черт толкает его под ребро, напоминает об этом публике.

У всякого на уме по этому случаю, конечно, простейший довод, что сам Бог-Сын был из евреев, что апостолы его и великий Савл-Павел тоже были все из иудеев. Более того, очень даже может быть, что Савл-Павел, фактический основатель, если иметь в виду церковь как организацию христианства, и создал новую церковь с той целью, чтобы отвести от иудаизма, куда хлынули на рубеже диктаторского и императорского Рима миллионы иноплеменников, угрозу пагубного, гибельного растворения. Не исключено, что и сам ватиканский ключарь Шимон-Петр, закончивший жизнь в петле, вниз головой, левантийский еврей, по части образованности намного уступавший карфагенянину Савлу-Павлу, тоже движим был этой заботой о синагоге в роковые дни, когда над ней нависла смертельная угроза необратимого перерождения в миллионном потоке прозелитов, которые, сколько бы ни обрезались, сколько бы ни блюли кошер и ни клялись на людях в преданности Единому, в недрах своих все равно оставались бы гоями, идолопоклонниками.

Словом, как ни крути, как ни верти, а от себя не уйти. Антон Карташев, величавший Мандельштама молодым левитом, в свое время министр вероисповеданий, поставленный демократической Февральской революцией, а позднее, в эмиграции, профессор Парижской Духовной академии, держался того же мнения, которое, со свойственной ему прямотой, изложил в книге "Воссоздание Св. Руси": "Мистична жизнь и отдельного человека, и племенных народных коллективов. Она по тончайшим законам наследственности носит в своих недрах всю органическую полноту опыта, переживаний, добродетелей и пороков своих предков, своей истории. Так слагается и действительно существует коллективная душа народов с их особыми влечениями, призваниями и духовной судьбой. Не подчиняясь террору псевдонаучных выделывателей "общественного мнения", мы ясно видим и утверждаем это органическое, из тысячелетних глубин древности идущее, племенное, этническое начало, перерабатываемое в духовном опыте народов в высшее, идеальное национальное призвание".

А теперь вернемся к Осипу Мандельштаму, который в молодости и даже позднее, в зрелые годы, буйно, как это умеют евреи, отряхался от иудейских своих валентностей, кои сами иудеи именуют проще: еврейские штучки-дрючки.

Для него, для Оси, самой фатальной, самой роковой изо всех этих штучек-дрючек оказалась одна: полная неспособность приладиться к диктаторскому, к палаческому режиму товарища Сталина.

Кто только не набивался Осе в учителя, в наставники! И поносили, и порицали, и журили его за то, что не сыскал в себе сил притереться ко времени, как притирались тысячи других, не мог сам заработать на кусок хлеба и докатился до того, что в буквальном смысле слова стал побирухой, нищим! Как же так: где прославленный — точнее, ославленный — еврейский талант просунуть хвост, где голова не лезет, где вековое умение угодить, найти себе хозяина, покровителя, мецената, вокруг которого еврей мог бы крутиться с пользой для обоих: и для него, и для себя!

Постойте: а может, дело вовсе не в полной, поразительной для еврея, Осиной бездарности по части приспособления и угодливости, которую этнографы именуют сервилизмом, может, над ним, над императивом сервилизма стоял другой — императив иудейской гордыни?

Но как же сказать, что всему виной он, императив гордыни, если Ося и сам, и через жену свою Надю все свои советские годы, то есть чуть не полжизни, искал себе благодетелей, которые, пусть летами были ему ровней или годились даже в младшие братья, выступали бы для Оси на ролях отцов: и армянские наркомы, и Николай Иванович Бухарин, и секретарь ВЦИК Авель Енукидзе, и сталинский опричник, глава ЦКК М. Шкирятов — не от Малюты ли Скуратова? — и поэт Демьян Бедный, и литературный начальник Александр Воронский, и одесский умелец Валя Катаев, и эстет Ромэн Роллан, которому была женой княгиня Майя Кудашева, некогда знавшаяся с Осей. Ах, вздыхал в своей воронежской ссылке Ося, когда в СССР приехал погостить Ромэн Роллан: "Майя бегает по Москве. Наверное, ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить со Сталиным, чтобы он меня отпустил..."

Боже мой, да разве же это слова мужа — это же причитания, грезы мальчика, который всю жизнь рос без папы!

Надежда Мандельштам писала в "Воспоминаниях": "Всеми просветами в своей жизни О. М. обязан Бухарину". И книга стихов двадцать восьмого года вышла благодаря ему, Бухарину, и Кирову.

Конечно, Осип Мандельштам среди писателей-поэтов был не один такой: все искали покровителей, все, как выражалась жена Ежова, "к кому-нибудь ходят". К самим Ежовым ходили, например, Бабель, Пильняк. Это ноне, из далека в полсотни лет, кажется зазорным, загадочным, как можно было ходить в гости к Николай Иванычу Ежову. А о те года была в этом немалая честь. Не только честь, но и гарантия и, говоря по-теперешнему, приличный навар.

К товарищу Сталину мог ходить только один: Максим Горький. Но стоило товарищу Сталину звякнуть по телефону Борису Леонидовичу Пастернаку, как тут же разнеслось по всем градам и весям: Сталин звонил Пастернаку! И по сей день, почитай, уже полвека, тренькает этот телефон в историях русской литературы.

Каким Августам, каким Вергилиям, Овидиям, каким Людовикам, Мольерам снилось такое!

Но в том-то и дело, что можно ходить и ходить: один — чего-нибудь да выходит, а другой — с чем пришел, с тем и уйдет. И хорошо еще коли так, без новых цорес.

Осип как раз был этим другим: сначала, в первые годы советской власти, еще, бывало, чего-нибудь унесет в сидоре своем — то путевочку в санаторий, то командировку к гипербореям — а позднее ничего уже, кроме свежих цорес, в сидоре его и не водилось.

Выше было про Осю сказано: цадик. Так что, был он цадик или не был? Да, был. Но разве у цадика не случаются минуты слабости, тем более у цадика-поэта? Назовите хоть одного поэта — я сразу сдаюсь: не знаю — с тех пор, как люди стали сочинять стихи, у которого не случались бы такие минуты слабости!

Разве это кто-нибудь другой, разве не сам про себя сочинил Ося:

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови:

На баюшки-баю похожи,
И баю борьбу объяви.

И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

А это, хоть посвящено памяти Андрея Белого, разве не про себя писал Ося:

Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Бесконечно прямиться — это возможно только в идеале. Бесконечно прямиться — это никому не дано при жизни. Но, коли хочешь жить — "Я должен жить, хотя я дважды умер" — учись прямиться, готовь себя к последней прямизне, которая, пока ты еще здесь, на этом свете, дана с полнотой лишь в программе партии, в генеральной линии ВКП/б/.

И цадик Осип наказывал себе "с последней прямотой":

Я должен жить, дыша и большевея...

Что нельзя жить не дыша, это известно каждому. И вот так же, как необходимо для жизни дышать, так же необходимо — большеветь.

Что-то такое непонятное — какой-то "проклятый шов, нелепая затея" — наложилось о былые дни на Осину жизнь. Но, хотя мальцом еще Ося забросил Моисееву рвань под диван, разве не усвоил он мудрость праотцов: что дана человеку свободная воля, и от него самого, от человека, зависит, как распорядиться этой волей.

И Ося в благословенные майские-июньские дни тридцать пятого года, в воронежской ссылке — у всякого поэта Болдинская пора по-своему — сочинил "Стансы", где сам объяснил себе, в чем должна состоять его свободная воля:

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу и люди хороши.

Люблю шинель красноармейской складки,
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покрой...

Думаете, так, за зря, отправили Осю в Воронеж, думаете, кремлевский горец, наказавший изолировать его, "но сохранить", вконец доломал Осину жизнь? Ничего подобного. Во-первых, не было никакого личного наказа, а была воля страны: "Моя страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла, Но возмужавшего меня, как очевидца, Заметила — и вдруг, как чечевица, Адмиралтейским лучиком зажгла". А во-вторых, как видите, не только не покарали Осю, не только не изолировали его, но, напротив, выделили из толпы, особо отметили и зажгли к новой жизни.

И еще раз, высоким горловым голосом, в тех же "Стансах", Ося отдает сам себе приказ: "Я должен жить, дыша и большевея, Работать речь, не слушаясь, сам-друг..." А под конец, подбивая итог, он с энтузиазмом докладывает партии, народу, стране, что в ссылке своей, в Чердыни да Воронеже, не только не понес убытку, но, напротив, вышел даже с прямой прибылью: "И не ограблен я и не надломлен, Но только что всего переогромлен..."

И до такой степени Ося почувствовал себя своим среди своих, что "И хотелось бы эту безумную гладь В долгополой шинели — беречь, охранять". Кто бывал на площади Дзержинского в Москве, тому не надо объяснять, что такое долгополая эта шинель — любимый наряд железного Феликса, отлитого ныне в бронзе.

Смиренно, но со страстью и ревностью послушника, Ося предался весь, с головы до пят, партийному настоятелю:

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать —
Я был больным и стал тщедушным.

Так пробуй выдуманный метод,
Напропалую, напрямик,
Я — беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.

Принявши обет послушания, Осип не только в себе, в тщедушном своем теле, учуял большевика, но и всю страну, со всеми ее болями, дабы обеспечить ей нужное лечение, почел за высшее благо для этой страны — передать ее на полное попечение ВКП/б/:

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный.

Пластами боли поднят большевик —
Единый, продолжающий, бесспорный,
Упорствующий, дышащий в стене.
Привет тебе, скрепитель дальнозоркий
Трудящихся. Твой угольный, твой горький
Могучий мозг, гори, гори стране.

Но, Боже мой, разве для того рождается на свет еврей, чтобы приказывать своему сердцу "люби!", когда на самом деле оно ненавидит! Разве для того четыре тысячи лет пестовали отцы веру в Единого, разве для того заклинали — Не сотвори себе кумира! — чтобы сыновья поклонились кремлевскому фетишу, в миллионах гипсовых идолов размноженному по всей великой, по необъятной Руси!

Ай, нет, не для того:

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди;
Если б лишили меня всего в мире —
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет,
И что народ, как судия, судит;
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б, —
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен...
....
И глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земли очи,
И промелькнет пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой — Ленин,
Но на земле, что избежит тленья,
Будет губить разум и жизнь — Сталин.

Это писано в ссылке, где боролся Ося "за воздух прожиточный", где заговаривал "сознанье свое... полуобморочным бытием", где, безумея от боли, от нескончаемой муки, кричал немым криком: "Свою голову ем под огнем!"

Не существуют испытания сами по себе, не существуют страдания сами по себе — существуют испытания и страдания каждого отдельного существа, нареченного человеческим именем, наделенного душой и телом, его единственного, его неповторимого Я: что одному щекотка — то другому конвульсия, что одному смех — то другому смерть.

Ося внушал себе: "Пою, когда гортань сыра, душа суха, И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье". Но когда же не хитрило его сознание, если тут же открывалось, что шепчет Ося "обескровленным ртом", что "столетья окружают меня огнем", что даже ребро у Оси — и то горящее, не как у других людей. И помыслы, само собою, тоже не как у других людей: еврей Эйнштейн увидел, как сплющивается время. Еврей Мандельштам возжелал "услышать ось земную"!

И вдруг, как в кино, где не только что части перепутал механик, а все кадры смешал без толку, без порядка, Ося выкликал:

И к нему — в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел.

Господи, где взять силы, чтоб устоять! "Хорошо умирает пехота" — не с ней ли стоять, чтоб, умирая, устоять! Это из "Стихов о неизвестном солдате". Но, помилуйте, какой же неизвестный солдат, коли точно известно его имя: Осип Мандельштам. Более того, известно, какого роду-племени этот солдат, ибо, талмудист по крови, всякую свою занозу, души ли, тела ли, он возводит до вселенских размеров, а галактики, миры низводит до земных человеков, человеческих дел и нравов:

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами —
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры.

А звезды — какие же это звезды, коли они те же, подвешенные в небе, соглядатаи:

До чего эти звезды изветливы:
Все им нужно глядеть — для чего?
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан, без окна вещество.

"Заблудился я в небе... Что делать?" Вы слышите: уже не только на земле, уже и в небе заблудился Ося. "...Тише! Тучу ведут под уздцы".

Да разве это слова бывалого, мудрого еврея? Да это же лепет мальчика, который потерялся. Ося и сам говорит: "Вот оно, мое небо ночное, Перед которым как мальчик стою..."

Ну, а что если не мальчик он, если причина этим словам, этим видениям вовсе иная? "Может быть, это точка безумия..."

Не мы, не кто-нибудь другой — сам Осип первый произнес эти слова, это у него у первого возникла в голове догадка о безумии Осипа Мандельштама — не того, что прыгал в окно, не того, что звал за собою, к прыжку в вечность, свою жену, а того, что сочинял вирши и мечтал оборотиться лучом: "О, как же я хочу — Не чуемый никем — Лететь вослед лучу, Где нет меня совсем".

Близились к концу его земные дни, он говорил жене: "Я к смерти готов..." Но — вот оно, безумие поэта! — твердил в своих виршах: "Не разнять меня с жизнью..."

И так сражались они в нем — человек, безмерно уставший от жизни, и поэт, весь во власти мечты о бессмертии, о лавровом венке, которым люди венчают своих великих, своих признанных сынов. Но и в эти, считанные уже недели-месяцы жизни, верный своей гордыне — он же "потомок народа овцеводов, патриархов и царей"! — просил Ося человечество как раз об обратном — чтоб не клали ему венка:

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски —
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски.

Опять, опять мечты, грезы мальчика: помните, как, ударяя вороненую сталь, сколок о сколок, высекали мальчики синий звон и синие искры. Между двумя приступами удушья старик-мальчик Ося Мандельштам не только себя, но и других норовил уверить, что у него стальное сердце: расколотое, это сердце взлетит над землей кусками синего звона.

"...Упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши..." — кому, как не им, приходился Ося самым близким, кровным родичем! Вечные бродяги — они были везде дома, без куска хлеба — они были всегда сыты, дрожащие от холода — они пылали душевным огнем, униженные и оскорбленные — они возносились над человечеством, безымянные, неведомые — они в мечтах помечали столбовые дороги города и мира своими именами:

Эта, какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова! —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного.
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма —
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Психиатры утверждают: есть одна психическая болезнь — циркулярный психоз — при которой больной не теряет рассудка. Русский поэт Гаршин страдал циркулярным психозом, во время приступа он бросился в лестничный пролет: кто хочет избавиться от жизни — тот избавляется.

Осип Мандельштам несколько раз делал попытки покончить с собой. На самом же деле он не хотел умирать: то были не акты безумца — то были акты человека, утратившего волю к борьбе, к жизни.

Надежда Мандельштам, самый близкий к Осипу в те дни человек, разрывалась между двумя крайностями: то, казалось ей, Ося сходит с ума, то, напротив, она подозревала его в притворстве — того рода притворстве, которое понудило андреевского героя доктора Керженцева, начавшего с игры в безумие, в конце концов воскликнуть в ужасе: "А может быть, в самом деле доктор Керженцев сошел с ума!"

Осип и сам, как помним, подозревал себя в безумии: "Может быть, это точка безумия..." Но, Боже мой, это же тривиальные страхи всякого неврастеника! Не хочу забираться в дебри психиатрии, но целиком принимаю тезис доктора Кречмера: стопроцентно здоровых психически людей — нет. Всякий человек, говоря по-домашнему, немножко того. У всякого человека, с точки зрения идеального душевного здоровья, бывают крайности, которые никак не уложить в рамки нормы.

Так стоит ли удивляться, что, помышляя о бессмертии, Ося тут же готов был поступиться жизнью:

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска —

У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.

Свое воронежское жилье Ося пел уличным голосом беспризорника: "Я живу на важных огородах — Ванька-ключник мог бы здесь гулять. Ветер служит даром на заводах, И далеко убегает гать".

А любовь, какая любовь была у беспризорника этого в Воронеже! Сколько слез пролила Надя из-за него, беспутного, — а лет было ему под полста — и двадцатилетней Наташи Штемпель, которая только что закончила университет и преподавала литературу в здешнем техникуме:

Пришла Наташа. Где была?
Небось, не ела, не пила...
И чует мать, черна, как ночь:
Вином и луком пахнет дочь...

А загадки какие загадывал Ося Наташеньке, простаивая, как влюбленный по уши школярик, у проходной техникума:

— Наташа, как писать — балда?
— Когда идут на бал, то — да.
— А полдень? — Если день, то вместе.
А если ночь, то не скажу, по чести.

И вдруг, оборотившись не то гусаром, не то царь-Соломоном на ложе у Суламифи, Ося уже без обиняков выписывает Наташенькины мечты, "чтобы мальчик был лобастый, на двоих похожий", и огненные клятвы этих двоих: "И к губам такие липнут Клятвы, что, по чести, В конском топоте погибнуть Мчатся очи вместе".

Нет, хоть и уверял Ося свою Надю, что готов к смерти, но никак не был он готов — не хотелось ему умирать. Напротив, хотелось жить. Так хотелось, что решился Ося на самое тяжкое преступление: предать тысячелетний завет отцов — "Не сотвори себе кумира!", предать свою душу, предать дух — и тем спасти бренную свою плоть.

Вооружившись карандашом и бумагой, разложившись на столе, как стратег со своими картами перед решающей битвой, битвой-судьбой, Ося вспомнил Прометея, вспомнил Гомера, вспомнил Эсхила — и в этой компании почел себя достойным сложить оду товарищу Сталину, "в искусстве с дерзостью гранича" и обливаясь умильными слезами самозабвенно любящего сына:

И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему,— вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили!

В былые дни Ося мучался вопросом: "Что он делает с буграми голов?" В "Оде" Ося не только для себя — "Я у него учусь — к себе не знать пощады", — но и для всех своих сограждан нашел ответ, "кто сдвинул мира ось, ста сорока народов чтя обычай", и куда деваются бугры голов:

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали.
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

Жертва не была принята, "Ода" не спасла Осю — было ему на роду написано: ужас и яма и петля.

Началось самое страшное: самоизничтожение изнутри. "Теперь я понимаю, — говорил Ося Ахматовой, — это была болезнь". Уезжая из Воронежа, он просил Наташу Штемпель уничтожить "Оду".

Что тут сказать: смеха мне, смеха мне! Как будто дело в бумаге: душа пущена на продажу, на торги — и покупатель отвернулся, отверг, плюнул поэту в лицо. И какой покупатель!

Надежда Мандельштам писала: "Мы ждали конца весь последний воронежский год, а потом еще один год скитаний в Подмосковье".

Еще цепляясь за жизнь, бормотал Ося-бормотун: "Я к губам подношу эту зелень, Эту клейкую клятву листов, Эту клятвопреступную землю — Мать подснежников, кленов, дубков".

Уже отрешаясь то жизни, доборматывал Ося-бормотун:

И свои-то мне губы не любы,
И убийство на том же корню.
И невольно на убыль, на убыль
Равнодействия флейту клоню.

Было время, виделась Осе дальняя дорога, окиян-море, виделась "в бинокль прекрасный Цейса — Дорогой подарок Царь-Давида" за Кавказским хребтом священная земля праотцов, и тянулась — не тянулась: рвалась! — Осина душа прочь из России, из серпастой, из молоткастой, из большевистской.

Но к ней же — серпастой, молоткастой, большевистской — влеклась Осина душа необоримо: "Чего ты жалуешься, — говорил он Наде, — поэзию уважают только у нас — за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают".

Это — так. Это на Руси традиция — еще с новиковых, с радищевских, с пушкинских времен — убивать за поэзию: это, прямо сказать, поклеп возвели на большевиков, будто они первые учинили на Руси порядок — убивать за поэзию.

А с другой стороны, и Русь не первопроходец здесь: оборотитесь в древность — Китай, Восток, Греция, Рим — и там убивали за поэзию. Этому человечество не учить, это истории не внове.

По приговору о трехлетней ссылке Осе приписали "минус двенадцать". Теперь, когда ссылку он отбыл, приписали "минус семьдесят", то есть навсегда, до конца жизни, в семидесяти означенных припиской городах запрещалось ему проживание. Но что были они, эти семьдесят, если только в одном — в Москве — Ося чуял себя человеком. И куда ни завозили его в эти оставшиеся ему месяцы колеса, ноги приводили его обратно в Москву.

Каждому встречному-поперечному Ося выкладывал свое главное: "Я у них все время на глазах. Они совершенно не знают, что со мной делать. Значит, они меня скоро посадят..."

После драки, сказано, кулаками не машут. Но, с другой стороны, покажите мне хоть одного человека, который так, про себя, не помахал бы кулаками после драки.

Так вот, у меня лично есть полная уверенность — ну, не все сто, но почти все сто процентов — что Ося, не болтайся он "все время на глазах", в Москве, а поселись где-нибудь в Хацапетовке, мог бы уберечься. Один большой чин выболтал тогда: Ося — не политический, а уголовный, "был пойман в Москве, наскандалил там, а не имел права там находиться".

"Журналисты из "Правды"... рассказывали Шкловскому: в ЦК при них говорили, что у Мандельштама, оказывается, не было никакого дела... Разговор этот, — вспоминает Надежда Мандельштам, — произошел в конце декабря или в начале января 1939—40 года, вскоре после снятия Ежова..."

В загсе — поразительный для тех лет случай — Александру Эмильевичу Мандельштаму выдали свидетельство о смерти его брата, Осипа Эмильевича, произошедшей по причине паралича сердца.

В том же году, в тридцать восьмом, всеми забытый и брошенный, умер от рака и Осин папа, старик Эмиль Хацнель. Перед смертью он все ждал, что Ося навестит его и они смогут поговорить, как писатель с писателем, о мемуарах, которые старик писал по-немецки: русский язык он освоил настолько, чтобы предъявлять как пропуск имя своего первенца — "мой сын — известный поэт Осип Мандельштам", но не настолько, чтобы рассказать на нем историю своей жизни.

Незадолго до ареста Ося виделся со своим папой, старик хотел перебраться к нему от черствого сына, Евгения Эмильевича, которому был тяжкой обузой. Ося очень переменился к отцу, называл его теперь папочкой и терпеливо объяснял, что переселиться к бездомному, к беспризорнику нельзя.

Запоздалая, с раскаянием, любовь к отцу — единственное приобретение Оси в последние годы его жизни.

О новом, последовавшем первого мая 1938 года, аресте его сына Осипа Эмильевича старику Хацнелю не дали знать — и он ждал свидания с ним до последней минуты.

Пока старик долеживал дни своей жизни на больничной койке, сын его доживал свои дни на тюремных нарах. Всю жизнь в страхах, он переменил все страхи на один: страх быть отравленным. Он "почти ничего не ел, боялся еды... терял свой хлебный паек, путал котелки". Рассказывают, в светлые минуты он читал лагерникам стихи. Надежда Мандельштам видела альбомы с его стихами, ходившими по лагерям. Однажды Осе довелось получить привет из камеры смертников в Лефортове, где на стене были нацарапаны его строки: "Неужели я настоящий и действительно смерть придет".

Никто не знает доподлинно обстоятельств Осиной смерти. "Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тело. Никто не положил его в гроб".

Рассказывают, однажды ночью постучали в барак и потребовали поэта. Поэт был некто Р., и его звали к другому поэту, умирающему. Умирающему поэту было имя Осип Мандельштам, лежал он на нарах у шпаны. Поэт Р. поговорил с ним и закрыл ему глаза.

Еще рассказывают одну идиллию про поэта и шпану. "На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней — открытые консервы и белый хлеб... Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. ...То был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он

спокойно ел — видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял".

По другой версии, как раз шпана и добила Осю: ей надоел сумасшедший старик, который делал все невпопад, уверив себя, что ему привили бешенство.

Еще говорили, что Осип Мандельштам умер во время эпидемии тифа. "Однажды, несмотря на крики и понукания, О. М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал... Всех погнали чистить снег, а О. М. остался. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре... О. М. умер и его похоронили, вернее, бросили в яму... Хоронили... без гробов, раздетыми, если не голыми, чтоб не пропадало добро, по несколько человек на одну яму... и каждому к ноге привязывали бирку с номерком".

Это случилось в лагере на "Второй Речке", под Владивостоком, откуда арестантов отправляли на Колыму.

Еще версия: некий Л., будто бы его попутчик, московский физик, был с Осей в одном транспорте из Москвы. По его словам, почти всю дорогу Ося провел в изоляторе, укрывшись с головой одеялом. У него сохранились кой-какие гроши, конвойные иногда покупали ему в станционном буфете булку. Ося "разламывает ее пополам и делится с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивается, пока в щелку из-под одеяла не заметит, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест".

Теперь уже не казалось, — теперь Осип Эмильевич Мандельштам был в самом деле безумен: страшась отравы, он сам обрекал себя на смерть. На голодную смерть.

Но разве безумец во всем безумен? Разве "я", которое всю жизнь было его "я", замещается другим, не его "я"? Нет, никакого нового "я" нет: за крайностями безумия всегда жива, всегда бодрствует душа того, первозданного Я, которое дано человеку от рождения.

Пересохшими, потрескавшимися губами Ося торопливо вышептывал:

Из раковин кухонных хлещет кровь,
И пальцы женщин пахнут керосином.

Укутавшись в одеяло, чтоб ни щелки света — ни щелки! — Ося бормотал:

...И пламенный поляк ревнивец фортепьянный,
...Чайковского боюсь — он Моцарт на бобах,
...И маленький Рамо — кузнечик деревянный.

И еще, еще укутываясь, — ах, Боже мой, они же везде, они же повсюду, и под одеяло, под одеяло:

Такие же люди, как вы, с глазами вдолбленными в череп,
Такие же судьи, как вы, лишил вас холода тутовых ягод.

Нет, они не могут все, они не могут — и для Осеньки, для мальчика, для старичка-мальчика, есть местечко, есть:

На этом корабле есть для меня каюта.

Тоска, Господи, огромная, во все пределы, сотворенные Тобою!

"Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла" (Псалмы, 104:15).

Тоска, Господи: "Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать!"

Боюсь Тебя, Адонаи!

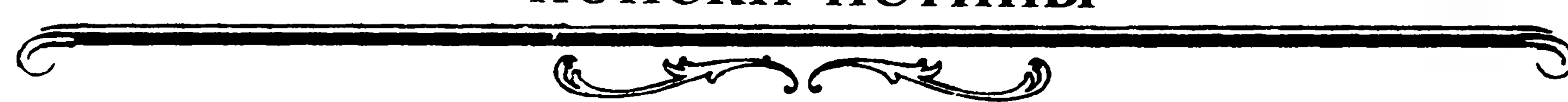
Господи, я — Иосиф, наречен отцом нашим, Израилем. Я пойду, извещу фараона и скажу ему: "Братья мои и дом отца моего... пришли ко мне"...

27 декабря 1938 года не стало Осипа Мандельштама.

Закатилось солнце русской поэзии.

Восемнадцать лет спустя, 29 августа 1956 года, на специальном заседании, суд постановил: "Дело Мандельштама, О. Э., прекратить за отсутствием состава преступления".

С того света — ну сами скажите: так можно было такого еврея терпеть среди нас! — затрещал Ося своими костьми: "Судопроизводство еще не закончено и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра"!..



ДУГЛАС РИД

СПОР О СИОНЕ

(2500 лет еврейского вопроса)

РЕШАЮЩЕЕ СРАЖЕНИЕ ПЕРВОЙ ВОЙНЫ[1]

Война 1914—1918 годов была первой войной наций, а не одних только армий; ее влияние и последствия проникали почти в каждый дом в большинстве европейских стран и во многих неевропейских. Это было совершенно новое явление в мире, и оно было давно предсказано заговорщиками коммунизма и сионизма. В "Протоколах" 1905 года (1902 года. — **Прим. перев.**) стояло, что сопротивление их планам будет встречено "всеобщей мировой войной"; Макс Нордау знал уже в 1903 году, что палестинские амбиции сионистов будут осуществлены при помощи "грядущей мировой войны".

Чтобы эти предсказания исполнились, показав таинственное знание событий задолго до их совершения, заговорщикам нужно было захватить контроль над правительствами, чтобы направлять государственную политику, а следовательно и военные операции, на службу целям заговора, а не национальных интересов. Как было показано выше, американский президент уже начиная с 1912 года был пленником своих тайных "советников"; а если его описание Хаузом, как в анонимном романе, так и в открыто опубликованных "Частных заметках" верно, то оно полностью соответствует тому, о чем уже много раньше писали "Протоколы": "...мы заменим правителя карикатурой президента, взятого из толпы, из числа наших марионеток, наших рабов".

В начальной стадии мировой войны от Вильсона не требовалось особо активного участия в осуществлении задуманного грандиозного "плана"; свою роль он должен был сыграть позднее. Вначале главной задачей было взять под контроль британское правительство. Борьба за осуществление этой цели продолжалась два года, закончившись победой заговорщиков, чья деятельность оставалась совершенно неизвестной широким массам общественности. Это сражение, разыгранное в лабиринте международной политики, было поистине решающей битвой первой мировой войны. Именно она привела к величайшим и наиболее продолжительным последствиям, определившим весь дальнейший ход XX столетия; эти последствия продолжали определять события между первой и второй мировой войнами, как и во время второй войны, а в наше время они же являются самой вероятной причиной любой будущей третьей "всеобщей войны". Ни одно сражение 1914—1918 годов не имело такого значения для будущего всего мира, как захват британского правительства заговорщиками в 1916 году. Весь этот процесс остался совершенно скрытым от втянутых в военные события народов. От начала войны и до самого ее конца англичане верили, что они воюют против прусского милитаризма, а американцы видели причину всех бед в неисправимой склонности европейских народов к взаимным ссорам.

В 1914 году в Англии еще не было того положения, какое создалось в Америке после того, как президент Вильсон оказался послушным орудием в чужих руках. Руководящие политические и военные должности были заняты людьми, которые оценивали любое предложение относительно политического и военного ведения войны только с одной точки зрения: поможет ли оно выиграть войну и будет ли оно в согласии с интересами государства. С такой точки зрения предложения сионистов были, разумеется, неприемлемы. История первых двух лет четырехлетней войны состояла в закулисной борьбе за то, чтобы убрать этих упрямцев и

---

[1] Продолжение. Начало в №6, 7, 9, 10 и 11 за 1993 год.

заменить их послушными пешками. До 1914 года заговор смог проникнуть не далее преддверий министерств, если не считать судьбоносного шага Бальфура в 1903 году. После 1914 года все более широкие круги ведущих политиков начали "отвлекаться" в сторону сионистского предприятия. Сегодня хорошо известно, что политические деятели руководствуются практическими соображениями (общественной популярности, вербовки голосов избирателей, финансовой поддержки и пр.); все это давно раскрыто множеством авторитетных свидетельств, и уже давно известно, *где* для всего этого имеются наибольшие средства. Но в то время нужно было быть особенно дальновидным, чтобы видеть в сионизме ключ к политической карьере. Поэтому *не исключено*, что побудительным мотивом многих из них было нечто вроде бальфурского романтизма; исторические источники этого периода довольно туманны и неспособны объяснить необъяснимое. Мало того, англичане всегда имели слабость маскировать свои действия высокими моральными соображениями и даже уверять в этом самих себя; именно это продиктовало английскому историку Маколею (Macauley, 1800—1859) его знаменитые слова: "Нет более смешного зрелища, чем английская общественность во время одного из ее очередных припадков моральности". Возможно поэтому, что *некоторые* из участников интриги (а это безусловно была интрига) *думали*, что они поступают правильно. Этот процесс самообмана виден в одном из заявлений, которое автору удалось обнаружить и которое ясно указывает на просионистскую группу в высоких британских сферах того времени, а также на ее мотивы того характера, который был высмеян Маколеем.

Источник этих сведений — Оливер Локер-Лампсон, консервативный член парламента в начале нашего столетия. Сам он никогда не играл особой роли и позже стал известен лишь своей фанатичной поддержкой сионизма в парламенте и вне его, но он был близким другом многих ведущих политиков, отдавших британский народ под надзор сионистов. В 1952 году он писал в одном из лондонских еженедельников: "Уинстон, Ллойд Джордж, Бальфур и я — мы все были воспитаны как ярые протестанты, верившие, что приход нового Спасителя совершится после возвращения Палестины евреям". Это — не что иное, как мессианская идея кромвелевских тысячелетников, пересаженная на почву XX столетия. Справедливость этого заявления могли бы подтвердить только названные им люди, но все они, кроме одного, сейчас уже умерли. Насколько же все это могло быть действительной основой протестантизма, "ярого" или неярого, мы предоставляем судить нашим английским читателям. Никто, однако, не рискнет утверждать, что на подобной идее можно строить государственную политику или вести операции во время войны. Кроме того, она выражает ту же нечестивую мысль, которая направляла и "пророка" Монка, и всех людей этого сорта: что Господь Бог забыл свои обязанности и что раз Он их не исполняет, то их нужно выполнить за Него. Так или иначе, была организована группа людей, которых мы можем называть тем именем, которое они сами себе избрали: "ярые протестанты".

Когда началась первая мировая война, эти "ярые протестанты" поставили себе целью добиться власти и переключить военные операции в Европе на передачу Палестины сионистам. Хаим Вейцман также не сидел сложа руки с тех пор, как мы в последний раз видели его в 1906 году запершимся в Манчестере с Бальфуром, и немедленно начал действовать: "Сейчас настало время... политическая ситуация будет благоприятной", — писал он в октябре 1914 года. Он связался с неким С. П. Скоттом, издателем левой газеты "Манчестер Гардиан", которая никогда не уставала (как тогда, так и теперь) заниматься делами, не касавшимися собственной страны. Скотт был в восторге, узнав, что его собеседник "еврей, ненавидящий Россию" — ту самую Россию, союзницу Англии, которая, наступая с востока, спасала в этот момент от гибели английскую и французскую армии; он тут же повел Вейцмана с собой завтракать у Ллойд Джорджа, занимавшего в то время пост министра финансов. Вейцман нашел, что Ллойд Джордж оценивал войну в Европе "чрезвычайно легкомысленно", однако к сионизму он относился с "теплым сочувствием" и предложил встретиться с Бальфуром, что и состоялось 14 декабря 1914 года. Вспоминая прежний разговор в 1906 году, Бальфур "весьма небрежно" спросил, чем он практически может помочь Вейцману, получив ответ: "Не сейчас, когда грохочут пушки, я приду снова, когда военное положение прояснится". Mme Дагдейл, с чьим описанием событий Вейцман вполне согласен, пишет от его имени: "Я не продолжал начатого разговора, так как время и место не были благоприятны". Это был тот самый разговор, во время

которого Бальфур непринужденно пообещал, что "когда пушки перестанут стрелять, Вы получите Ваш Иерусалим".

Хаим Вейцман не ухватился за "небрежное" предложение Бальфура по очень веским причинам. Главная квартира сионистов находилась в то время *в Берлине*, и коллеги Вейцмана ожидали победы Германии. Они хотели получить полную уверенность в исходе войны, прежде чем выложить карты на стол. Когда впоследствии было окончательно решено поставить на карту союзников, пушки все еще "грохотали", но бойня в Европе отнюдь не помешала д-ру Вейцману "продолжить начатый разговор". Он не притворялся больше перед Бальфуром (наверняка не сообразившим, что было на уме у его посетителя), что "время... неблагоприятно" и что он подождет "когда прояснится военное положение". Весьма знаменательно, что некоторые из лиц, бывших участниками этих собеседований, оставшихся неизвестными широкой публике, всячески старались скрыть их вообще или спутать даты; в то время предполагалось, что единственной заботой политиков должна была быть судьба Англии. Мы уже приводили один из явных примеров этого: путаница с датой второй встречи Бальфура с Вейцманом, о которой только что было рассказано. Точно так же и Ллойд Джордж писал впоследствии, что он впервые встретил Вейцмана *в 1917 году*, будучи уже премьер-министром, и что якобы эта встреча была "случайной". В своих записках Вейцман его исправляет: "Фактически, активность Ллойд Джорджа в пользу создания еврейского государства *началась задолго до того как он стал премьер-министром, и в течение этого времени мы несколько раз встречались с ним*".

Последовала третья встреча с Бальфуром, "замечательный разговор, продолжавшийся несколько часов" и прошедший "исключительно удачно". Вейцман еще раз подчеркнул свою ненависть к России, верному союзнику Англии, несшему тяжелые потери в общей борьбе. Бальфур мягко удивился: "Как можете Вы, будучи другом Англии, быть против России, когда она так много делает, чтобы помочь Англии выиграть войну". Однако, как и при прежних встречах, когда речь шла об антисионистских убеждениях британских евреев, он не собирался всерьез противоречить, закончив разговор словами: "Вы служите великому делу; мы должны еще много раз встретиться с Вами".

Ллойд Джордж предупредил Вейцмана, что "несомненно будет серьезная оппозиция в известных еврейских кругах", на что у Вейцмана было заготовлено стандартное возражение, что одни только "богатые и влиятельные евреи в большинстве своем против нас". Как ни странно, этот скользкий ответ представился "ярым протестантам" вполне убедительным, хотя почти все они были людьми богатыми и влиятельными, и вскоре они стали относиться к своим соотечественникам — британским евреям — с той же враждебностью, как и требовательный пришелец из России Хаим Вейцман. Сионизм встретился с оппозицией еще с одной стороны. У вершин власти все еще стояли люди, думавшие в первую очередь о своем служебном долге и о победе над врагом. Они не допускали вражды к союзнику и не позволили бы ненужной траты сил в палестинской авантюре. Это были: премьер-министр Герберт Асквит, военный министр лорд Китченер, сэр Дуглас Хэйг, ставший вскоре главнокомандующим во Франции, и сэр Вильям Робертсон, начальник штаба британских войск во Франции, впоследствии начальник имперского генерального штаба.

Асквит был последним лидером либеральной партии, пытавшимся совместить идею либерализма с национальными интересами и религиозными верованиями, в отличие от того как этот термин понимается в течение последних сорока лет (написано в 1955 году. — Прим. перев.), согласно с его толкованием в "Протоколах": "Когда мы ввели в государственный организм яд либерализма, вся его политическая структура изменилась; государства оказались пораженными смертельной болезнью — заражением крови...". С устранением Асквита либерализм в его первоначальном значении в Англии умер, а либеральная партия сошла на нет, потеряв всякое значение, оставив после себя одно имя, которое стало затем, главным образом, служить ширмой для коммунизма с его легионами "утопических мечтателей". Асквит впервые узнал о назревавшей интриге, получив предложение о создании в Палестине еврейского государства от своего еврейского министра Герберта Самуэля, который в свое время присутствовал на завтраке с Вейцманом и Ллойд Джорджем в декабре 1914 года и теперь уведомил обоих, разумеется, о своем предложении заранее. Асквит записал об этом следующее: "Самуэль советует использовать британские войска для захвата Палестины, стра-

ны пустынных гор, по размеру равной Уэльсу, в значительной своей части совершенно безводной. Он полагает, что на этой мало заманчивой территории можно будет поселить *от трех до четырех миллионов европейских евреев...* меня мало увлекает это предложение, которое только наложит на нас новые обязательства... единственный другой сторонник этого предложения — Ллойд Джордж, и незачем добавлять, что ему совершенно наплевать как на евреев, так и на их роль в будущем".

Асквит, вполне правильно оценивший взгляды Ллойд Джорджа, остался при своем мнении до конца. Десять лет спустя, давно уже в отставке, он посетил Палестину, записав затем: "Болтовня о превращении Палестины в еврейское национальное государство представляется мне сейчас такой же фантазией, какой она была и раньше". Отрицательным ответом в 1915 году он подставил себя и свой пост главы правительства под удар. Пока он мог, он не позволял вовлечь свою страну в палестинскую авантюру, разделяя мнение военного руководства, что война может быть выиграна — если это вообще возможно — только на главных полях сражений, в Европе.

Военный министр лорд Китченер, также разделявший эти взгляды, пользовался в Англии громадным авторитетом и популярностью. Он считал, что главной военной задачей в настоящий момент было обеспечить дальнейшее участие России в войне (в то время как сионисты стремились к ее разгрому, поставив об этом в известность "ярых протестантов"). Китченер был послан в июне 1916 года в Россию. Крейсер "Хемпшир", на котором он ехал, погиб (не узнали ли сионисты в Берлине "случайно" о его поездке и маршруте?). Знатоки утверждают, что он был единственным, кто мог в этот момент поддержать Россию. С его смертью исчезло главное препятствие, сдерживавшее как революцию в России, так и планы сионистов. Вполне возможно, что навязать Западу сионизм не удалось бы, если бы Китченер остался жив. Автор этих строк помнит, что солдаты западного фронта, узнав о его гибели, восприняли это как серьезное военное поражение. Их интуиция была ближе к истине, чем они сами могли догадаться.

После этого на пути сионистов к их целям остались только Асквит, Робертсон, Хэйг и английские евреи. Сеть интриги расширялась. Газеты "Таймс" и "Сандей Таймс" присоединились к "Манчестер Гардиан" и его увлечению сионизмом, а внутри и вокруг правительственного кабинета к Бальфуру и Ллойд Джорджу примкнули новые его сторонники. Лорд Мильнер (Milner, влиятельный масон, в свое время зачинщик англо-бурской войны. — **Прим. перев.**) открыто заявил: "Если арабы думают, что Палестина будет арабской — они глубоко ошибаются"; в этот момент полковник Лоуренс подымал арабов на восстание против Турции, обещая им независимость. Филип Керр (будущий лорд Лотиан, в то время личный секретарь Ллойд Джорджа) выразил уверенность, что после "обуздания бешеной собаки в Берлине", как английская пропаганда представляла германского кайзера (внука королевы Виктории и двоюродного брата короля Георга V. — **Прим. перев.**), должна возникнуть "еврейская Палестина". Сэр Марк Сайкс, главный секретарь военного кабинета в Лондоне и "одна из наших самых ценных находок" (Хаим Вейцман), усердно развивал идею "освобождения евреев, арабов и армян".

Подобной подтасовкой исторических фактов всем известное "большинство" любого народа всегда можно "убедить" в чем угодно. Арабы и армяне были там, где они жили все время, и не собирались переселяться куда бы то ни было. Европейские евреи были столь же свободны или несвободны, как и все остальные европейцы; *палестинские* евреи ясно продемонстрировали желание переселиться в Уганду, евреи Европы и Америки хотели оставаться там, где они были, и только ожидовленные русские хазары, понукаемые талмудистами, рвались в Палестину. Формула, придуманная Сайксом, была еще одним несчастьем для будущих поколений, поскольку она изображала палестинскую авантюру как одну из нескольких связанных между собой проблем. В отличие, однако, от прочих "ярых протестантов", он был экспертом в делах Ближнего Востока и должен был знать лучше других, чем все это пахло.

Другой рекрут сионизма, лорд Роберт Сесиль, также пользовался лживой формулой "Аравия — арабам, Иудея — евреям, Армения — армянам" (об освобождении армян впоследствии все совершенно забыли), и это тем более странно, что в роде Сесилей был большой опыт государственной деятельности; похоже, что сионизм обладает какими-то средствами оглуплять вполне нормальных и образованных людей. Например, тот же Бальфур (наполовину происходивший из

рода Сесилей) в других вещах обладал вполне сесильской мудростью, составив записку о реорганизации *Европы* после войны, до сего времени слывущую образцом государственного ума; в вопросе сионизма он действовал, однако, как одурманенный наркотиками.

Не менее странным представляется и пример лорда Сесиля. Автор этих строк присутствовал на его докладе о Лиге Наций в 1930 году в Берлине. Высокий, сутуловатый, с лицом коршуна и блестящими врожденными данными, он предупреждал об опасностях будущего, как бы прорицая с горной вершины знания, с гробовой мрачностью цитируя "иудейских пророков". На молодого тогда журналиста, плохо понимавшего, что именно Сесиль имеет в виду, его выступление произвело большое впечатление. Сегодня, хотя он уже научился кое-чему, автору это все еще представляется загадочным; пророк Иеремия, например, наверняка был ярым антисионистом. Хаим Вейцман пишет о том же лорде Роберте следующее: "Для него восстановление еврейской родины в Палестине и *организация мира в виде большой федерации были дополняющими друг друга чертами последовательных шагов в деле управления человечеством... будучи одним из основателей Лиги Наций, он придавал еврейской родине столь же большое значение, как и самой Лиге*".

Здесь выбалтывается большой секрет; но понимал ли это сам лорд Роберт? Завоевание Палестины для поселения в ней русских сионистов было "последовательным шагом" в "*деле управления человечеством*". (Как не вспомнить здесь слова лорда Актона о "плане" и его "директорах"?) "Мировая федерация" — составная часть одного и того же плана. Основная концепция подобного объединения, в любых его формах, требовала, чтобы *нации* отказались от своей *суверенности*, чтобы исчезли все национальные независимые государства (то же самое, разумеется, является и лейтмотивом "Протоколов"). Но если нации должны исчезнуть, то почему вдруг процесс их ликвидации начинается с создания *еще одной* нации, если только именно ей не отводится роль верховной власти в "деле управления человечеством"? Не забудем, что эта доктрина *высшей* нации проходит красной нитью в равной степени через (фальсифицированный) Ветхий завет, Талмуд, "Протоколы" и весь традиционный сионизм.

Поддержка сионизма лордом Робертом представляется непостижимой, поскольку унаследованная мудрость не оставляла у него сомнений в угрозе мирового деспотизма, о чем он в то же самое время писал "полковнику" Хаузу в Америке: "Не может быть сомнений в том, что по окончании этой войны нам нужно серьезно постараться создать инструментарий для обеспечения постоянного мира... Опасным в этом было бы только зайти слишком далеко... Более всего повредил делу мира провал попыток в этом направлении после Ватерлоо. Теперь уже забыли, что Священный Союз был вначале задуман, как *Лига принуждения народов к миру*. К сожалению, она позволила отвлечь свои силы в сторону и фактически стала *лигой поддержания тирании*, в результате чего она потеряла всякое *доверие, принеся к тому же громадный вред в других* отношениях... Этот пример показывает, как легко самые лучшие намерения могут привести к печальным последствиям". Приведенная цитата показывает, что лорд Сесиль должен был бы ясно видеть угрозу "отвлечения сил в сторону", а заодно и то, что он — если верить тому, что пишет о нем Хаим Вейцман, — заблуждался в истинном характере сионизма. Когда он писал эти слова, в Америке уже организовывалась д-ром Мезесом, шурином г. Хауза, новая "Лига принуждения к миру"; она была предшественницей многих последовавших затем поползновений в направлении мирового правительства, в которых нетрудно было увидеть намерение влиятельных группировок создать новую "лигу поддержания тирании".

Таким образом к концу второго года первой мировой войны собратье "ярых протестантов", заинтересованных не в Европе, а в Палестине, стало уже значительной группой, прятавшей внутри себя местечково-сионистское ядро. Господа Леопольд Эмери, Ормсби-Гор и Рональд Грэхем присоединились к поименованным выше "друзьям". Сионизм с их помощью проник во все правительственные департаменты, кроме военного министерства. Каковы бы ни были первоначальные причины их увлечения сионизмом, теперь уже речь несомненно шла о вполне конкретном материальном вознаграждении: интрига имела целью убрать из правительства неугодных лиц и сесть самим на их места. Упорствующий премьер-министр Асквит был смещен в конце 1916 года. Опубликованные с тех пор источники показывают, как это было сделано, а по прошествии времени можно оценить и

результаты. Общественности начали постепенно внушать, что Асквит неумело руководит страной в военное время. Насколько это обвинение было искренне, можно судить по тому, что первым актом преемников Асквита была отправка английских войск из Европы в Палестину, в результате чего Ллойд Джордж без малого проиграл всю войну. 25 ноября 1916 года Ллойд Джордж внес предложение, чтобы его шеф (Асквит) отказался от председательства в военном совете, передав этот пост ему, Ллойд Джорджу. В нормальных условиях подобное требование было бы равносильно политическому самоубийству, но в то время правительство было коалиционным и либерала Ллойд Джорджа поддержали лидеры консерваторов Бонар Лоу и Эдвард Карсон, что имело действие ультиматума. Есть основания полагать, что оба упомянутых джентльмена искренне верили в блестящие способности Ллойд Джорджа; их трудно заподозрить в консервативном коварстве, предвидевшем, что Ллойд Джордж в конечном итоге погубит всю либеральную партию.

Ллойд Джордж потребовал также, чтобы — по его мнению — некомпетентный консерватор Бальфур был снят с поста Первого Лорда Адмиралтейства (морского министра в Англии). Либеральный премьер-министр Асквит с негодованием отказался как сдать свой пост в военном совете, так и уволить Бальфура (*4 декабря 1916 года*). Тогда он получил *заявление Бальфура* об отставке, на что он послал последнему копию своего письма с отказом уволить его. Бальфур, хотя он и был прикован к постели тяжелой простудой, нашел достаточно сил, чтобы послать второе письмо, *настаивая* на своей отставке, как этого требовал Ллойд Джордж, после чего последний также подал в отставку. Асквит остался в одиночестве. *6 декабря* Бальфур (вышедший из правительства по требованию Ллойд Джорджа) уже настолько поправился, что смог принять Ллойд Джорджа. Пополудни собравшиеся партийные лидеры объявили, что они готовы служить стране *под руководством Бальфура.* Бальфур отказался, но заявил, что будет рад служить под руководством Ллойд Джорджа. Ллойд Джордж стал премьер-министром и назначил "некомпетентного" Бальфура министром иностранных дел. Так эти двое, втайне обязавшиеся поддержать сионизм, заняли высшие правительственные посты, и с этого момента главные усилия британского правительства направлялись, в ущерб всему остальному, на захват Палестины, чтобы отдать ее сионистам. В 1952 году автор этих строк прочел в нью-йоркском еврейском журнале "Коментари" письмо читателя, указывавшего, что евреи Северного Уэльса своими голосами сыграли в свое время решающую роль при избрании Ллойд Джорджа депутатом палаты общин. Из заслуживающих доверия источников автору стало также известно, что адвокатская практика Ллойд Джорджа процветала благодаря многочисленной еврейской клиентуре; однако поручиться за это сам автор не в состоянии. Денежную заинтересованность в данном случае исключить, по нашему мнению, нельзя; а неточность заявлений Ллойд Джорджа относительно его связей с сионистами, дважды опровергнутых Вейцманом, также говорит о многом.

Так произошла перегруппировка центральных фигур на британской политической сцене. Ллойд Джордж, маленький ловкий адвокат в визитке, выглядел среди своих рослых коллег в старомодных фраках, как воробей среди ворон. Рядом с ним Бальфур, высокий, вялый, всегда готовый со скучающим видом парировать честный вопрос циничным ответом, и любитель развлечься теннисом; автор помнит его медленно идущим в парламент через Сент-Джеймский парк. Вокруг этой пары — греческий хор министров, помощников министров и высоких чиновников, открывших в себе "ярый протестантизм". Возможно, что некоторые из этих попутчиков сионизма честно заблуждались, не разобрав, в чью телегу они сели. Ллойд Джордж был первым крупным политиком в ряду многих, хорошо знавших, откуда дует ветер; благодаря им, казалось бы, невинные слова "политик двадцатого века" приобрели зловещий смысл, и этот век обязан этим людям очень многими из своих бедствий.

Что же касается отвлечения британских военных сил в сторону совершенно чуждой им цели, то после гибели лорда Китченера и отставки Асквита остался только один мужественный противник на этом пути; суровая фигура сэра Вильяма Робертсона, начальника британского штаба во Франции, противостояла одна клике вокруг Ллойд Джорджа. Присоединись он к ней, он получил бы титулы, блестящие приемы, золотые табакерки, звезды и ленты до самого пояса; он заработал бы состояние на одних авторских правах на все, когда-либо написанное им или за него; его именем были бы названы парижские бульвары, и он совершал бы

триумфальные поездки по ликующим городам Европы и Америки; члены американского конгресса и британской палаты общин вставали бы при его появлении, и он въехал бы в Иерусалим верхом на белом коне. По окончании войны он даже не получил звания лорда, что не часто случается с британскими фельдмаршалами. Робертсон был единственным военным, выслужившимся до этого высшего чина из простых солдат, что в Англии, с ее маленькой профессиональной армией, было невероятным достижением. Он был прост, честен, крепко сложен, с резким выражением морщинистого лица, и выглядел, как бравый фельдфебель. Его единственной поддержкой в этой борьбе был главнокомандующий британских войск во Франции сэр Дуглас Хэйг, из касты кавалерийских офицеров, красавец-служака, идеал командира в глазах солдат. Грубоватый старый солдат Робертсон весьма неохотно посещал благотворительные спектакли, которыми заполняли свое время дамы общества во время войны, и на одном из них ему случилось увидеть леди Констанцию Стюарт-Ричардсон, танцевавшую в костюме и на манер Айседоры Дункан. Один из присутствующих генералов, увидя нетерпение Робертсона, заметил: "Вы должны все-таки признать, что у нее очень красивые ноги". "Ноги как ноги", — недовольно проворчал Робертсон.

Этому последнему из могикан выпала задача помешать переброске британских войск в Палестину. Все предложения он всегда рассматривал исключительно с точки зрения их значимости для войны и победы; если они помогали выиграть войну, их мотивы были ему безразличны; если нет — он отвергал их независимо от любых иных соображений. Следуя этому правилу, он увидел в сионистском проекте опасное распыление сил, способное лишь отсрочить победу и даже поставить ее под угрозу. Он не собирался обсуждать возможные политические соображения и, вероятно, даже о них не подозревал; для него они не имели никакого значения. В августе 1915 года он заявил Асквиту, что "самым эффективным методом (для победы над центральными державами) является, разумеется, *нанести решительное поражение их главным силам, все еще находящимся на западном фронте*". Поэтому он энергично высказался против "*вспомогательных кампаний на второстепенных фронтах и распыления сил во Франции... единственным критерием всех планов и проектов должно быть их влияние на ход войны*". Для народов, ведущих войну, полезно иметь руководителей подобного образа мыслей, и очень вредно, если последние от него отходят. С помощью этой неопровержимой логики палестинское предприятие (чисто политическое) оказалось поначалу похороненным. Как только Ллойд Джордж стал премьер-министром, он немедленно приложил все усилия, чтобы перебросить силы для крупной кампании в Палестине: "Сформировав мое правительство, я немедленно поставил перед военным министерством вопрос о *кампании в Палестине*. Сэр Вильям Робертсон, который всячески старался отвратить опасность переброски войск из Франции... *энергично этому воспротивился, и в тот момент ему удалось настоять на своем*".

Робертсон подтверждает сказанное: "*До декабря 1916 года* (когда Ллойд Джордж стал премьер-министром) операции за Суэцким каналом носили в основном оборонительный характер, и *как правительство, так и генеральный штаб... признавали первостепенное значение войны в Европе и необходимость оказать максимальную помощь армиям этого фронта. Это единодушие между министрами и военными не сохранилось после смены правительства... коренное расхождение во взглядах стало особенно заметным в вопросе Палестины... Всего через несколько дней после своего образования новый военный кабинет приказал генеральному штабу обсудить возможность распространения военных операций на Палестину... Генеральный штаб оценил потребность в войсках в три добавочных дивизии, которые могли быть получены только за счет армий западного фронта... Генеральный штаб указал, что этот проект поведет к большим осложнениям и ослабит наши шансы на успех во Франции...* Эти выводы весьма разочаровали министров, *желавших немедленного занятия Палестины, однако они не смогли быть опровергнуты...* В феврале (1917 года) военное министерство снова обратилось к начальнику генерального штаба, запросив, как шла подготовка осенней кампании в Палестине".

Из этих выдержек становится ясным, как закулисное политическое давление может "отклонять" в сторону государственную политику и операции во время войны. В данном особом вопросе исход борьбы между политиками и военными в первую войну продолжает оказывать непосредственное влияние на жизнь народов

вплоть до настоящего времени. Ллойд Джордж укрепил свою позицию шагом, еще раз показывающим, как давно уже была задумана подготовка палестинского предприятия, включавшая предварительный тщательный подбор "администраторов" для его поддержки. Он внес предложение, чтобы военный кабинет "привлек британские доминионы в гораздо большей степени, чем до сих пор, к обсуждению вопросов ведения войны". Сделанное в такой форме, это предложение встретило полное сочувствие английской общественности. Солдаты из Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки дрались на фронтах бок о бок с собственными сыновьями. Дружный отклик заокеанских территорий на опасность, грозившую метрополии, тронул британское сердце, и англичане приветствовали более близкое сотрудничество "в вопросах ведения войны" между лидерами Англии и ее доминионов.

Однако, как уже говорилось выше, "слова дипломата" и его "намерения" сильно разнятся от его действий. Предложение Ллойд Джорджа было лишь ловким маневром, чтобы заполучить в Лондон генерала Сматса (Smuts) из Южной Африки, которого сионисты считали своим самым ценным "другом" за пределами Европы и Америки, и он был вызван, чтобы потребовать завоевания Палестины. Население с правом голоса в Южной Африке разделено между бурами голландского происхождения и выходцами из Англии столь поровну, что уже упомянутые ранее "текучие двадцать процентов" играют здесь еще более решающую роль, чем в Америке. Сионисты считали — а генерал Сматс им, видно, поверил, — что они смогут "обеспечить" ему нужные голоса на выборах. Один из его коллег, Б. К. Лонг (член парламента от партии Сматса, в прошлом сотрудник лондонского "Таймс") писал, что "важные (для выборов) еврейские голоса, крепко стоявшие за Сматсом и его партией", сильно помогли ему одерживать победы на выборах. В его биографии упоминается крупное наследство, полученное от "богатого и влиятельного еврея" (пример ложности обвинений Вейцмана против богатых и влиятельных евреев; кстати, тот же самый сэр Генри Стракош завещал соответственный подарок и Уинстону Черчиллю), а также и подаренные ему некими не названными по имени лицами дом и автомобиль. Другими словами, партийно-политические соображения Сматса не сильно отличались от таких же соображений Ллойд Джорджа, Хауза, а впоследствии и многих других, влияние же материальных факторов достаточно очевидно.

Однако в его биографиях часто упоминаются и религиозные (или псевдорелигиозные) мотивы, часто встречающиеся и у Ллойд Джорджа. Например, Сматс "*предпочитал*" Ветхий завет Новому, и приводятся его слова: "Чем больше я старею, тем больше я интересуюсь иудаизмом". Автор встретился со Сматсом много лет спустя, уже зная, какую роль он сыграл в тогдашней истории. Теперь, в 1948 году, он был сильно озабочен ухудшением международного положения и взрывчатой ролью в нем, которую играла Палестина. Ему было почти 80 лет, но он прекрасно выглядел, был бодр и держался прямо, с живыми, острыми глазами и маленькой бородкой. У него был жесткий характер, и при желании газеты могли бы нарисовать его весьма неприглядный портрет, будь они против, а не неизменно за него, своей же политической ловкостью он не уступал Ллойд Джорджу. Газетная пропаганда изображала его как великого мастера англо-бурского примирения, однако когда он умер на своей одинокой трансваальской ферме, оба народа были более на ножах, чем когда-либо, а действительное примирение стало делом следующих поколений. В Южной Африке он был не примирявшей, а разделявшей фигурой, и всем было известно, что настоящей силой позади его партии была не Англия, а концерн золотых и бриллиантовых приисков в Иоганнесбурге (еврейское предприятие, владелец — Гарри Ф. Оппенгеймер. — **Прим. перев.**). В 1948 году, когда пришлось открыть карты, Сматс первым выступил с поддержкой сионизма против стоявшего под сильным нажимом британского правительства.

17 марта 1917 года генерал Сматс прибыл в Лондон, встреченный там беспрецедентными овациями, и отставка Робертсона казалась близкой. Эта триумфальная встреча — ранний образец привычной в наше время техники рекламирования нужных лиц печатью, послушно реагирующей на простое нажатие нужной кнопки. Тот же метод в несколько упрощенной форме известен и примитивным племенам Африки, где М'Бонго, великий глашатай, гордо выступает впереди черномазого царька с ревом "Великий Слон, Потрясатель Земли, Пронзатель Неба" и все такое прочее.

Ллойд Джордж, как он сам пишет, представил Сматса имперскому военному

кабинету как "одного из самых блестящих генералов". Военный опыт генерала ограничивался незначительной колониальной кампанией в Юго-Западной Африке, а в момент вызова в Лондон он все еще воевал с маленькой, но хорошо обученной армией из 20 тысяч туземных солдат-аскари под командой германского генерала фон Леттов-Форбек и двух тысяч немецких офицеров и унтер-офицеров (наголову разбивших англичан, но вынужденных затем капитулировать после общего поражения Германии в 1918 году. — **Прим. перев.**).

Похвала представлялась тем более великодушной, что вообще о профессиональных военных Ллойд Джордж был невысокого мнения: "Ни в какой другой профессии опыт и обучение не играют меньшей роли, наряду с чутьем и суждением".

К этому времени, чтобы лучше изолироваться от "генералов" (кроме, разумеется, Сматса), Ллойд Джордж поселился со своим маленьким воинственным комитетом в небольшом домике, "где они заседают дважды в день, все время обсуждая военные планы, хотя это вовсе не их, а мое дело; маленькая группа политиков, совершенно несведущих в войне и ее нуждах, пробует вести войну самостоятельно" (Робертсон). *В апреле 1917 года* генералу Сматсу было предложено представить этой группе отшельников свои соображения о том, как выиграть войну. Эти соображения сводились к следующему: "*Палестинская кампания богата весьма интересными военными и даже политическими возможностями... остается обсудить более важный и сложный вопрос западного фронта. Я всегда считал обузой... что британские военные силы были целиком связаны этим фронтом*" (когда давался этот совет, Россия гибла, переброска германских армий на западный фронт предстояла в ближайшем будущем, и угроза этому фронту неожиданно выросла до размеров смертельной опасности). Этот совет обеспечил Ллойд Джорджа недостававшей ему высокой военной поддержкой (из Южной Африки), и он немедленно послал от имени военного кабинета приказ командующему английскими войсками в Египте начать наступление на иерусалимском направлении. Генерал Муррей возразил, что его силы для этого недостаточны, после чего он *был смещен.* Командование было предложено генералу Сматсу, которого Ллойд Джордж считал "способным с большой решительностью провести кампанию *на этом участке*".

Сэр Вильям Робертсон одержал затем самую крупную победу в ходе всей войны. Он лично побеседовал с генералом Сматсом, о военных способностях которого судить было довольно трудно, поскольку он никогда не имел возможности испытать их в тех мелких кампаниях, в которых он до тех пор принимал участие. Зато его *политические* способности не подлежали сомнению; он был осторожнейшим из людей и не испытывал ни малейшего желания обменять лондонские триумфы на риск поражения на поле брани, что разрушило бы его политическую будущность в Южной Африке. Поэтому после разговора с Робертсоном он ответил на предложение Ллойд Джорджа отказом. Дальнейший ход событий показал, что фиаско на Ближнем Востоке ему удалось бы избежать, но предвидеть это заранее было невозможно, и таким образом еще один завоеватель прозевал возможность въехать в Иерусалим на белом коне. Как известно, политики обычно очень ценят подобные возможности, сколь бы комичными они иной раз ни представлялись, и впоследствии генерал Сматс весьма сожалел о потерянных шансах: "Вступить в Иерусалим! Какие это были бы воспоминания!". В то время, однако, он заявил Ллойд Джорджу: "Я совершенно убежден, что *в настоящее время наше военное положение никак не допускает наступательных операций для захвата Иерусалима и занятия Палестины*".

Ни этот неожиданный поворот генерала Сматса, ни развал в России и возникшая угроза западному фронту не в состоянии были повлиять на Ллойд Джорджа. *В сентябре 1917 года* он принял решение, что "войска, необходимые для крупной кампании в Палестине, *могут быть сняты с западного фронта зимой 1917—1918 годов* и выполнить свою задачу в Палестине *вовремя, чтобы вернуться во Францию для начала активных действий весной*".

Одному только Господу Богу удалось спасти соотечественников Ллойд Джорджа от наказания за подобное решение. Выиграть мировую войну в Палестине было невозможно, однако вполне возможно было проиграть ее во Франции, и эта опасность в то время была весьма велика. Однако Ллойд Джордж, оставленный даже Сматсом, все же сумел наконец получить военную поддержку со стороны новой фигуры, спустившейся, как на крыльях, на сцену, провозгласив лозунг о "зимней распутице", о чем будет речь ниже.

Это был некий генерал сэр Генри Вильсон, наилучшим образом охарактеризовавший себя сам во время поездки в Россию в составе военной миссии в январе 1917 года: "Роскошный обед в министерстве иностранных дел... на мне офицерский крест Почетного Легиона, звезда и цепь ордена Бани, русские эполеты и серая каракулевая шапка, и в общем я был красавец-мужчина. На обеде и на последующем приеме я произвел фурор. Я был много выше ростом, чем великий князь Сергей, и, как мне сказали, я произвел во всех отношениях отличное впечатление. Великолепно!" Этому субъекту, самодовольно позировавшему на фоне русской трагедии, Ллойд Джордж и сионисты были обязаны долгожданными возможностями, Англия же — без малого громадной катастрофой. Сэр Генри был очень высокого роста, худощав, гладок и улыбчив; один из тех нарядных, лощеных, красно-лампасных и окантованных золотом генштабистов, увешанных орденами и приводивших в бешенство усталых и покрытых окопной грязью солдат во Франции. Французская гувернантка обучила его в детстве говорить без акцента по-французски, за что нашего "Анри" обожали французские генералы, находившие его приятно свободным от английской чопорности; он был ирландского происхождения, но по ирландскому вопросу резко расходился с другими ирландцами, пока двое из них не застрелили его на пороге его лондонского дома в 1922 году, за что были повешены.

Прежде сэр Генри был вполне согласен с мнением остальных военных о первостепенном значении главного фронта и безумии распылять силы на "побочных театрах", превзойдя всех в решительности, с которой он выразил основной принцип: "Чтобы закончить войну, надо бить немцев, *а не турок...* место, где можно убить больше всего немцев, находится здесь (во Франции), *а поэтому каждый фунт наших боеприпасов должен со всех концов мира прибыть сюда. Вся история учит нас, что операции на второстепенных и маловажных театрах войны не оказывают влияния на главном фронте, лишь ослабляя занятые на нем силы*" (1915).

Никто, от фронтового солдата до выпускников военных академий, не станет с этим спорить. Ясно, что и в 1917 году сэр Генри не мог обнаружить никаких *военных* доводов, чтобы отказаться от этого основного принципа войны в пользу совершенно противоположного. Для объяснения *его* сальто-мортале в этом вопросе не приходится поэтому ломать голову. От него не ускользнули ни успехи сионизма, ни подоплека спора между Ллойд Джорджем и его прямым начальником, сэром Вильямом Робертсоном. Сэр Генри учуял возможность выжить сэра Вильяма и сесть самому на его место. Неудивительно поэтому, что, рассказывая о "поисках новых друзей" в этот период, Хаим Вейцман упоминает о "симпатии" со стороны генерала Вильсона, "большого друга Ллойд Джорджа". *23 августа 1917 года* сэр Генри доложил Ллойд Джорджу, что он "твердо верит, что если будет основательно разработан хороший план, то мы сможем очистить Палестину от турок и с большой вероятностью полностью разгромить Турцию *за время зимней распутицы, не нарушая операций генерала Хэйга весной и зимой* (во Франции)".

Это и был тот рапорт, который дал Ллойд Джорджу необходимую поддержку для отдачи упомянутого выше приказа в сентябре 1917 года. Он ухватился за соблазнительную формулировку о "зимней распутице", снабдившей его военным доводом! Генерал Вильсон разъяснил ему, что "зимняя распутица" во Франции, во время которой армии якобы тонут в грязи и большое германское наступление невозможно, включает в себя "пять месяцев грязи и снега от середины ноября *до середины* апреля (1918 г.)". На этом доводе Ллойд Джордж основал свое решение перебросить из Франции "необходимые войска для большого наступления в Палестине", чтобы вернуть их к тому времени, когда они снова понадобятся во Франции. Что же касается этой последней надобности, то генерал Вильсон, единственный из всех военных руководителей, авторитетно заявил Ллойд Джорджу, что никакого крупного германского наступления на западном фронте, вероятно, вообще не будет (как известно, оно началось в *середине марта* 1918 года).

Сэр Вильям Робертсон тщетно указывал на то, что весь этот календарный план совершенно иллюзорен; переброска войск встречалась с громадными трудностями морского транспорта, и к тому времени, когда последние дивизии станут высаживаться в Палестине, первым уже надо будет переправляться обратно во Францию. В *октябре* 1917 года он еще раз предупредил, что войска, взятые из Франции, не успеют вернуться туда к началу летних боев: "*Правильным военным*

решением является продолжать оборонительные операции в Палестине... и искать решения на западе... *все резервы должны быть брошены на западный фронт*". В этот решающий момент главный заговорщик во всей этой истории — случай — также пришел на помощь сионистам. Правительство в Лондоне, по-видимому почти забывшее о западном фронте, пристало к Робертсону с требованиями дать им Иерусалим "в виде рождественского подарка" (одна эта фраза заставляет вспомнить замечание Вейцмана в 1914 году о "легкомыслии", с которым Ллойд Джордж смотрел на войну). Такой же нажим заставил генерала Алленби в Палестине предпринять пробное наступление; к его удивлению, турки оказали лишь слабое сопротивление, и он без особых трудностей занял Иерусалим.

В общем балансе военных действий этот успех не имел ни малейшего значения, но после него удержать Ллойд Джорджа уже было невозможно. Войска перебрасывались из Франции без всякого учета того, что там ожидалось. *6 января 1918 года* генерал сэр Дуглас Хэйг жаловался, что накануне решающих боев его армии во Франции были существенно ослаблены, в пехоте ему недоставало 114 тысяч солдат. *10 января 1918 года* военное министерство вынуждено было издать приказ о снижении числа батальонов в каждой дивизии с 12 до девяти. Свободная печать могла бы в такое время дать Робертсону необходимую ему поддержку общественного мнения. Он ее не получил, поскольку к тому времени уже было создано положение, предсказанное "Протоколами" в самом начале века: "Мы должны заставить правительства... действовать в направлении, нужном для нашего широко задуманного плана... с помощью того, что мы представим как общественное мнение и что будет тайно подстроено нами при помощи новой т. н. великой державы —печати, которая, за немногими исключениями, которые можно игнорировать, уже полностью в наших руках". Видные авторы и журналисты готовы были предупредить общественность о надвигавшейся опасности, но им не дали возможности высказаться.

Наиболее известным военным обозревателем "Таймс" был в то время полковник Репингтон, пользовавшийся наивысшим во всем союзном мире авторитетом в этой области. В своем дневнике того времени он записал: "Все это ужасно, и это будет означать снижение на одну четверть нашей пехоты во Франции и приведет к неизбежному смятению во всех наших войсках в момент приближающегося кризиса. Еще никогда я не чувствовал себя столь несчастным с самого начала войны... Мне удается сказать лишь немногое, поскольку издатель "Таймс" часто переделывает мою критику либо же ее вообще не опубликовывает... если "Таймс" не вернется к своей независимой линии и не станет на страже интересов общественности, мне придется умыть руки и уйти".

Когда предупреждения Робертсона о близкой опасности начали сбываться, он был уволен. Желая получить одобрение палестинской авантюры, Ллойд Джордж представил свой план Высшему Военному Совету союзников в Версале. В январе 1918 года союзные специалисты утвердили план, "*при условии, что западный фронт будет полностью обеспечен*". По требованию Клемансо сэр Вильям Робертсон повторил свое предупреждение о том, что этот план представляет для западного фронта смертельную опасность. По окончании совещания Ллойд Джордж сделал ему сердитый выговор и тут же назначил на его место сэра Генри Вильсона. Прежде чем уйти со своего поста, сэр Вильям сделал последнюю попытку предотвратить близящуюся катастрофу. Он поехал (в том же январе) в Париж просить командующего американскими войсками генерала Першинга пополнить ослабленный фронт (к тому времени еще только четыре с половиной дивизии американских войск высадились во Франции). Верный солдатскому долгу, генерал Першинг дал ответ, какого ожидал сэр Вильям и как он и сам ответил бы на его месте: "Он иронически заметил, что мою просьбу о помощи на западном фронте трудно примирить с желанием мистера Джорджа действовать наступательно в Палестине. К сожалению, ответить на это было нечем, разве что тем, что если бы дело зависело от меня лично, то ни один солдат и ни одно орудие в Палестину посланы бы не были".

После этого от сэра Вильяма Робертсона не "зависело" уже больше ничего. Его воспоминания отличаются от мемуаров Ллойд Джорджа и других политиков тем, что в них нет никакой горечи, он думал только о *долге*. Об обращении с ним самим он пишет только, что "в течение 1917 года моей неприятной обязанностью часто было возражать против военных предприятий, которые премьер-министр хотел поручить армии; несомненно, что моя оппозиция повела к его решению

испробовать другого начальника имперского генерального штаба... По поводу моего увольнения, следовательно, говорить было не о чем, и я ни о чем и не говорил". Так этот замечательный человек уходит из нашей повести, уступая место многим, гораздо менее достойным. Однако его труды не пропали, поскольку до самого своего увольнения ему удалось сохранить разреженному английскому фронту ровно столько солдат и орудий, что в дни величайшего напряжения, в марте 1918 года, он смог удержаться, как рвущийся канат иной раз держится на последней нити.

После того как "его ушли", два человека, стоявшие вне правительства и вне армии, продолжали борьбу, и их усилия заслуживают быть отмеченными, как последние попытки сохранить принципы свободного, независимого и бдительного газетного репортажа. Полковник Репингтон был в прошлом кавалерийский офицер, почитатель красивых женщин, остроумный собеседник и бравый рубака. Его дневники рисуют незабываемую картину пустой салонной жизни в то время, когда во Франции армии сражались одна против другой, а в Лондоне плелись сети политических интриг. Он не пренебрегал этой жизнью и, хотя видел ее неуместность, считал, что одним унынием делу тоже не помочь. Он был столь же честен и такой же патриот, как и Робертсон, и абсолютно неподкупен; многочисленные заманчивые предложения (явно делавшиеся с намерением заставить его молчать) не оказывали на него действия. Он писал: "Мы перебрасываем миллионы людей на второстепенные театры войны, ослабляя наши армии во Франции в момент, *когда немчура готова бросить на нас все свои силы, освободившиеся в России... Мне не удается получить поддержку издателя "Таймс", нужную, чтобы пробудить страну, и я думаю, что мне скоро придется с ним расстаться*" (автор обнаружил дневник полковника Репингтона, работая над этой книгой, и увидел, что его собственный опыт работы с тем же издателем "Таймс" 20 лет спустя был совершенно аналогичен). Месяцем позже он записал: "Во время бурного разговора я прямо сказал Джеффри Доусону, что его раболепство перед военным кабинетом в текущем году было в *значительной степени причиной опасного положения нашей армии...* я не желаю больше иметь ничего общего с "Таймс"."

После этого в Англии остался только один человек, который хотел и мог писать правду. Редактор "Морнинг Пост" Г. А. Гвинн, не показывая цензору, опубликовал статью полковника Репингтона, разоблачавшую ослабление нашего фронта во Франции накануне немецкого наступления. И он, и полковник Репингтон подверглись судебному преследованию и были оштрафованы (судя по всему, общественное мнение было слишком на их стороне, чтобы можно было подвергнуть их более суровому наказанию). Робертсон писал полковнику Репингтону: "Как и Вы, я делал все, что было в интересах страны, и результат был точно таким, какого я ожидал... Однако самое главное — это держаться прямого пути и тогда можно быть уверенным, что то, что сейчас представляется злом, в конце концов послужит делу добра". В результате всего этого сэр Эдвард Карсон, в свое время по неведению помогший Ллойд Джорджу стать премьер-министром, вышел из состава правительства, заявив издателю "Таймс", что его газета только рупор Ллойд Джорджа, а единственной независимой газетой остается "Морнинг Пост". Гвинн сообщил полковнику Репингтону, что правительство хочет уничтожить "Морнинг Пост", т. к. "это одна из немногих оставшихся независимыми газет". Перед началом второй мировой войны газета действительно была "уничтожена", как об этом уже упоминалось выше. После этого в Англии остался всего один еженедельник "Truth", который в течение долгих лет старался держаться принципа беспристрастного и независимого репортажа, но в 1953 году он перешел в другие руки и также был приструнен.

Два года войны, в течение которых в Англии главенствовал Ллойд Джордж, были чреваты последствиями, продолжающими оказывать влияние и на наше время; думается, что нам удалось показать, как он пришел к власти и какой высшей цели он служил. За полтора года он преодолел всю оппозицию и, переправив громадную массу войск из Франции в Палестину, подготовил наконец завершение своего рискованного предприятия. *7 марта 1918 года* он приказал начать "решительное наступление" для завоевания всей Палестины и отправил генерала Сматса к генералу Алленби с соответствующими инструкциями. *21 марта 1918 года* началось давно ожидавшееся немецкое наступление во Франции с участием всей пехоты, артиллерии и авиации, освободившихся на русском фронте. "Решительное наступление" в Палестине пришлось остановить и каждого солдата, ко-

торого только можно было выжать из Палестины, спешным порядком повезли обратно во Францию. Вплоть до октября 1918 года общее число войск в Палестине, по данным генерала Робертсона, составляло 1 192 511 солдат и офицеров. 27 марта 1918 года полковник Репингтон писал: "Это самое страшное поражение в истории нашей армии". Немцы сообщили, что к 6 июня они захватили 175 000 пленных и свыше 2 000 орудий. Подтвердилась правота последних слов в письме сэра Вильяма Робертсона полковнику Репингтону, которые продолжают быть обнадеживающим предсказанием для людей доброй воли и в наши дни. Именно держась прямого пути, Робертсон *сумел* сохранить достаточно сил, чтобы ценой невероятных усилий удержать фронт до прибытия американских подкреплений, после чего война фактически была выиграна. Само собой разумеется, что если бы Россия была вовремя поддержана, а вместо палестинской экскурсии все силы были сконцентрированы во Франции, то война закончилась бы раньше и, вероятно, без вмешательства Америки. Однако все это вовсе не послужило бы целям грандиозного плана "управления человечеством".

Здесь автор пишет как непосредственный участник событий, и вполне возможно, что это придáет известную окраску тому, что говорится о происшедшем, результаты которого, испытанные его поколением, трудно назвать положительными. Я хорошо помню грозную атаку немцев 21 марта 1918 года; я видел ее на земле и с воздуха, участвуя весь первый месяц в боях, пока меня не эвакуировали в тыл на носилках. Я помню приказ генерала Хэйга, что каждый солдат должен сражаться до последнего там, где он стоит, этот приказ висел в столовой моего авиаотряда. Я не сожалею о пережитом и не хотел бы вычеркнуть его из моей жизни, даже если бы я мог это сделать. Но теперь, когда я вижу скрытые мотивы и средства, которыми все это было вызвано, мне хотелось бы, чтобы будущие поколения упорнее придерживались "прямых путей" сэра Вильяма Робертсона, зная немного больше о том, что происходило тогда и продолжается сейчас, и способствуя тому, чтобы в конечном итоге обратилось к добру то, что сейчас представляется злом. Именно с этой целью автор и пишет эту книгу.

Благодаря победе в Европе желаемая территория в Палестине была в конце концов получена. Однако одно дело захватить территорию, а другое — создать на ней что-либо.

На этой земле сначала должна была быть воздвигнута "родина" сионизма, а затем его "государство" (а в конечном итоге, вероятно, еще и "империя"). Одна Англия не была, разумеется, в состоянии достигнуть всего этого. Не было прецедента в истории, чтобы *арабская* территория, завоеванная *европейцами*, была подарена *азиатскому* народу. В такую сделку нужно было втянуть несколько наций, много наций, надо было основать "фирму", чтобы придать всему этому вид приличного гешефта. Необходима была "лига наций" и, прежде всего, требовалось американское "вмешательство". Эта вторая часть общего плана действий также уже подготовлялась заранее: пока английские войска захватывали нужную полосу земли, ловкие адвокаты искали пути, чтобы подделать законные акты на землевладение, основать "торговую компанию" и пустить в ход нужное предприятие.

Ллойд Джордж сделал свое дело, и его роль заканчивалась. Читатель должен теперь бросить взгляд на другой берег Атлантики и посмотреть, что там затевали господа Хауз, Брандейс и раввин Стефен Уайз. Некий г-н Вудро Вильсон играл во всем этом лишь призрачную роль.

(Продолжение следует)

Из нашей почты

Внимание читателей. Отклик. Поддержка. Без них бессмысленна журнальная деятельность, бесплодна литература. Все, что мы делаем, что пишем — для читателей. Мы стремимся привлечь их мысль к самым острым проблемам страны, поделиться надеждами и опасениями, а порою просто сказать: мы с вами, чувствуем вашу боль, вместе пережить ее будет легче.

Особое значение имеет для нас обратная связь. Продолжают ли русские читатели считать нас своими единомышленниками, выразителями народных устремлений? И вот радостный итог — в минувшем году мы получили столько же писем, сколько в 1992-м. Несмотря на то, что почта стала работать еще хуже, ее услуги подорожали, да и обстановка в стране не располагает к эпистолярному творчеству. Тысячи писем, пришедших в журнал, — общая наша победа. Над разрухой, над одичаньем, над теми, кто хочет, чтобы мы, безгласные и безразличные ко всему, сидели в одиночестве по своим углам.

Публикации журнала вызывают самый живой отклик и побуждают наших читателей вступать в диалог с редакцией. О том, что интерес к журналу остается стойким, свидетельствуют и данные подписки на 1994 год — 45 тысяч. "Наш современник" удержал лидирующее положение, которое занял в 1993 году, пропустив вперед только "Новый мир", чья подписка составила 51 тысячу (судя по всему, "Новый мир" вернул утраченные позиции за счет демпинговой цены — 250 рублей за номер, примерно в три раза меньше себестоимости). Думаем, нашим читателям будут небезынтересны результаты подписки и на другие "толстые" журналы: "Знамя" — 39 тысяч (дополнительные 20 тысяч бесплатно обеспечил небезызвестный "Фонд Сороса", — в былые годы так, в обязательном порядке, распространялся "Коммунист"); "Октябрь" — 35 тысяч; "Молодая гвардия" — 32 тысячи; "Дружба народов" — 29 тысяч; "Москва" — 25 тысяч.

Наши подписчики не просто читатели. В большинстве своем они готовы служить России и защищать ее. В памятные дни сентября-октября люди, узнавая сотрудников журнала в толпе на площади Свободы, говорили: "Хорошо, что вы здесь, мы знали — вы будете с нами". Да, мы с вами — в радости и в беде. Верим, так будет и в наступившем году, и до тех пор, пока жива Россия.

"Страница в книге русской беды"

Обзор почты

Я составляю этот обзор спустя два месяца после расстрела законодательной власти страны, а редакция все еще получает письма... в ее защиту, первые непосредственные отклики на кровавое злодеяние — плохо нынче ходит почта в государстве российском, не поспевает за орудийными залпами. Да и где тут поспеть, если значительная часть наших читателей осталась за "прозрачными границами", среди 25 миллионов так называемых "оккупантов". И их голоса, как долгое эхо, только сейчас доходят до Москвы.

"В феврале этого года мы приняли гражданство России, как только открыли посольство в Литве, — пишут Ивановы из г. Клайпеды, — так что мы граждане России, проживающие пока "за границей". События 4 октября настолько потрясли, что мы поняли — так больше жить нельзя. Возмущаться на кухне, предавать анафеме ныне существующий в России режим — бесполезно. Необходимо действовать! ...Вчера поздно вечером вернулась с работы домой и сказала мужу: "Женя, пришел наш черед пополнить ряды патриотов, пусть не надеются, что нас так легко можно уничтожить".

Нас действительно трудно уничтожить, несмотря на постигшую страну катастрофу, о которой пишет С. Челяков из г. Бишкека: "С горечью смотрю на разорение своего отечества, на мародерство, совершаемое над моей родиной: кто с нее тащит сапог, кто суму, кто ружье. По сути говоря, страна, которая теперь называется Россией, никогда в истории не существовала. Ее название и все прочее присвоено совершенно чуждому государству. Россия же разорвана на десятки клочков, подобных вышеназванному государству". Разорвана, расчленена по большевистским "границам" территория Российского государства, но жива и цела Великая Россия в душах ее истинных граждан. И танковая атака в Москве жгучей болью отдается в сердце киевлянина, запечатлевается в сумбурных, прерывистых строках: "И вот в конце XX века на весь мир Си-эн-эн показало танковое "четвертование" российского парламента! Кто подсказал? Кто противился? Кто настоял? Вот ключ к событиям... Состояние защитников, нападавших, зевак? Вот они, наши "Сто лет одиночества", вот оно, дыхание средневековья, безысходности, насилия... А ведь когда-то русские плакали, читая "После бала"... Какой регресс, какое падение! Нет сил и ума, чтобы все это осмыслить... Жить не хочется..." (А. Стройнев). Да, жить не хотелось — по себе знаю. Больше месяца не оставляло жуткое, кромешное чувство небытия, будто это меня убили в Доме Советов, всех моих близких, друзей, весь мой народ, русский народ, расстреляли прямой наводкой в тот черный октябрьский день.

А между тем в ночь на 4 октября, уже после Останкино (чудовищной "репетиции" массовых убийств), у здания Моссовета — по призыву Гайдара — тусовался "народ" артистки Аллы Демидовой; вот ее слова: "Но те люди, которые были у Моссовета... это тот народ, который я всегда тайно любила... Всю ночь среди этой толпы на лавочке сидели две женщины в шляпках, с сумочками на коленях. Потом вдруг увидела группу ортодоксальных хасидов — с пейсами, в черных канотье. И уже под утро — каких-то шикарных, элегантных мальчиков, явно от Зай-

цева. Представьте, они тоже сюда пришли..." ("МК", 6 окт., 1993). Представляем, очень даже хорошо представляем. Одно только непонятно, отчего "народная артистка" любила этот свой, столь давно уже "явный" "народ" "тайно" и почему он так убого представлен: две определенно "поехавшие" "шляпки", хасиды с пейсами и желторотые нувориши, определяющие "эту страну" новой "державной триадой": "сникерс — тампакс — амаретто". Не знаю, праздновала ли Демидова "победу" в кругу своего "народа", но даже журналисты "Московских новостей" не смогли не содрогнуться, столкнувшись с фактом, полностью отвечающим, как теперь говорят, менталитету этого "народа": "Побывавших там (у Моссовета. — М. Б.) корреспондентов "МН" встретили радостно-возбужденные подвыпившие подростки. Там же мы оказались свидетелями жуткой сцены. Водитель подъехавших к баррикадам "Жигулей", открыв багажник своего авто, демонстрировал всем желающим труп защитника Белого дома" ("Московские новости", 10 окт., 1993).

Впрочем, народ для, увы, большинства "народных артистов" — понятие более чем относительное. Я до сих пор не могу без презрения вспоминать подобострастно сияющее лицо одного певца Большого театра на холуяже у Ельцина в Бетховенском зале. Когда-то мы дружили семьями, и у меня дома до сих пор лежат его пластинки, значительная часть которых заполнена песнопениями в духе "Партия — наш рулевой"... Ну, что взять с таких людей, если им самим не стыдно? Гораздо страшнее, когда слышишь холуйские слова от командира Кантемировской бронетанковой дивизии: "Воля Президента России — это воля народа России". Умри, генерал, лучше не скажешь. Лучше говорят только вверенные тебе танки, чьи системы управления огнем, между прочим, разрабатывал мой друг, чудом оставшийся в живых после бойни в Останкино. На следующий день, 4 октября, уже у телеэкрана, он сидел, закрыв посеревшее лицо руками, с беспомощным ужасом вслушиваясь в огневые залпы с в о и х танков, расстреливающих е г о родину, е г о народ. Вот так, Саша, диктатор воспользовался плодами твоего интеллекта, твоей технической мысли, многие годы работавшей, как ты полагал, на благо России. Но это к слову. Вернемся к письмам, письмам русского народа.

Нижецитируемые строки были написаны Т. и В. Ревяко (г. Череповец) еще до трагедии, а читала я их много дней спустя: "Скорбно и гневно на душе, когда ерино-ельцинская банда, попирая все человеческое, опутала колючей проволокой людей, избивает и унижает их. Самодур, преступивший закон — Конституцию, переступивший все этические и правовые нормы, дал "добро" на беззаконие, сделав соучастниками преступления других. Я не сторонница Хасбулатова и Руцкого, не доверяю своему череповецкому депутату Р. М. Смирнову, заявившему как-то по местному теле-, что русские могут подождать со своими проблемами и вообще им (нам) лучше помолчать... Но все во мне протестует, когда депутатов и других людей, отстаивающих законность, травят как волков... О настроении же наших рабочих, горожан можно сказать одно: все говорят только о жратве и желают, чтобы "воздали должное" Ельцину, но больше таких, кто о жратве".

Но если в Череповце, как свидетельствует письмо, умонастроения общества не простираются далее поисков хлеба насущного, — а у кого хватит духа бросить упрек ограбленным до нитки работягам, полностью дезинформированным СМИ? — то в Калининграде можно услышать кое-что похлеще, о чем и пишет наша читательница Захарова в своем открытом письме к премьеру: "Расстреляв Советы, вы расстреляли Демократию. Вы расстреляли людей за то, что они не могли не защищать народ от вас. От воров, убийц, проституток... Будьте вы трижды прокляты, ... погубившие мою Родину, мой народ. Теперь, в отличие от 1941 г., я слышу от калининградцев: "Пусть придут немцы, хуже не будет". Дожили, что народ предпочитает иностранную интервенцию вашему правительству! В ответ на мою жалобу одному нашему офицеру на онемечивание области он неожиданно произнес: "Ну и хорошо. Может, лучше будет". Я ему ответила: "Ну тогда пусть ваши бабы рожают от немцев, а не от вас, будут дети, отцы которых смогут их защитить". Но 4 октября вы расстреляли в упор тех мужчин, которые попытались защитить от вас и ваших кукловодов свое потомство".

В почте журнала есть и другие открытые письма премьер-министру, процитирую еще одно: "Я не могу обратиться к бывшему президенту Ельцину (Конституция РФ, ст.121-6)[1], поэтому обращаюсь к Вам. Я антикоммунист и, в отличие от Вас, никогда не состоял в КПСС, ВЛКСМ и других подобных организациях, за исключением Всесоюзной пионерской организации (есть, к сожалению, такое красно-коричневое пятно в моей биографии). Но я категорически требую прекратить беспринципную, конъюнктурную и провокационную антикоммунистическую истерию. Современные коммунисты не отвечают за преступления Ленина — Троцкого — Свердлова — Сталина — Ельцина. Рядовые коммунисты не виноваты в брежневском застое, все зависело от партократов — московских, свердловских и прочих. А за крах порочных гайдаровских, поповских и прочих реформ грех валить вину на ВС и Съезд... Демократы пришли к власти, обманув избирателей, а теперь при помощи провокаций, танков, махинаций с Конституцией, запрета, подлога, клеветы хотят устранить конкурентов из оппозиции и утвердить господство необольшевистской компрадорской мафии.... Ваши лакеи (ТВ, радио, пресса) говорят, что нравственно и конституционно все, что выгодно Ельцину и тем, кто за ним стоит. Мы эту басню слышали 70 лет назад. Надо освободить мавзолей. Есть более достойная кандидатура" (В. Пашин, г. Уфа). Как видим, автор письма, будучи антикоммунистом, убежден в том, что нынешняя власть в России плоть от плоти интернационал-большевистская. Подобный диагноз победившей силе жестко ставит и москвич В. Пошевня: "Итак, коммунизм, как тоталитарный, племенной, ветхозаветный тип мышления, в очередной раз взял верх в России. Президент расстрелял оппозицию из пушек, решив доказать себе, что у него слово не расходится с делом... неуравновешенная Новодворская первая крикнула, что встанет за Ельцина с оружием в руках (оружие было готово для раздачи — признался потом Гайдар). На следующий день Радио России протрубило об этом взахлеб, да так, что брызги слюны вылетали из динамика... И вот заключительный аккорд. Сам президент обвинил Советы в крови, которая на его руках!..

---

[1] Это письмо со ссылкой на Конституцию, как и нижецитируемое письмо В. Букалова, пришло до референдума 12 декабря 1993 года.

Люди! Да поймите же вы, наконец, кто вами правит... Логическую ошибку можно исправить всегда. Нравственную никогда. Ее замаливают в монастыре. Не позвольте разбою сделаться легитимным. Не допустите очередное преступление перед историей превратить в Харизму... Обгорелый Белый дом еще долго будет стоять немым укором всем нам. Но в первую очередь президенту, его команде[2] и их цивилизованным западным благодетелям... Вечная память парням, отдавшим свою жизнь за Свободу и Независимость нашей Родины!"

Об этом же, об интернационал-радикальной сути режима, пишет в письме Генеральному прокурору России Казаннику А. И. полковник юстиции запаса В. Букалов, "сибиряк, омич, оказавшийся в конце службы по воле политиков за границей" (г. Винница): "Алексей Иванович, большая просьба к Вам: не повторите путь Вышинского, не будьте слишком "своим" прокурором. Когда-то Вы уступили свое место в Верховном Совете Б. Н. Ельцину. Миллионы сограждан были восхищены Вашим поступком, тогда мы все болели за Ельцина. Но сейчас-то уже другой Ельцин... вернее, тот же компартиец, а еще точнее — дембольшевик. ...Если Вы не приспособленец, как Н. Витрук, а таковым его помню еще по учебе в ТГУ, то дайте объективную оценку событию 21.09.93 г. Что это — конституционный шаг или государственный переворот? ...4 октября 1993 года было совершено заранее спланированное умышленное убийство нескольких сот граждан, которые по различным причинам оказались в Белом доме. Многие были с оружием? Но ведь они встали на защиту Конституции, которая не отменена и сейчас. Если исходить из действующего, точнее лишь существующего в нынешних условиях законодательства, то они действовали правомерно. ...Уважаемый Генеральный прокурор, дайте же сегодня юридическую оценку деяниям организаторов и непосредственных руководителей кровавой бойни. То, что говорят политики, Вас не должно касаться, лишь только они уйдут, все поменяется, неизменной останется только истина".

Юрист В. Букалов надеется на Генпрока, на его честность и приверженность закону. Я тоже хотела бы надеяться, тем более что побывала на допросе в Генеральной прокуратуре и на так называемой судебно-медицинской экспертизе. Последняя произвела особое впечатление. Да простит меня читатель за отступление от жанра, но сюжет и впрямь забавный. Первым делом меня сфотографировали (пока только анфас), затем запечатлели забинтованную ногу. Я было порывалась снять бинт и продемонстрировать работу неведомого стрелка во всей красе, но судмедэксперта мое ранение почему-то не заинтересовало. Невольно складывается впечатление, что нужен был прокуратуре мой портрет. Зачем?

Тем не менее считаю важным процитировать, без напрашивающихся комментариев, интервью А. И. Казанника газете "Известия" (13 окт., 1993): "— Я думаю, что политика и право могут находиться в каком-то оптимальном сочетании. — **В том числе в сегодняшней России?** — Нет, в сегодняшней России нет. Но в принципе это возможно. Если еще иметь в виду нравственность... — **Ваше назначение говорит скорее в пользу Ельцина. Нравственный человек всегда неудобен. Это свидетельствует, на мой взгляд, о том, что Ельцин не боится и готов к тому, что Вы можете в каких-то вопросах выступить и против него.** — Против него я могу выступить? Ну, я думаю, что нет ничего за ним такого, что могло бы прокуратуру заинтересовать.

Нравственность нравственностью, но прокурор должен работать по закону, а формального закона, увы, в России сегодня нет". Последняя фраза принадлежит журналисту, уверенному в том, что закона в стране нет. Ну, а ежели нет, тогда... Тогда фарсово звучат слова молодого следователя, сказанные мне 4 ноября, что его ведомство желает выявить и наказать виновных в кровопролитии как с той, так и с другой стороны. На мой естественный в этой связи вопрос, а как продвигается дело о первомайском побоище, ведь уже полгода прошло, оба молодых следователя скромно потупились.

Но вернемся к нашей почте. Отрадно было читать в эти тяжкие для России дни слова искренней поддержки и сочувствия нашему журналу. Приведу выдержки из нескольких писем: "Вы — одни из немногих, для которых "судьба России" — не дежурная фраза, не дань государственному патриотизму, а боль, терзающая души истинных, лучше сказать, подлинных патриотов-россиян. Не сдавайте своих позиций, компромиссы здесь совершенно недопустимы. Я — больший противник большевизма, нежели наши демократы, хотя бы потому, что я не приемлю насилия, произвола, чванства. Наши демократы взяли у большевиков все самое отвратительное, а в чем-то даже переплюнули. Не расстреливали же в 17-м Зимний, тогда как в октябре 93-го совершилось чудовищное злодейство" (В. Богданков, г. Барнаул); "...огонек "наших", слава Богу, теплится еще в вашем журнале. Хоть здесь еще предоставляется дышать свежим воздухом правды, русского слова" (В. Авдеев, г. Аткарск); "Я считаю своим долгом выразить вам глубокую признательность и сердечную благодарность за ваше неустанное стремление разбудить в русских людях чувство национального достоинства. Только благодаря вам я узнал о настоящем национально-патриотическом движении в России. Благодаря "Нашему современнику" мне стали более ясны и понятны явления, происходящие в нашей стране и в мире. Еще месяцев семь-восемь назад я был ярым приверженцем "демократических" преобразований в России, безоговорочным сторонником политики, проводимой "всенародно избранным". Слава Богу, что у меня появилась возможность знакомиться с содержанием "Нашего современника"... я впервые осознал себя не частицей населения Российской Федерации, а русским человеком, которому не безразлична судьба Отечества и русского народа... Как сейчас, именно сейчас, после октябрьских событий в Москве нужна русским людям ваша помощь! Не оставляйте нас наедине со шквалом мерзости, в которой гибнет все доброе!" (В. Филиппов, Приморский край).

Спасибо вам, люди русские, но не меньшая, если не большая поддержка необходима другим

---

2 Ошибся наш читатель насчет "немого укора" "президенту и его команде". Еще не до конца восстановлен Белый дом, еще идут отделочные работы, а "победители" уже шагают по коридорам, навечно пропитанным кровью лучших сыновей и дочерей России. 4 января (отметили-таки трехмесячный кровавый "юбилей"!) премьер-министр и часть аппарата правительства въехали в Дом Советов. По сообщениям прессы, готовится к переезду в расстрелянный Дом и Ельцин со своими службами. Цитируя письмо В. Пошевни, я вынуждена была смягчить его текст, касающийся моральных качеств "команды", но, думаю, каждый нравственно здоровый человек, каких бы политических убеждений он ни придерживался, теперь уже окончательно и однозначно восполнит проставленное в цитате отточие.

патриотическим изданиям. Ведь, как известно, после 4 октября были запрещены десятки газет, в названиях многих из них фигурировало это "крамольное" слово — русский. Удивительная история получается: конфликт вроде бы возник между двумя ветвями демократической власти, а в результате орудийной "победы" одной из них наказаны русские издания. Финал настолько странный, что представляются небеспочвенными суждения А. Стукалова (г. Воронеж): "Случилось худшее: 3-я еврейская революция (1-я и 2-я, соответственно, 1917 и 1991 гг.), о которой так мечтали необольшевики, свершилась. Показательно, что были запрещены не только такие газеты, как "Правда", "Советская Россия", "День", но и "Русский вестник". Я эту газету хорошо знаю, так как выписываю. На протяжении последних месяцев ничего антиельцинского в ней не было, никаких прямых (да и косвенных) призывов к уничтожению существующего режима не отмечалось. Лишь, как мне кажется, фигура напряженного умолчания. Так за что же была запрещена газета? Не за то ли, что она в меру своих возможностей боролась за права русских людей, подвергающихся сейчас геноциду, и не за то ли, что пыталась вскрыть подлинные причины происходящего ныне в России?! Хорошо еще, что денационализированные "демократы" не добрались до патриотических журналов, таких, как ваш. Таких, как наш! "Наш современник" последовательно проводит линию в защиту униженного русского народа, по разоблачению гнилых устремлений мировой закулисы. Я — русский человек и мне близки и понятны идеи, которые вы пропагандируете. Истинное величие будущей России — наша общая цель".

Так неужели и впрямь у Ельцина и его правительства иная цель, не сходная с устремлениями русского народа? Иначе почему закрыли, например, тульскую патриотическую газету "Засечная черта", последний номер которой вышел до 21 сентября, и газета никоим образом не могла влиять на события?Действительно, почему подобные малотиражные (!) издания были закрыты? На таком фоне уже не кажутся "антисемитским бредом" строки из письма В. Блинова (Казахстан): "Вспомним всевозможные иудейские сборища и митинги в защиту "всенародно избранного", требования к Ельцину расправиться с "красно-коричневыми", чтобы он поклялся им в этом. И он поклялся. И, как мы теперь увидели, клятву сдержал. Бравые генералы вдоволь поупражнялись в стрельбе из танковых пушек по окнам законодательной власти, за которыми сидели недавние единомышленники "демократов". Вспомним, как избирался на свой пост Хасбулатов. На несколько месяцев откладывалось это избрание, во время этого перерыва шла упорная обработка депутатов за избрание Хасбулатова. Чеченца, а не русского Бабурина. Уж не был ли еще тогда задуман коварный расчет в случае чего спекульнуть Хасбулатовым как "злым чеченцем"? Расчет оказался верен. Многие русские и россияне проглотили эту наживку. Октябрьские события в Москве были заранее спланированы. И это не скрывалось. О решительном наступлении Ельцин оповестил заранее. Провокация привела к крови... и пусть демократствующие борзописцы напрасно не стараются слизать ее своими змеиными языками".

Что касается Хасбулатова, то действительно, национальная принадлежность Председателя Верховного Совета до неприличия муссировалась в ряде основных СМИ. Сам пресс-секретарь Ельцина Костиков вдоволь пообыгрывал чеченское происхождение Руслана Имрановича, мало смущаясь тем, что его собственное лицо регулярно демонстрируется по ТВ... На днях мне попала в руки издаваемая в Париже (а теперь уже и в Москве) газета "Русская мысль" (от 11 — 17 ноября 1993 г.), в которой некая Кривошеина, углядевшая из своего "прекрасного далека" во многих защитниках Белого дома "просто бандюг", тем не менее заявила: "И президент Ельцин с его "картавой командой" (как изящно выразился однажды бывший спикер) далеко не есть еще идеал демократии". Когда и при каких обстоятельствах обронил Хасбулатов самоубийственные слова — автор умалчивает. Но догадаться не трудно, тем более, если вспомнить "откровение" А. Козырева, утверждавшего, будто Хасбулатов еще за полгода до кровавого октября говорил ему: "Я их ("красно-коричневых". — М. Б.) боюсь больше чем вас" ("Известия", 8 окт., 1993).

Обратимся вновь к нашей почте. Процитирую письмо М. Богатова (г. Краснодар), указавшего сразу после трагедии (письмо отправлено 7 октября) на ее, судя по всему, основную пружину: "Указ Ельцина спровоцировал эту маленькую войну[3]. У президента не хватило ни выдержки, ни ума. Налицо отсутствие предвидения дальнейших событий. У него этого предвидения никогда не хватало (как и у его предшественника). Ошибками тех и других воспользовались те, кому это было на руку... И Хасбулатов, и Руцкой стали заложниками у третьей силы. Это особая тема разговора и она еще поднимется...". Автор этих строк оказался недалек от истины. В ряде оппозиционных изданий высвечивается и выявляется роль этой "третьей силы", выступившей тогда, когда, казалось бы, были почти парализованы собственно государственные силовые структуры, и чаша весов склонялась на сторону Верховного Совета и мирного разрешения конфликта. Жанр обзора писем не позволяет подробно остановиться на этой теме, но, тем не менее, приведу выдержки из двух газетных материалов:

"Многие запутанные обстоятельства и свидетельства очевидцев выстраиваются в новом, логичном ключе, если принять во внимание, что параллельно с официальными вооруженными силами армии и милиции, вооруженными защитниками Дома Советов (сформированный в те дни полк Верховного Совета) действовали вооруженные соединения, подчиняющиеся командам третьего центра. Уже предварительные данные, сообщаемые в средствах массовой информации, дают основания говорить о том, что боевики третьей силы действовали в основном как гражданские лица. Это были вооруженные люди среди масс демонстрантов и митингующих, в том числе среди подошедших к Останкино, среди мародерствующих в здании мэрии. Это были потенциально те БТРы у Останкино, которые вели стрельбу на поражение как по зданию, так и по толпе. Это были, наконец, и снайперы,

---

[3] Я не думаю, что можно назвать "войной" октябрьскую трагедию. Война все же предполагает относительно сопоставимые силы. У защитников Дома Советов на 3 октября насчитывалось, по сообщению С. Бабурина, 94 автомата. По другим сведениям, имелось также несколько РПК (ручной пулемет Калашникова). Нападавшая сторона располагала 10 танками, 80 БТРами, 20 БМП, более чем 60 БМД, 15 БРДМ, 3 тысячами автоматчиков.

рассыпанные по "горячим точкам" Москвы.... Некоторые очевидцы связывали действия этой третьей силы с так называемыми "бейтаровцами", что это были наемники, приехавшие в Россию и из других государств, не только ближнего, но и дальнего зарубежья" ("Советская Россия", 14 декабря, 1993).

"3 октября после деблокады "Белого дома" и полной деморализации еринских сил власть в столице как таковая отсутствовала.... Разрозненные группы дивизии Дзержинского беспорядочно отходили из района "Белого дома"... Удиравший ОМОН у гостиницы "Мир" открыл огонь по митингующим. Появились раненые и убитые. Как я понимаю, этой стрельбой и было спровоцировано взятие мэрии и гостиницы "Мир". Вот здесь, прошу заметить, на сцене впервые появляется некая "третья сила". При взятии мэрии на одном из этажей вспыхнула перестрелка между милицией, прибывшей от здания Верховного Совета, и некоей группой, засевшей там. В ходе ее были убиты сотрудник милиции и трое боевиков. Наша агентура, побывавшая на месте боя через несколько минут, принесла очень интересный документ, обнаруженный у убитого боевика, — удостоверение сотрудника некоего охранного агентства. Мы заложили эти данные в наш информационный банк, и тут же имя убитого боевика всплыло в одном из списков "Бейтара" — сионистской боевой организации. Боевики были вооружены автоматами "АКС-74", но, как ни странно, без номеров. Удивляет количество оружия, обнаруженного в мэрии. ...Мы уже имели информацию, что в Кремле напуганы "бездействием" министерства обороны, что циркулируют слухи об измене Грачева и Генштаба, а потому создана своя особая оперативная группа. В этой группе, кроме уже известных Кобца, Волкогонова, Лужкова, вдруг возник и небезызвестный Боксер[4] — один из руководителей организации "Август-91"." ("Завтра", №1, ноябрь 1993).

Итак, "команда Боксера" начинает и — выигрывает. На следующий день, 5 октября (!), в газете "Известия" публикуется послание литераторов, принадлежащих к клану "Союз российских писателей". Между тем еще в период относительно мирного противостояния Дома Советов и исполнительной власти в газете "День" было обнародовано "Слово художников", подписанное писателями и деятелями культуры России. Приведу несколько характерных цитат из этих двух обращений, предлагая читателям самим оценить степень низости тех, кто "требует от правительства решительных действий", уже стоя по колено в крови сотен и сотен жертв, лживо и цинично объявляемых палачами, и, напротив, — духовную высоту, благородство помыслов авторов "Слова художников".

"Известия": "...фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть... Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми[5]. Добрыми... К кому? К убийцам? Терпимыми... К чему? К фашизму? И "ведьмы", а вернее — красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ(?!), государство(?!), его законных руководителей... Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли(?) ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь (вот-вот, фарисействующие "добрячки", "терпимцы" — проговариваетесь. — М. Б.) с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?"

"День": "Уповая на самое святое в человеке — на чувство Бога и Родины, на любовь к живым сыновьям и умершим отцам, на все светоносное в русской культуре и народной душе, мы обращаемся к Ельцину и Хасбулатову: переверните назад страницу в книге русской беды, сумейте любой ценой сделать так, чтобы высший закон страны немедленно вернулся к исполнению.... Сограждане, братья, пусть в эти дни вас не окутает страх, неверие и ненависть. Не посмейте поднять оружие на брата. Слишком много нас было убито в этом веке на войнах гражданских и мировых, в застенках, на этапах, в голодных морах. Не дадим опять пролиться русской крови... Пусть наша любимая многострадальная Родина избегнет страшной беды".

Газета "Кто есть кто?", приводя фамилии авторов того и другого письма, предпослала этим двум спискам заголовок "Каин, где твой брат Авель?"

У меня, да и не только у меня, уже нет, что называется, вопросов к Бакланову, Гельману, Гранину, Левитанскому, Адамовичу, Кушнеру, Окуджаве, Нагибину, Борщаговскому, Бек, Разгону, Оскоцкому и другим последовательным "рыцарям штыка". Но список замыкает фамилия действительно русского писателя В. П. Астафьева. Впечатление такое, как будто он в последний момент вскочил на подножку набирающего ход "бронепоезда", неистово плюющегося свинцовыми приказами: "запретить", "распустить", "выявить", "разогнать", "отстранить", "привлечь"[6].

Всем памятна частная переписка Астафьева с Эйдельманом в середине 80-х годов. Если бы не старания последнего, так никто и не узнал

---

4 Боксер "был назначен Поповым командиром созданного после 91 года и не очень афишируемого незаконного вооруженного формирования — "московской национальной гвардии" ("Оппозиция", специальный выпуск).

5 Как страстно "хотелось", аж невтерпеж было, свидетельствует прошедшая 15 сентября встреча многих из этих литераторов с Ельциным, на которой звучали следующие призывы: "Мы поддерживаем и будем поддерживать вас. Но как нам избыть в себе иногда горечь вопроса: где она, президентская власть? ...Не опоздайте положить конец затянувшемуся и компрометирующему вас двоевластию"; "Мы ждем от вас в первую очередь решительности... сейчас надо проявить волю... Противостояние легитимностей само собой не исчерпается — нужен прорыв! Сила не противоречит демократии... Действуйте, Борис Николаевич!" А вот ответное слово Ельцина: "..Я провел сегодня один из лучших вечеров... Ваше обращение не останется без внимания, вы узнаете об этом очень скоро" ("Лит. газета", 22 сент., 1993).

6 Перед подписанием номера в печать мне попалось на глаза уже не "хоровое", а "сольное" выступление Астафьева по октябрьским событиям в красноярской газете, из которого, увы, стало ясно, что Астафьев не случайный "боец". В то же время вся его патологическая злоба и многословная истерика, явленные в этом тексте, который и цитировать-то неприлично, не выдерживают, как это ни парадоксально, сравнения с "респектабельным" признанием арбатского гуманиста Окуджавы: "Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим". Сентиментальный "московский муравей", с наслаждением наблюдавший гибель сотен отчаянно смелых и благородных людей, оказался обыкновенным садистом.

бы, какой Виктор Петрович угрюмый "монархист" и злокозненный "антисемит". Но мало кто ведает, что в 1989 году, — когда уже всем национально и государственно мыслящим людям стала очевидна разрушительная роль перестроечной прессы, когда уже шла тяжелая, неравная борьба в среде творческой интеллигенции, когда последними словами поносились лучшие писатели и мыслители России, а Астафьев вроде бы отмалчивался, не выступал публично с осуждением творящегося беспредела, — Виктор Петрович, тем не менее, позволил себе еще один, вероятно, последний "жест". Отвечая "Огоньку" на предложение сотрудничать, он писал: "Я в желтой прессе брезгую печататься, и до тех пор, пока Вашим органом ведает христопродавец Коротич, имени моего на страницах Вашего журнала не будет". А ведь именно на страницах "Огонька" активно публиковали свои сочинения практически все нынешние соподписанты Астафьева — истинные творцы желтой прессы; Коротич лишь, что называется, двери открывал. Но вот отчего столь скор и безжалостен к большому таланту оказался путь от пассивного сопротивления (этакая фига в кармане) к полному слиянию с теми, кто представлялся "христопродавцами", — ответить трудно. Отмечу лишь, что давно уже ходят упорные слухи, будто Виктора Петровича заманивают обещанием Нобелевской премии. Но что прибавит ему, неоднократному и бесспорному лауреату союзных и российских государственных премий, еще и призрачный "Нобель" (ведь даже "Букера" не дали).

Но пора уже, пожалуй, закрыть тему "Письма писателей" и в заключение обзора вернуться к читательской почте, вернее, к одному письму, тематически перекликающемуся со многим из того, о чем так или иначе говорилось выше. Р. С. Немтина из г. Перми в своем, в общем-то, трогательном, простодушном письме призывает нас не "искать козла отпущения в евреях", указывая на то, что "**в небольших дозах** (выделено мной. — **М. Б.**) евреи для русских только на пользу". Являясь, как явствует из письма, неслучайной читательницей "НС", Немтина, тем не менее, задает странный вопрос: "Вот мне интересно, если бы вам, как редактору, принесли интересное, талантливое произведение, но написал его человек еврейской национальности, вы бы его не напечатали, соблюдая чистоту расы деятелей вашего журнала?" Между тем на страницах "НС" неоднократно выступали авторы, принадлежащие к еврейской нации[7].

Повторяю, странно, что Немтина не заметила их впечатляющих, а в ряде случаев просто блистательных публикаций. Может быть, потому, что по сравнению с демпрессой "дозы" и впрямь "небольшие" и — что главное — качественно иные, входящие в ткань журнала органично и естественно, привнося ту самую "пользу". Наши авторы — и названные и будущие — будучи по происхождению евреями, не ставят свои подписи под кровожадными эпистолами, не призывают к расправе над патриотами России, ибо сами — в большинстве своем — являются ими.

И последний штрих к заданной читательницей теме. В один из вечеров у метро "Баррикадная" после очередной стычки с ОМОНом я была свидетельницей следующей сцены. Мужчина средних лет, слегка под газом, выкрикивал, обращаясь к еринским "гвардейцам", вполне, между прочим, печатные ругательства; ему вторила, но в более мягкой форме, моложавая черноволосая дама. Разгорячившийся демонстрант, только что в очередной раз вкусивший "демократии", решив припечатать окончательно, заорал: "Кому служите? Жидам служите! Жидов защищаете!" Черноволосая, засмеявшись, обернулась к нему и с чуть уловимым вызовом выпалила: "А я ведь — еврейка". Мужик было замешкался, а затем широко, белозубо улыбнулся: "Да я и сам — еврей!" Вслед за чем последовали чуть ли не объятия и уверения во взаимной любви — к вящему удовольствию всех присутствующих.

Но вот другая сцена, о которой нельзя не упомянуть, развернулась 5 октября возле догорающего, залитого кровью Дома Советов. "Еврейская религиозная община ХАБАД решила провести празднование Суккот на улицах столицы" (цитирую по сионистской, как она сама себя величает, газете "Москва — Иерусалим", октябрь 1993, №12(14). "...грузовик, представлявший собой "сукку на колесах", отправился по направлению к Белому Дому!.. В грузовике находились ученики ешивы в Марьиной Роще, ветеран войны в Афганистане, студент Туро-колледжа и американские хасиды... ...сукка (ну теперь остается обвинить в антисемитизме сам русский язык. — **М. Б.**) подкатила к зданию мэрии, где собралась огромная толпа людей. Ешиботники, а также подоспевший раввин Ш. Кунин принялись разъяснять собравшимся суть праздника и попросили евреев пройти в сукку. Однако в ответ полетели камни (ишь, гои недострелянные, интифаду затеяли. — **М. Б.**). Одному из наших камень разбил лицо. Мы тоже бросали камни в сторону нападавших. Из общей массы выделилась группа в 50 человек и, медленно подступая к сукке, стала выкрикивать: "Жиды! Зачем вы сюда приехали! Убирайтесь в свой Израиль!"

А действительно — з а ч е м они приехали к расстрелянному Белому Дому? Не знаю, что вещали о сути праздничка ешиботники и раввин, но, согласно Еврейской энциклопедии (СПб, 1908—1913 гг., т. 9, стр. 944—945), Суккот — праздник (длится 7 дней), в течение которого "надо приносить о с о б ы е (выделено мной. — **М. Б.**) жертвы". Но даже если бы еврейское торжество не предполагало особых жертвоприношений, появление празднующей толпы возле кровоточащего места расстрела сотен людей являло собой такое беспримерное кощунство, при виде которого взял бы в руки камень любой нормальный человек.

Публикацию сионистской газеты дополняет факт, приведенный в "Литературной России" (№3, 1994): шабаш, вылившийся в ритуальную пляску возле Дома Советов, был остановлен автоматной очередью, выпущенной в воздух одним из присутствовавших милиционеров. Евреи бросились к своей сукке и ретировались. Люди остались оплакивать погибших.

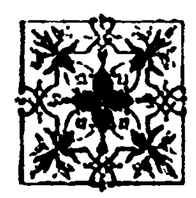
И последняя цитата из письма Немтиной: "Я вообще сейчас уже ничего не понимаю. Моя знакомая говорит, зачем ты читаешь эти антисемитские журналы, но я их читаю, со многим согласна, мне сейчас у нас многое не нравится, жить тяжело, пенсия у меня небольшая, спекулировать я отродясь не умела, и морально тяжело".

---

7 **От редакции:** для наиболее "дотошных" и "невнимательных" перечислим ряд имен: Марк Алданов, Роберт Давид, Анатолий Салуцкий, Марк Голанский, Михаил Агурский, Михаил Грозовский, Лев Бирбраир, Аркадий Львов, Григорий Кремнев, Валентин Непомнящий и др.

Пусть на эти горестные сетования ответит нашей читательнице ее соплеменник, бывший нардеп А. Шабад (NB! Не путать с Шейнисом!), прославившийся своим хулиганским поведением на седьмом съезде Советов: "Тех, кому действительно трудно... конечно, много... Так уж получается. Что я им могу сказать? Попáли под паровоз, не повезло" ("Интервью", №2, 1993). Лукавит Шабад: не под паровоз, а под бронепоезд незабвенного Льва Давидовича, до поры до времени стоявший на "запасном пути".

Марина БЕЛЯНЧИКОВА



Издательская фирма "Витязь", специализирующаяся на выпуске патриотической литературы, охотно вышлет комплект брошюр из 25 наименований БИБЛИОТЕЧКИ РУССКОГО ПАТРИОТА:

1. Дуглас Рид. "СПОР О СИОНЕ"
2. Генри Форд. "МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕВРЕЙСТВО"
3. СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ
4. Ф. М. Достоевский. "ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС"
5. Владимир Степин. "СУЩНОСТЬ СИОНИЗМА"
6. В. Н. Гладкий. "ЕВРЕИ"
7. Валерий Емельянов. "ДЕСИОНИЗАЦИЯ"
8. Анатолий Иванов. "ХРИСТИАНСТВО — КАК ОНО ЕСТЬ"
9. Николай Богданов. "ХРИСТИАНСТВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ"
10. Флавиан Бернье. "ЕВРЕИ И ТАЛМУД"
11. А. Мельский. "У ИСТОКОВ ВЕЛИКОЙ НЕНАВИСТИ"
12. Александр Селянинов. "ЕВРЕИ В РОССИИ"
13. О. К. "ЧТО ТАКОЕ МАСОНСТВО?"
14. Григорий Бостунич. "МАСОНСТВО И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ"
15. Тодор Дичев. "ЗЛОВЕЩИЙ ЗАГОВОР"
16. А. З. Романенко. "О КЛАССОВОЙ СУЩНОСТИ СИОНИЗМА"
17. В. В. Шульгин. "ЧТО НАМ В НИХ НЕ НРАВИТСЯ"
18. В. Ведов. "СУМЕРКИ РОССИИ"
19. "НАПОЛЕОН"
20. Филарет. "ТЕРРОР В РОССИИ"
21. Юрий Иванов. "ОСТОРОЖНО: СИОНИЗМ!"
22. Е. С. Евсеев. "САТРАП"
23. В. Ушкуйник. "ПАМЯТКА РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ"
24. В. Г. Федосов. "РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ"
25. Виктор Корчагин. "РУССКИЙ ВОПРОС".

Для получения посылки с вышеуказанным одним комплектом БИБЛИОТЕЧКИ РУССКОГО ПАТРИОТА необходимо:

— Перечислить 10000 (десять тысяч) руб. ТОО фирме "Витязь". Деньги перечислять на корреспондентский счет Коммерческого банка "Первый инвестиционный" № 408161900 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г.Москвы МФО 201791 для зачисления на расчетный счет № 8468817 ТОО фирмы "Витязь".

Почтовый адрес РКЦ: **117049 Москва, ул.Житная, дом 12.**

— Сообщить о перечислении денег письмом *по адресу*:
127247 Москва, а/я — 7, фирме "Витязь" с указанием адреса (с индексом) получателя посылки.
Отдельные брошюры фирмой не высылаются.

Контактный телефон в Москве: **484-16-41.**

**В этом году исполняется 90 лет
со дня гибели крейсера "Варяг",
канонерской лодки "Кореец" и миноносца "Стерегущий".
Четыре месяца назад так же героически русские люди
гибли при бессмысленном по своей звериной жестокости
штурме здания Верховного Совета России.
Герои России, погибшие в далекие времена
и в дни вчерашние, — бессмертны!
Мы помним вас, братья!
Об этом слова старой, незаслуженно забытой песни.**

ГИБЕЛЬ "СТЕРЕГУЩЕГО"

"Помилуй нас, Бог Всемогущий,
И нашей молитве внемли!" —
Так миноносец погиб "Стерегущий"
Вдали от родимой земли.

Капитан прохрипел: "Ну, ребята!
Для нас не взойдет уж заря.
Героями Русь ведь богата.
Умремте ж и мы за Царя!"

И вмиг отворили кингстоны
И в бездну морскую ушли
Без ропота, даже без стона,
Вдали от родимой земли.

И чайки туда прилетели,
Кружася с предсмертной тоской,
И вечную память пропели
Героям в пучине морской.

В том сила России грядущей —
Герои бессмертны у ней!
Так миноносец живет "Стерегущий"
В сердцах всех российских людей!

Цена договорная Индекс 73274

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ НАШЕГО ЖУРНАЛА!

Как и было обещано, мы приступаем в марте с. г. к публикации романа старейшего русского писателя Леонида Леонова "Пирамида". Правда, к сожалению, в необычном варианте. Дело в том, что издание этого романа из-за его внушительного объема (до 80 авт. листов) по обычной схеме — из номера в номер — растянулось бы более чем на год. Поэтому редакция приняла решение о его выпуске четырьмя дополнительными приложениями — в формате и объеме журнала. Все четыре приложения планируется выпустить в марте — июне 1994 года.

Распространение издания будет осуществляться в розницу по договорной цене, в том числе в самой редакции.

В случае поступления ваших заявок на новый роман классика русской литературы Л. М. Леонова редакция будет готова заключить соответствующие договоры с местными книготорговыми организациями, МП и кооперативами.

***

Вниманию книготорговых организаций, малых предприятий и кооперативов!

По вопросам, связанным с закупкой части тиража упомянутого издания нового романа Л. М. Леонова "Пирамида", обращаться в редакцию журнала "Наш современник" по адресу:

103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30

телефоны: (095) 200-24-24, 200-23-54

факс: (095) 200-23-05

"Наш современник", 1994, № 2, 1 — 192